

ГИХЛ
1934



ПУШКИН

4

Пушкинский кабинет ИРЛИ

А. С. ПУШКИН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, А. В. ЛУНАЧАРСКОГО,
П. Н. САКУЛИНА, В. И. СОЛОВЬЕВА,
М. А. ЦЯВЛОВСКОГО и П. Е. ЩЕГОЛЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1934 ЛЕНИНГРАД

Пушкинский кабинет ИРЛИ

А. С. ПУШКИН

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Редакция Б. В. ТОМАШЕВСКОГО

ПОВЕСТИ

Редакция Ю. Г. ОКСМАНА

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

Редакция Ю. Н. ТЫНЯНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1934 ЛЕНИНГРАД

Пушкинский кабинет ИРЛИ

16-я типография треста «Полиграфкнига», Трехпрудный, 9.

Пушкинский кабинет ИРЛИ



ПОРТРЕТ ПУШКИНА С ГРАВЮРЫ НА СТАЛИ Н. УТКИНА 1838 Г.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Текст «Евгения Онегина» дается в редакции, установленной автором для издания 1833 г. Учтены незначительные изменения, внесенные в издание 1837 г. (в остальном отличающееся от предшествующего только опечатками); кроме того, некоторые стихи, в которых можно было предполагать опечатки и цензурные изменения, даны по рукописи. В приложении дана сводка наиболее значительных отрывков, не вошедших в окончательный текст, но находящихся в автографах поэта; сюда же вошли и строфы, печатавшиеся Пушкиным в первом издании романа или отдельно, в качестве отрывков из «Евгения Онегина». В этой части наше издание пополняет прежние несколькими отрывками, впервые публикуемыми и извлеченными из Майковского собрания и из тетрадей библиотеки им. Ленина. Таковы отрывки, относящиеся к строфам XXXIV главы шестой, XXXVI и LI главы седьмой. Кроме того, в ранее известные отрывки, извлеченные из тетрадей и отдельных листков, хранящихся в рукописных собраниях Публичной библиотеки им. Ленина, Ленинградской государственной публичной библиотеки, Библиотеки Академии наук и Института новой русской литературы, внесены исправления, иногда существенно меняющие смысл стихов.

Б. Томашевский

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Роман в стихах

> Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire.
>
> *Tiré d'une lettre particulière* [a]

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;
Но так и быть—рукой пристрастной
Прими собранье пестрых глав,
Полу-смешных, полу-печальных,

---

[a] <Проникнутый тщеславием, он, помимо того, обладал той особенной гордостью, которая заставляет признавать с одинаковым равнодушием как добрые, так и дурные поступки, вследствие чувства превосходства, быть может, мнимого.
Из частного письма.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

И жить торопится и чувствовать спешит.
К. Вяземский

I

«Мой дядя самых честных правил.
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог;
Его пример другим наука:
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чорт возьмет тебя!»

II

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Без предисловий сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы,
Или блистали, мой читатель!
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня [1].

III

Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно,
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва *Madame* за ним ходила,
Потом *Monsieur* ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l'Abbé [a], француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил,
И в Летний сад гулять водил.

IV

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как *Dandy* [2] лондонский одет;
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;

[a] <Господин аббат>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Легко мазурку танцовал,
И кланялся непринужденно:
Чего ж вам больше? Свет решил
Что он умен и очень мил.

V

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь:
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был, по мненью многих
(Судей решительных и строгих),
Ученый малый, но педант,
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданых эпиграм.

VI

Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale[a],
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли:
Но дней минувших анекдоты,
От Ромула до наших дней,
Хранил он в памяти своей.

а <привет (будь здоров).>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

VII

Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог,
И земли отдавал в залог.

VIII

Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада
И труд, и мука, и отрада,
Что занимало целый день
Его тоскующую лень,—
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.

IX

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Пушкинский кабинет ИРЛИ

X

Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным, иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!

XI

Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь—и вдруг
Добиться тайного свиданья,
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!

XII

Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.

XIII. XIV

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

XV

Бывало, он еще в постеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Всё равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест, в утреннем уборе,
Надев широкий боливар [3],
Онегин едет на бульвар,
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий Брегет
Не прозвонит ему обед.

XVI

Уж темно: в санки он садится.
«Поди! поди!» раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

К *Talon*[4] помчался: он уверен,
Что там уж ждет его *** [Каверин],
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним *Roast-beef* окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Стразбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

XVII

Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет;
Но звон Брегета им доносит,
Что новый начался балет.
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать *Entrechat*[a],
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать для того,
Чтоб только слышали его.

XVIII

Волшебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелой властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий

---

[a] <Прыжок, антраша.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

С младой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавой;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой;
Там и Дидло венчался славой:
Там, там, под сению кулис,
Младые дни мои неслись.

XIX

Мои богини! Что вы? Где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? Другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушной,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?

XX

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, всё кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.

XXI

Всё хлопает. Онегин входит:
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет, скосясь, наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Всё видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеяньи взглянул,
Отворотился, и зевнул,
И молвил: «всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел»[5].

XXII

Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони:
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXIII

Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Всё, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Всё, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной,—
Всё украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.

XXIV

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И щетки тридцати родов—
И для ногтей, и для зубов.
Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом:[6]
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.

XXV

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Второй *** [Чадаев], мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа, по крайней мере,
Пред зеркалами проводил,
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

XXVI

В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б это было смело,
Описывать мое же дело:
Но *панталоны*, *фрак*, *жилет*,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо меньше б мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический Словарь.

XXVII

У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И радуги на снег наводят;
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

XXVIII

Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо, он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волоса рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум, и теснота;
Брянчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрыпок заглушен
Ревнивый шопот модных жен.

XXIX

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то... не то избави, боже!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Я это потому пишу,
Что уж давно я не грешу.

XXX

Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но если б не страдали нравы,
Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки: только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах, долго я забыть не мог
Две ножки!.. Грустный, охладелый,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.

XXXI

Когда ж, и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах, ножки, ножки! Где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Взлелеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
Давно ль для вас я забывал
И жажду славы и похвал,
И край отцов, и заточенье?
Исчезло счастье юных лет,
Как на лугах ваш легкий след.

XXXII

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой.
Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зеркальном паркете зал,
У моря на граните скал.

XXXIII

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

XXXIV

Мне памятно другое время:
В заветных иногда мечтах
Держу я счастливое стремя
И ножку чувствую в руках;
Опять кипит воображенье,
Опять ее прикосновенье

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Зажгло в увядшем сердце кровь,
Опять тоска, опять любовь...
Но полно прославлять надменных
Болтливой лирою своей:
Они не стоят ни страстей,
Ни песен, ими вдохновенных;
Слова и взор волшебниц сих
Обманчивы, как ножки их.

XXXV

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный,
Открыты ставни, трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец акура'тный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой *васисдас*.

XXXVI

Но, шумом бала утомленный,
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени блаженной
Забав и роскоши дитя.
Проснется за полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра,
И завтра то же, что вчера.
Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?

XXXVII

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
Reef-steak и стразбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова:
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань, и саблю, и свинец.

XXXVIII

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому *сплину*,
Короче: русская *хандра*
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел:
Но к жизни вовсе охладел.
Как *Child-Harold*, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXXIX. XL. XLI

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

XLII

Причудницы большого света!
Всех прежде вас оставил он.
И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон.
Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея и Бентама;
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор.
К тому ж они так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин,
Что вид их уж рождает сплин [7].

XLIII

И вы, красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой,
И вас покинул мой Евгений.
Отступник бурных наслаждений,
Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
Хотел писать: но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его,
И не попал он в цех задорный
Людей, о коих не сужу,
Затем, что к ним принадлежу.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XLIV

И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:
Там скука, там обман и бред;
В том совести, в том смыслу нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.

XLV

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

XLVI

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Всё это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграм.

XLVII

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою[8],
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонной,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

XLVIII

С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя Пиит[9].
Всё было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые;
Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая.
Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав!

XLIX

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас,
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле,—
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

L

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора!—взываю к ней;
Брожу над морем [10], жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии,
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей [11],
Вздыхать о сумрачной России,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

LI

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.
Отец его тогда скончался.
Перед Онегиным собрался
Заимодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк:
Евгений, тяжбы ненавидя,
Довольный жребием своим,
Наследство предоставил им,
Большой потери в том не видя,
Иль предузнав издалека
Кончину дяди старика.

LII

Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад,
Что дядя при смерти в постеле
И с ним проститься был бы рад.
Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман
(И тем я начал мой роман);
Но, прилетев в деревню дяди,
Его нашел уж на столе,
Как дань, готовую земле.

LIII

Нашел он полон двор услуги;
К покойнику со всех сторон

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Съезжались недруги и други,
Охотники до похорон.
Покойника похоронили.
Попы и гости ели, пили,
И после важно разошлись,
Как будто делом занялись.
Вот наш Онегин сельский житель,
Заводов, вод, лесов, земель
Хозяин полный, а досель
Порядка враг и расточитель,
И очень рад, что прежний путь
Переменил на что-нибудь.

LIV

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле,
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

LV

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины:
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятясь невинным,
Брожу над озером пустынным,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И *far niente*[a] мой закон.
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, много сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы —
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?

LVI

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель,
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,—
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

LVII

Замечу кстати: все поэты—
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после Муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,

---

[a] <Безделье.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И пленниц берегов Салгира.
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:
«О ком твоя вздыхает лира?
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?

LVIII

Чей взор, волнуя вдохновенье,
Умильной лаской наградил
Твое задумчивое пенье?
Кого твой стих боготворил?»
И, други, никого, ей богу!
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.

LIX

Прошла любовь, явилась Муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум;
Пишу, и сердце не тоскует;
Перо, забывшись, не рисует,
Близ неоконченных стихов,
Ни женских ножек, ни голов;
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я всё грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять.

LX

Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел всё это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу;
Цензуре долг свой заплачу,
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам:
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье!
И заслужи мне славы дань—
Кривые толки, шум и брань!

ГЛАВА ВТОРАЯ

O rus!
Hor.[a]
О Русь!

I

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою; вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали сёлы здесь и там,

[a] <О деревня! Г о р а ц и й.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых Дриад.

II

Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах.
Всё это ныне обветшало,
Не знаю, право, почему:
Да, впрочем, другу моему
В том нужды было очень мало,
Затем, что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.

III

Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Всё было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил:
В одном нашел тетрадь расхода,
В другом наливок целый строй,
Кувшины с яблочной водой,
И календарь осьмого года;
Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

IV

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед.
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так:
Что он опаснейший чудак.

V

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги:—
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч, сумасбродит,
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино,
Он дамам к ручке не подходит;
Всё *да*, да *нет*; не скажет *да-с*
Иль *нет-с*». Таков был общий глас.

VI

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
И столь же строгому разбору
В соседстве повод подавал.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

VII

От хладного разврата света
Еще увянуть не успев,
Его душа была согрета
Приветом друга, лаской дев.
Он сердцем милый был невежда:
Его лелеяла надежда,
И мира новый блеск и шум
Еще пленяли юный ум.
Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего.
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой;
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал.

VIII

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна;
Что безотрадно изнывая
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его принять оковы,
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Что есть избранные судьбою
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

IX

Негодованье, сожаленье,
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье.
В нем рано волновали кровь.
Он с лирой странствовал на свете;
Под небом Шиллера и Гете,
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем.
И Муз возвышенных искусства,
Счастливец, он не постыдил;
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.

X

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных;
Он пел разлуку и печаль,
И нечто, и туманну даль,
И романтические розы;
Он пел те дальные страны,
Где долго в лоно тишины
Лились его живые слёзы;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

XI

В пустыне, где один Евгений
Мог оценить его дары,
Господ соседственных селений
Ему не нравились пиры;
Бежал он их беседы шумной.
Их разговор благоразумной
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жен
Гораздо меньше был умен.

XII

Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених;
Таков обычай деревенский;
Все дочек прочили своих
За полурусского соседа;
Взойдет ли он—тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуки жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай,
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару,
И запищит она (бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!.. [12]

XIII

Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свесть.
Они сошлись: волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом,
И скоро стали неразлучны.
Так люди, первый каюсь я,
От *делать нéчего*—друзья.

XIV

Но дружбы нет и той меж нами;
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами—себя;
Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал,
И вообще их презирал;
Но правил нет без исключений:
Иных он очень отличал,
И вчуже чувство уважал.

XV

Он слушал Ленского с улыбкой:
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкой,
И вечно вдохновенный взор,—
Онегину всё было ново;
Он охладительное слово

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В устах старался удержать,
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар, и юный бред.

XVI

Меж ими всё рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Всё подвергалось их суду.
Поэт в жару своих суждений
Читал, забывшись, между тем
Отрывки северных поэм;
И снисходительный Евгений,
Хоть их не много понимал,
Прилежно юноше внимал.

XVII

Но чаще занимали страсти
Умы пустынников моих.
Ушед от их мятежной власти,
Онегин говорил об них
С невольным вздохом сожаленья.
Блажен, кто ведал их волненья
И наконец от них отстал;
Блаженней тот, кто их не знал,
Кто охлаждал любовь разлукой,
Вражду злословием; порой

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Зевал с друзьями и женой,
Ревнивой не тревожась мукой,
И дедов верный капитал
Коварной двойке не вверял!

XVIII

Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя,
И нам становятся смешны
Их своевольство, иль порывы
И запоздалые отзывы:—
Смиренные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит;
Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей.

XIX

Зато и пламенная младость
Не может ничего скрывать:
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова разболтать.
В любви считаясь инвалидом,
Онегин слушал с важным видом,
Как, сердца исповедь любя,
Поэт высказывал себя;
Свою доверчивую совесть
Он простодушно обнажал,
Евгений без труда узнал
Его любви младую повесть,
Обильный чувствами рассказ,
Давно не новыми для нас.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XX

Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят; как одна
Безумная душа поэта
Еще любить осуждена:
Всегда, везде одно мечтанье,
Одно привычное желанье,
Одна привычная печаль!
Ни охлаждающая даль,
Ни долгие лета разлуки,
Ни музам данные часы,
Ни чужеземные красы,
Ни шум веселий, ни науки
Души не изменили в нем,
Согретой девственным огнем.

XXI

Чуть отрок, Ольгою плененный,
Сердечных мук еще не знав,
Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав;
В тени хранительной дубравы
Он разделял ее забавы,
И детям прочили венцы
Друзья-соседи, их отцы.
В глуши, под сению смиренной,
Невинной прелести полна,
В глазах родителей, она
Цвела как ландыш потаенный,
Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

XXII

Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон,
И мысль об ней одушевила
Его цевницы первый стон.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Простите, игры золотые!
Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,—
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду...
Но ныне видим только в ней
Замену тусклых фонарей.

XXIII

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила,
Глаза как небо голубые,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан,
Всё в Ольге... но любой роман
Возьмите, и найдете верно
Ее портрет: он очень мил;
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно,
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.

XXIV

Ее сестра звалась Татьяна... [13]
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно,
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей. Мы все должны

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Признаться, вкуса очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство,—больше ничего.

XXV

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела,
И часто, целый день одна,
Сидела молча у окна.

XXVI

Задумчивость, ее подруга
От самых колыбельных дней,
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей.
Ее изнеженные пальцы
Не знали игл; склонясь на пяльцы,
Узором шелковым она
Не оживляла полотна.
Охоты властвовать примета:
С послушной куклою дитя
Приготовляется шутя
К приличию, закону света,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.

XXVII

Но куклы, даже в эти годы,
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы с нею не вела.
И были детские проказы
Ей чужды; страшные рассказы
Зимою, в темноте ночей,
Пленяли больше сердце ей.
Когда же няня собирала
Для Ольги на широкий луг
Всех маленьких ее подруг,
Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех.

XXVIII

Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена,
Вставала при свечах она.

XXIX

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Она влюбилася в обманы
И Ричардсона и Руссо.
Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой,
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.
Жена ж его была сама
От Ричардсона без ума.

XXX

Она любила Ричардсона,
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла [14];
Но встарину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.
В то время был еще жених
Ее супруг, но поневоле;
Она вздыхала по другом,
Который сердцем и умом
Ей нравился гораздо боле;
Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.

XXXI

Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу.
Но не спросясь ее совета,
Девицу повезли к венцу.
И чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла, и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она [15].

XXXII

Привычка усладила горе,
Неотразимое ничем;
Открытие большое вскоре
Ее утешило совсем.
Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом
Самодержавно управлять,
И всё тогда пошло на стать.
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь—
Всё это мужа не спросясь.

XXXIII

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью,
И говорила нараспев;
Корсет носила очень узкий,
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос;
Но скоро всё перевелось:
Корсет, альбом, княжну Полину,
Стишков чувствительных тетрадь

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Она забыла—стала звать
Акулькой прежнюю Селину,
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.

XXXIV

Но муж любил ее сердечно,
В ее затеи не входил,
Во всем ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил.
Покойно жизнь его катилась;
Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.
Проходит время; между тем
Прикажут Ольге чай готовить;
Там ужин, там и спать пора,
И гости едут со двора.

XXXV

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюды по чинам.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXXVI

И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.

XXXVII

Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
«*Poor Yorick!* [16]—молвил он уныло.—
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его очаковской медалью!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: «дождусь ли дня?..»
И полный искренней печалью,
Владимир тут же начертал
Ему надгробный мадригал.

XXXVIII

И там же надписью печальной
Отца и матери, в слезах,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Почтил он прах патриархальной...
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им во след идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

XXXIX

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею,
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

XL

И чье-нибудь он сердце тронет;
И сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!)
Укажет будущий невежда

Пушкинский кабинет ИРЛИ

На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был Поэт!
Прими ж мое благодаренье,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

ГЛАВА ТРЕТИЯ

I

Elle était fille, elle était amoureuse.
Malfilâtre [a]

«Куда? Уж эти мне поэты!»—
«Прощай, Онегин, мне пора».—
«Я не держу тебя; но где ты
Свои проводишь вечера?»—
«У Лариных».—«Вот это чудно.
Помилуй! И тебе не трудно
Там каждый вечер убивать?»—
«Ни мало».—«Не могу понять.
Отселе вижу, что такое:
Во-первых (слушай, прав ли я?),
Простая, русская семья,
К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лен, про скотный двор...»—

II

«Я тут еще беды не вижу».—
«Да скука, вот беда, мой друг».—

---

[a] <Она была девушкой, она была влюблена. Мальфилатр.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Я модный свет ваш ненавижу;
Милее мне домашний круг,
Где я могу...»—«Опять эклога!
Да полно, милый, ради бога.
Ну что ж? ты едешь: очень жаль.
Ах, слушай, Ленской; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту,
Предмет и мыслей, и пера,
И слез, и рифм et cetera?[a]
Представь меня».—«Ты шутишь».—«Нету».—
«Я рад».—«Когда же?»—«Хоть сейчас.
Они с охотой примут нас.

III

Поедем».—
Поскакали други,
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья;
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водой.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

IV

Они дорогой самой краткой
Домой летят во весь опор [17].
Теперь подслушаем украдкой
Героев наших разговор.

---

[a] <И так далее.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Ну, что ж, Онегин? ты зеваешь».—
«Привычка, Ленской».—«Но скучаешь
Ты как-то больше».—«Нет, равно.
Однако в поле уж темно;
Скорей! пошел, пошел, Андрюшка!
Какие глупые места!
А, кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка;
Боюсь: брусничная вода
Мне не наделала б вреда.

V

Скажи, которая Татьяна?»—
«Да та, которая, грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна».—
«Неужто ты влюблен в меньшую?»—
«А что?»—«Я выбрал бы другую,
Когда б я был как ты поэт.
В чертах у Ольги жизни нет,
Точь в точь в Вандиковой Мадоне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».
Владимир сухо отвечал
И после во весь путь молчал.

VI

Меж тем Онегина явленье
У Лариных произвело
На всех большое впечатленье
И всех соседей развлекло.
Пошла догадка за догадкой.
Все стали толковать украдкой,
Шутить, судить не без греха,
Татьяне прочить жениха;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Иные даже утверждали,
Что свадьба слажена совсем,
Но остановлена затем,
Что модных колец не достали.
О свадьбе Ленского давно
У них уж было решено.

VII

Татьяна слушала с досадой
Такие сплетни; но тайком
С неизъяснимою отрадой
Невольно думала о том;
И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено.
Давно ее воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь.

VIII

И дождалась. Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! теперь и дни, и ночи,
И жаркий, одинокий сон,
Всё полно им; всё деве милой
Без умолку волшебной силой
Твердит о нем. Докучны ей
И звуки ласковых речей,
И взор заботливой прислуги.
В уныние погружена,
Гостей не слушает она,
И проклинает их досуги,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Их неожиданный приезд
И продолжительный присест.

IX

Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленные созданья,
Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де Линар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон [18],
Который нам наводит сон,
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.

X

Воображаясь героиной
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает, и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвеньи шепчет наизусть
Письмо для милого героя...
Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон.

XI

Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда неправедно гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

XII

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачной,
Иль вечный жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар [19].
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

XIII

Друзья мои, что ж толку в этом?
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны,
Да нравы нашей старины.

XIV

Перескажу простые речи
Отца иль дяди старика,
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слезы примиренья,
Поссорю вновь, и наконец
Я поведу их под венец...
Я вспомню речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног любовницы прекрасной
Мне приходили на язык,
От коих я теперь отвык.

XV

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью;
Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Везде, везде перед тобой
Твой искуситель роковой.

XVI

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить:
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,
Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах...
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальный свод небес,
И соловей во мгле древес
Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит:

XVII

«Не спится, няня: здесь так душно!
Открой окно, да сядь ко мне».—
«Что, Таня, что с тобой?»—«Мне скучно,
Поговорим о старине».—
«О чем же, Таня! Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц
Про злых духов и про девиц;
А ныне всё мне темно, Таня:
Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая череда!
Зашибло...»—«Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?»—

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XVIII

«И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь».—
«Да как же ты венчалась, няня?»—
«Так, видно, бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха;
Мне с плачем косу расплели,
Да с пеньем в церковь повели

XIX

И вот ввели в семью чужую...
Да ты не слушаешь меня...»—
«Ах, няня, няня, я тоскую,
Мне тошно, милая моя:
Я плакать, я рыдать готова!..»—
«Дитя мое, ты нездорова;
Господь помилуй и спаси!
Чего ты хочешь, попроси...
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горишь...»—«Я не больна;
Я... знаешь, няня, ... влюблена».—
«Дитя мое, господь с тобою!»—
И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой.

XX

«Я влюблена»,—шептала снова
Старушке с горестью она.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Сердечный друг, ты нездорова». —
«Оставь меня: я влюблена».
И между тем луна сияла
И темным светом озаряла
Татьяны бледные красы,
И распущенные власы,
И капли слез, и на скамейке
Пред героиней молодой,
С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке;
И всё дремало в тишине,
При вдохновительной луне.

XXI

И сердцем далеко носилась
Татьяна, смотря на луну...
Вдруг мысль в уме ее родилась...
«Поди, оставь меня одну.
Дай, няня, мне перо, бумагу,
Да стол подвинь; я скоро лягу;
Прости». И вот она одна.
Всё тихо. Светит ей луна.
Облокотясь, Татьяна пишет,
И всё Евгений на уме,
И в необдуманном письме
Любовь невинной девы дышет.
Письмо готово, сложено...
Татьяна! для кого ж оно?

XXII

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду назсегда! [20]
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Быть может, на брегах Невы
Подобных дам видали вы.

XXIII

Среди поклонников послушных
Других причудниц я видал,
Самолюбиво равнодушных
Для вздохов страстных и похвал.
И что ж нашел я с изумленьем?
Они, суровым поведеньем
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умели вновь,
По крайней мере, сожаленьем,
По крайней мере, звук речей
Казался иногда нежней,
И с легковерным ослепленьем
Опять любовник молодой
Бежал за милой суетой.

XXIV

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображеньем мятежным,
Умом и волею живой,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

XXV

Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим—
Любви мы цену тем умножим,
Вернее в сети заведем;
Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.

XXVI

Еще предвижу затрудненья:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски...
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXVII

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить
С Благонамеренным [21] в руках!
Я шлюсь на вас, мои поэты,
Не правда ль: милые предметы,
Которым, за свои грехи,
Писали втайне вы стихи,
Которым сердце посвящали,
Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

XXVIII

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце!
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою,
Красавиц новых поколенье,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
Стихи введут в употребленье;
Но я... какое дело мне?
Я верен буду старине.

XXIX

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Попрежнему сердечный трепет
Произведут в груди моей;
Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича стихи.
Но полно. Мне пора заняться
Письмом красавицы моей;
Я слово дал, и что ж? ей-ей
Теперь готов уж отказаться.
Я знаю: нежного Парни
Перо не в моде в наши дни.

XXX

Певец пиров и грусти томной [22],
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.
Где ты? приди: свои права
Передаю тебе с поклоном...
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,
Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.

XXXI

Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор
И увлекательный, и вредный?
Я не могу понять. Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный,
Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц.

Письмо Татьяны к Онегину.

Я к вам пишу—чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Всё думать, думать об одном
И день, и ночь до новой встречи.
Но говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне всё вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья,
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Души неопытной волненья
Смирив современем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала,
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это всё пустое,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единым взором
Надежды сердца оживи,
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!

Кончаю! страшно перечесть...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю...

XXXII

Татьяна то вздохнет, то охнет;
Письмо дрожит в ее руке;
Облатка розовая сохнет
На воспаленном языке.
К плечу головушкой склонилась.
Сорочка легкая спустилась
С ее прелестного плеча.
Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет. Там долина
Сквозь пар яснеет. Там поток
Засеребрился; там рожок
Пастуший будит селянина.
Вот утро; встали все давно:
Моей Татьяне всё равно.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXXIII

Она зари не замечает,
Сидит с поникшею главой
И на письмо не напирает
Своей печати вырезной.
Но, дверь тихонько отпирая,
Уж ей Филипьевна седая
Приносит на подносе чай.
«Пора, дитя мое, вставай:
Да ты, красавица, готова!
О пташка ранняя моя!
Вечор уж как боялась я!
Да, слава богу, ты здорова!
Тоски ночной и следу нет,
Лицо твое как маков цвет».—

XXXIV

«Ах! няня, сделай одолженье».—
«Изволь, родная, прикажи».—
«Не думай... право... подозренье...
Но видишь... Ах! не откажи».—
«Мой друг, вот бог тебе порука».—
«Итак, пошли тихонько внука
С запиской этой к О... к тому...
К соседу... да велеть ему—
Чтоб он не говорил ни слова,
Чтоб он не называл меня...»—
«Кому же, милая моя?
Я нынче стала бестолкова.
Кругом соседей много есть;
Куда мне их и перечесть».—

XXXV

«Как недогадлива ты, няня!»—
«Сердечный друг, уж я стара,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Стара; тупеет разум, Таня;
А то, бывало, я востра:
Бывало,·слово барской воли...»—
«Ах, няня, няня! до того ли?
Что нужды мне в твоем уме?
Ты видишь, дело о письме
К Онегину».—«Ну, дело, дело.
Не гневайся, душа моя,
Ты знаешь, непонятна я...
Да что ж ты снова побледнела?»—
«Так, няня, право ничего.
Пошли же внука своего».

XXXVI

Но день протек, и нет ответа,
Другой настал: всё нет, как нет.
Бледна как тень, с утра одета,
Татьяна ждет: когда ж ответ?
Приехал Ольгин обожатель.
«Скажите: где же ваш приятель?—
Ему вопрос хозяйки был:—
Он что-то нас совсем забыл».
Татьяна, вспыхнув, задрожала.
«Сегодня быть он обещал,—
Старушке Ленский отвечал.—
Да, видно, почта задержала».—
Татьяна потупила взор,
Как будто слыша злой укор.

XXXVII

Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал;
Татьяна пред окном стояла,
На стекла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да *Е*.

XXXVIII

И между тем, душа в ней ныла,
И слез был полон томный взор.
Вдруг топот!.. кровь ее застыла.
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» и легче тени
Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо в сад,
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет; мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирень переломала,
По цветникам летя к ручью
И задыхаясь, на скамью

XXXIX

Упала...
«Здесь он! здесь Евгений!
О боже! что подумал он!»
В ней сердце полное мучений
Хранит надежды темный сон;
Она дрожит и жаром пышит,
И ждет: нейдет ли? Но не слышит.
В саду служанки, на грядах,
Сбирали ягоду в кустах

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И хором по наказу пели
(Наказ, основанный на том,
Чтоб барской ягоды тайком
Уста лукавые не ели,
И пеньем были заняты:
Затея сельской остроты!)

Песня девушек.

Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки,
Разыграйтесь, девицы,
Разгуляйтесь, милые!
Затяните песенку,
Песенку заветную,
Заманите молодца
К хороводу нашему.
Как заманим молодца,
Как завидим издали,
Разбежимтесь, милые,
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.
Не ходи подслушивать
Песенки заветные,
Не ходи подсматривать
Игры наши девичьи.

XL

Они поют, и с небреженьем
Внимая звонкий голос их,
Ждала Татьяна с нетерпеньм,
Чтоб трепет сердца в ней затих,
Чтобы прошло ланит пыланье.
Но в персях то же трепетанье,
И не проходит жар ланит,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Но ярче, ярче лишь горит.
Так бедный мотылек и блещет,
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалека
В кусты припадшего стрелка.

XLI

Но наконец она вздохнула
И встала со скамьи своей;
Пошла, но только повернула
В аллею,—прямо перед ней,
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени.
И как огнем обожжена
Остановилася она.
Но следствия нежданой встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

La morale est dans la nature des choses.
Necker[a].

I. II. III. IV. V. VI.

VII

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей,
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.

[a] <Нравственность—в природе вещей. Некер>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Разврат, бывало, хладнокровной
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя,
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян:
Ловласов обветшала слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков.

VIII

Кому не скучно лицемерить,
Различно повторять одно;
Стараться важно в том уверить,
В чем все уверены давно;
Всё те же слышать возраженья,
Уничтожать предрассужденья,
Которых не было и нет
У девочки в тринадцать лет!
Кого не утомят угрозы,
Моленья, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольцы, слезы,
Надзоры теток, матерей,
И дружба тяжкая мужей!

IX

Так точно думал мой Евгений.
Он в первой юности своей
Был жертвой бурных заблуждений
И необузданных страстей.
Привычкой жизни избалован,
Одним на время очарован,
Разочарованный другим,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Желаньем медленно томим,
Томим и ветреным успехом,
Внимая в шуме и в тиши
Роптанье вечное души,
Зевоту подавляя смехом:
Вот, как убил он восемь лет,
Утратя жизни лучший цвет.

X

В красавиц он уж не влюблялся,
А волочился как-нибудь;
Откажут—мигом утешался;
Изменят—рад был отдохнуть.
Он их искал без упоенья,
А оставлял без сожаленья,
Чуть помня их любовь и злость.
Так точно равнодушный гость
На *вист* вечерний приезжает,
Садится; кончилась игра:
Он уезжает со двора,
Спокойно дома засыпает,
И сам не знает поутру,
Куда поедет ввечеру.

XI

Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет, и вид унылой;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

XII

Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошел
И молвил: «Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;
Но вас хвалить я не хочу;
Я за нее вам отплачу
Признаньем также без искусства;
Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.

XIII

«Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единой:
То, верно б, кроме вас одной
Невесты не искал иной.
Скажу без блесток мадригальных:
Нашед мой прежний идеал,
Я верно б вас одну избрал
В подруги дней моих печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив... сколько мог!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XIV

«Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать: ваши слёзы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней!

XV

«Что̀ может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже,
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу однако ж проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я. И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?
Ужели жребий вам такой
Назначен строгою судьбой?

XVI

«Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
Так видно небом суждено.
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою,
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».

XVII

Так проповедывал Евгений.
Сквозь слез не видя ничего,
Едва дыша, без возражений,
Татьяна слушала его.
Он подал руку ей. Печально
(Как говорится, *машинально*)
Татьяна, молча, оперлась,
Головкой томною склонясь.
Пошли домой вкруг огорода,
Явились вместе, и никто
Не вздумал им пенять на то:
Имеет сельская свобода
Свои счастливые права,
Как и надменная Москва.

XVIII

Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш приятель;
Не в первый раз он тут явил
Души прямое благородство,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Хотя людей недоброхотство
В нем не щадило ничего:
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них не даром вспомнил я.

XIX

А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, черные мечты;
Я только *в скобках* замечаю,
Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью ободренной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой;
А впрочем, он за вас горой:
Он вас так любит ...как родной!

XX

Гм! гм! Читатель благородной,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно *родные*.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать,
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
Итак, дай бог им долги дни!

XXI

Зато любовь красавиц нежных
Надежней дружбы и родства:
Над нею и средь бурь мятежных
Вы сохраняете права.
Конечно, так. Но вихорь моды,
Но своенравие природы,
Но мненья светского поток...
А милый пол, как пух, легок.
К тому ж и мнения супруга
Для добродетельной жены
Всегда почтенны быть должны;
Так ваша верная подруга
Бывает вмиг увлечена:
Любовью шутит сатана.

XXII

Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы про нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда?
Призрака суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Предмет достойный: ничего
Любезней верно нет его.

XXIII

Что было следствием свиданья?
Увы, не трудно угадать!
Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит;
Ее постели сон бежит;
Здоровье, жизни цвет и сладость,
Улыбка, девственный покой,
Пропало всё, что звук пустой,
И меркнет милой Тани младость:
Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.

XXIV

Увы, Татьяна увядает;
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит.
Качая важно головою,
Соседи шепчут меж собою:
Пора, пора бы замуж ей!..
Но полно. Надо мне скорей
Развеселить воображенье
Картиной счастливой любви.
Невольно, милые мои,
Меня стесняет сожаленье;
Простите мне: я так люблю
Татьяну милую мою!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXV

Час от часу плененный боле
Красами Ольги молодой,
Владимир сладостной неволе
Предался полною душой.
Он вечно с ней. В ее покое
Они сидят в потемках двое;
Они в саду, рука с рукой,
Гуляют утренней порой;
И что ж? Любовью упоенный,
В смятеньи нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть,
Иль край одежды целовать.

XXVI

Он иногда читает Оле
Нравоучительный роман,
В котором автор знает боле
Природу, чем Шатобриан,
А между тем две, три страницы
(Пустые бредни, небылицы,
Опасные для сердца дев)
Он пропускает, покраснев.
Уединясь от всех далеко,
Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеянье свою.

XXVII

Поедет ли домой: и дома
Он занят Ольгою своей.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Летучие листки альбома
Прилежно украшает ей:
То в них рисует сельски виды,
Надгробный камень, храм Киприды,
Или на лире голубка
Пером и красками слегка;
То на листках воспоминанья,
Пониже подписи других,
Он оставляет нежный стих,
Безмолвный памятник мечтанья,
Мгновенной думы долгий след,
Всё тот же после многих лет.

XXVIII

Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Сюда, на зло правописанью,
Стихи без меры, по преданью,
В знак дружбы верной внесены,
Уменьшены, продолжены.
На первом листике встречаешь
Qu'écrirez-vous sur ces tablettes;
И подпись: t. à v. Annette [a];
А на последнем прочитаешь:
«*Кто любит более тебя,*
Пусть пишет далее меня».

XXIX

Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски;

[a] <Что вы напишите на этих листках?.. Вся ваша Аннета.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Какой-нибудь *пиит* армейский
Тут подмахнул стишок злодейский.
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я,
Уверен будучи душою,
Что всякой мой усердный вздор
Заслужит благосклонный взор
И что потом с улыбкой злою
Не станут важно разбирать,
Остро, иль нет я мог соврать.

XXX

Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей,
Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстова кистью чудотворной,
Иль Баратынского пером,
Пускай сожжет вас божий гром!
Когда блистательная дама
Мне свой in-quarto подает,
И дрожь и злость меня берет,
И шевелится эпиграма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

XXXI

Не мадригалы Ленский пишет
В альбоме Ольги молодой;
Его перо любовью дышит,
Не хладно блещет остротой;
Что ни заметит, ни услышит
Об Ольге, он про то и пишет:
И полны истины живой

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Текут элегии рекой.
Так ты, Языков вдохновенный,
В порывах сердца своего,
Поешь, бог ведает, кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.

XXXII

Но тише! Слышишь? Критик строгий
Повелевает сбросить нам
Элегии венок убогий
И нашей братье рифмачам
Кричит: «да перестаньте плакать,
И всё одно и то же квакать,
Жалеть *о прежнем, о былом*:
Довольно, пойте о другом!»—
«Ты прав, и верно нам укажешь
Трубу, личину и кинжал,
И мыслей мертвый капитал
Отвсюду воскресить прикажешь:
Не так ли, друг?»—«Ничуть. Куда!
Пишите оды, господа.

XXXIII

Как их писали в мощны годы,
Как было встарь заведено...»—
«Одни торжественные оды!
И, полно, друг; не всё ль равно?
Припомни, что сказал сатирик!
Чужого толка хитрый лирик
Ужели для тебя сносней
Унылых наших рифмачей?»—
«Но всё в элегии ничтожно;
Пустая цель ее жалка;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Меж тем цель оды высока
И благородна...» Тут бы можно
Поспорить нам, но я молчу:
Два века ссорить не хочу.

XXXIV

Поклонник славы и свободы,
В волненьи бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет наград.
И впрям, блажен любовник скромной,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,
Красавице приятно-томной!
Блажен... хоть, может быть, она
Совсем иным развлечена.

XXXV

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няни,
Подруге юности моей,
Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав нежданно за полу,
Душу трагедией в углу,
Или (но это кроме шуток),
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXXVI. XXXVII

А что ж Онегин? Кстати, братья!
Терпенья вашего прошу:
Его вседневные занятья
Я вам подробно опишу.
Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...

XXXVIII. XXXIX

Прогулки, чтенье, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая;
И нечувствительно он ей
Предался, красных летних дней
В беспечной неге не считая,
Забыв и город и друзей
И скуку праздничных затей.

XL

Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Хоть мы признаться не хотим.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

XLI

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Храпит—и путник осторожный
Несется в гору во всесь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке распевая, дева [23]
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

XLII

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы *розы*;
На, вот возьми ее скорей!)
Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Мальчишек радостный народ [24]
Коньками звучно режет лед;
На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,
Скользит и падает; веселый
Мелькает, вьется первый снег,
Звездами падая на брег.

XLIII

В глуши что делать в эту пору?
Гулять? Деревня той порой
Невольно докучает взору
Однообразной наготой.
Скакать верхом в степи суровой?
Но конь, притупленной подковой
Неверный зацепляя лед,
Того и жди, что упадет.
Сиди под кровлею пустынной,
Читай: вот Прадт, вот W. Scott.
Не хочешь? Поверяй расход,
Сердись, иль пей, и вечер длинной
Кой-как пройдет, а завтра то ж,
И славно зиму проведешь.

XLIV

Прямым Онегин Чильд Гарольдом
Вдался в задумчивую лень:
Со сна садится в ванну со льдом,
И после, дома целый день,
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.
Настанет вечер деревенский:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Бильярд оставлен, кий забыт,
Перед камином стол накрыт,
Евгений ждет: вот едет Ленский
На тройке чалых лошадей:
Давай обедать поскорей!

XLV

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокреной [25];
Оно своей игрой и пеной
(Подобием того-сего)
Меня пленяло: за него
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я, помните ль, друзья?
Его волшебная струя
Рождала глупостей не мало,
А сколько шуток, и стихов,
И споров, и веселых снов!

XLVI

Но изменяет пеной шумной
Оно желудку моему,
И я *Бордо* благоразумной
Уж нынче предпочел ему.
К *Аи* я больше не способен;
Аи любовнице подобен,
Блестящей, ветреной, живой,
И своенравной, и пустой...
Но ты, *Бордо*, подобен другу,
Который, в горе и в беде,
Товарищ завсегда, везде,
Готов нам оказать услугу,
Иль тихой разделить досуг.
Да здравствует *Бордо*, наш друг!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XLVII

Огонь потух; едва золою
Подернут уголь золотой;
Едва заметною струею
Вается пар, и теплотой
Камин чуть дышит. Дым из трубок
В трубу уходит. Светлый кубок
Еще шипит среди стола.
Вечерняя находит мгла...
(Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки,
А почему, не вижу я.)
Теперь беседуют друзья:

XLVIII

«Ну, что соседки? Что Татьяна?
Что Ольга резвая твоя?»—
«Налей еще мне полстакана...
Довольно, милый... Вся семья
Здорова; кланяться велели.
Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь!
Что за душа!.. Когда-нибудь
Заедем к ним; ты их обяжешь;
А то, мой друг, суди ты сам:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь.
Да вот... какой же я болван!
Ты к ним на той неделе зван».—

XLIX

«Я?»—«Да, Татьяны именины
В субботу. Оленька и мать

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Велели звать, и нет причины
Тебе на зов не приезжать».—
«Но куча будет там народу
И всякого такого сброду...»—
«И никого, уверен я!
Кто будет там? Своя семья.
Поедем, сделай одолженье!
Ну, что ж?»—«Согласен».—«Как ты мил!»
При сих словах он осушил
Стакан, соседке приношенье,
Потом разговорился вновь
Про Ольгу: такова любовь!

L

Он весел был. Чрез две недели
Назначен был счастливый срок.
И тайна брачныя постели
И сладостной любви венок
Его восторгов ожидали.
Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда
Ему не снилась никогда.
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена... [26]
Мой бедный Ленский, сердцем он
Для оной жизни был рожден.

LI

Он был любим... по крайней мере
Так думал он, и был счастлив.
Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Или, нежней, как мотылек,
В весенний впившийся цветок;
Но жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит,
Чье сердце опыт остудил
И забываться запретил!

ГЛАВА ПЯТАЯ

О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!

Жуковский.

I

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор.
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Всё ярко, всё бело кругом.

II.

Зима!.. Крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Летит кибитка удалая:
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки *жучку* посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

III

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Всё это низкая природа;
Изящного не много тут.
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег [27].
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец Финляндки молодой! [28]

IV

Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иней в день морозной,
И сани, и зарею поздной
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.

V

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.
Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл:
То несомненный знак ей был,
Что едут гости. Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,

VI

Она дрожала и бледнела.
Когда ж падучая звезда
По небу темному летела
И рассыпалася,—тогда
В смятеньи Таня торопилась;
Пока звезда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.
Когда случалось где-нибудь
Ей встретить черного монаха,
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей;
Не зная, что начать со страха,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.

VII

Что ж? Тайну прелесть находила
И в самом ужасе она:
Так нас природа сотворила,
К противоречию склонна.
Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Всё потеряв невозвратимо;
И всё равно: надежда им
Лжет детским лепетом своим.

VIII

Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно-вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,
Выходят кольцы чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
«*Там мужички-то всё богаты:*
«*Гребут лопатой серебро;*
«*Кому поем, тому добро*
«*И слава!*» Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей *кошурка* сердцу дев [29].

Пушкинский кабинет ИРЛИ

IX

Морозна ночь; всё небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна...
Чу... снег хрустит... прохожий; дева
К нему на цыпочках летит
И голосок ее звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? [30] Смотрит он
И отвечает: Агафон.

X

Татьяна, по совету няни,
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бани
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне...
И я—при мысли о Светлане
Мне стало страшно—так и быть...
С Татьяной нам не ворожить.
Татьяна поясок шелковой
Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьется Лель,
А под подушкою пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло всё. Татьяна спит.

XI

И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена;
В сугробах снежных перед нею
Шумит, клубит волной своею
Кипучий, темный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жердочки склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток:
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилася она.

XII

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видит никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой взъерошенный медведь;
Татьяна *ах!* а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей;
Пошла—и что ж? медведь за ней.

XIII

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес; недвижны сосны

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.

XIV

Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колено-ей;
То длинный сук ее за шею
Зацепит вдруг, то из ушей
Златые серьги вырвет силой;
То в хрупком снеге с ножки милой
Увязнет мокрый башмачок;
То выронит она платок;
Поднять ей некогда; боится,
Медведя слышит за собой,
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бежит, он всё вослед:
И сил уже бежать ей нет.

XV

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна;
Не шевельнется, не дохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш убогой;
Кругом всё глушь, отвсюду он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик и шум:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Медведь промолвил: *здесь мой кум;*
Погрейся у него немножко;
И в сени прямо он идет,
И на порог ее кладет.

XVI

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же! видит... за столом
Сидят чудовища кругом;
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордой,
Там карла с хвостиком, а вот
Полу-журавль и полу-кот.

XVII

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница в присядку пляшет
И крыльями трещит и машет;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ! [31]
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,—
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XVIII

Он знак подаст: и все хлопочут;
Он пьет: все пьют и все кричат;
Он засмеется: все хохочут;
Нахмурит брови: все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно,
И любопытная теперь
Немного растворила дверь...
Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь светильников ночных:
Смутилась шайка домовых;
Онегин, взорами сверкая,
Из-за стола гремя встает;
Все встали: он к дверям идет.

XIX

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
Не может; дверь толкнул Евгений:
И взорам адских привидений
Явилась дева; ярый смех
Раздался дико; очи всех,
Копыты, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные,
Всё указует на нее,
И все кричат: мое! мое!

XX

Мое! сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Осталася во тьме морозной
Младая дева с ним сам-друг;
Онегин тихо увлекает [32]
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
К ней на плечо; вдруг Ольга входит,
За нею Ленский; свет блеснул;
Онегин руку замахнул
И дико он очами бродит,
И незванных гостей бранит:
Татьяна чуть жива лежит.

XXI

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался... хижина шатнулась...
И Таня в ужасе проснулась...
Глядит, уж в комнате светло;
В окне сквозь мерзлое стекло
Зари багряный луч играет;
Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры северной алей
И легче ласточки, влетает;
«Ну,—говорит:—скажи ж ты мне,
Кого ты видела во сне?»

XXII

Но та, сестры не замечая,
В постеле с книгою лежит,
За листом лист перебирая,
И ничего не говорит.
Хоть не являла книга эта
Ни сладких вымыслов поэта,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Ни мудрых истин, ни картин;
Но ни Виргилий, ни Расин,
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже Дамских Мод Журнал
Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека [33],
Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов.

XXIII

Сие глубокое творенье
Завез кочующий купец
Однажды к ним в уединенье
И для Татьяны наконец
Его с разрозненной *Мальвиной*
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв еще за них
Собранье басен площадных,
Грамматику, две Петриады,
Да Мармонтеля третий том.
Мартын Задека стал потом
Любимец Тани... Он отрады
Во всех печалях ей дарит
И безотлучно с нею спит.

XXIV

Ее тревожит сновиденье.
Не зная, как его понять,
Мечтанья страшного значенье
Татьяна хочет отыскать.
Татьяна в оглавленьи кратком
Находит азбучным порядком
Слова: бор, буря, ворон, ель,
Еж, мрак, мосток, медведь, метель
И прочая. Ее сомнений
Мартын Задека не решит;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Но сон зловещий ей сулит
Печальных много приключений.
Дней несколько она потом
Всё беспокоилась о том.

XXV

Но вот багряною рукою [34]
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.
С утра дом Лариных гостями
Весь полон; целыми семьями
Соседы съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.
В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.

XXVI

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходной,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков;
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком [35]
(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXVII

С семьей Панфила Харликова
Приехал и мосье Трике,
Остряк, недавно из Тамбова,
В очках и в рыжем парике.
Как истинный француз, в кармане
Трике привез куплет Татьяне
На голос, знаемый детьми:
Réveillez vous, belle endormie[а]
Меж ветхих песен альманаха
Был напечатан сей куплет;
Трике, догадливый поэт,
Его на свет явил из праха,
И смело—вместо belle[б] Nina
Поставил belle Tatiana.

XXVIII

И вот из ближнего посада
Созревших барышень кумир,
Уездных матушек отрада,
Приехал ротный командир;
Вошел... Ах, новость, да какая!.
Музыка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране [36].
Но кушать подали. Четой
Идут за стол рука с рукой.
Теснятся барышни к Татьяне,
Мужчины против: и, крестясь,
Толпа жужжит за̀ стол садясь.

[а] <Проснитесь, спящая красотка.>
[б] <Прекрасная.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXIX

На миг умолкли разговоры;
Уста жуют. Со всех сторон
Гремят тарелки и приборы,
Да рюмок раздается звон.
Но вскоре гости понемногу
Подъемлют общую тревогу.
Никто не слушает, кричат,
Смеются, спорят и пищат.
Вдруг двери настежь. Ленский входит
И с ним Онегин. «Ах, творец!—
Кричит хозяйка:—наконец!»
Теснятся гости, всяк отводит
Приборы, стулья поскорей;
Зовут, сажают двух друзей.

XXX

Сажают прямо против Тани,
И, утренней луны бледней
И трепетней гонимой лани,
Она темнеющих очей
Не подымает: пышет бурно
В ней страстный жар; ей душно, дурно;
Она приветствий двух друзей
Не слышит; слезы из очей
Хотят уж капать; уж готова
Бедняжка в обморок упасть;
Но воля и рассудка власть
Превозмогли. Она два слова
Сквозь зубы молвила тишком
И усидела за столом.

XXXI

Траги-нервических явлений,
Девичьих обмороков, слез

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Давно терпеть не мог Евгений:
Довольно их он перенес.
Чудак, попав на пир огромной,
Уж был сердит. Но, девы томной
Заметя трепетный порыв,
С досады взоры опустив,
Надулся он, и негодуя
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.
Теперь, заране торжествуя,
Он стал чертить в душе своей
Карикатуры всех гостей.

XXXII

Конечно, не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог;
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастию, пересоленой);
Да вот в бутылке засмоленой,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких, длинных
Подобных талии твоей,
Зизи, кристал души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиял,
Ты, от кого я пьян бывал!

XXXIII

Освободясь от пробки влажной,
Бутылка хлопнула; вино
Шипит; и вот с осанкой важной,
Куплетом мучимый давно,
Трике встает; пред ним собранье
Хранит глубокое молчанье.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Татьяна чуть жива; Трике,
К ней обратясь с листком в руке,
Запел, фальшивя. Плески, клики
Его приветствуют. Она
Певцу присесть принуждена;
Поэт же скромный, хоть великий,
Ее здоровье первый пьет
И ей куплет передает.

XXXIV

Пошли приветы, поздравленья;
Татьяна всех благодарит.
Когда же дело до Евгенья
Дошло, то девы томный вид,
Ее смущение, усталость
В его душе родили жалость:
Он молча поклонился ей:
Но как-то взор его очей
Был чудно нежен. Оттого ли,
Что он и вправду тронут был,
Иль он, кокетствуя, шалил,
Невольно ль, иль из доброй воли
Но взор сей нежность изъявил:
Он сердце Тани оживил.

XXXV

Гремят отдвинутые стулья;
Толпа в гостиную валит:
Так пчел из лакомого улья
На ниву шумный рой летит.
Довольный праздничным обедом,
Сосед сопит перед соседом;
Подсели дамы к комельку;
Девицы шепчут в уголку;
Столы зеленые раскрыты:
Зовут задорных игроков

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Бостон и ломбер стариков,
И вист, доныне знаменитый,
Однообразная семья,
Все жадной скуки сыновья.

XXXVI

Уж восемь робертов сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменяли;
И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок—верный наш Брегет;
И, кстати, я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

XXXVII. XXXVIII. XXXIX

Но чай несут: девицы чинно
Едва за блюдечки взялись,
Вдруг из-за двери в зале длинной
Фагот и флейта раздались.
Обрадован музыки громом,
Оставя чашку чая с ромом,
Парис окружных городков,
Подходит к Ольге Пустяков,
К Татьяне Ленский, Харликову,
Невесту переспелых лет,
Берет тамбовский мой поэт,
Умчал Буянов Пустякову,
И в залу высыпали все,
И бал блестит во всей красе.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XL

В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотелось в роде мне Альбана
Бал петербургский описать;
Но, развлечен пустым мечтаньем,
Я занялся воспоминаньем
О ножках мне знакомых дам.
По вашим узеньким следам,
О ножки, полно заблуждаться!
С изменой юности моей
Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться,
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.

XLI

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне усмехаясь,
Подходит к Ольге. Быстро с ней
Вертится около гостей,
Потом на стул ее сажает,
Заводит речь о том, о сем;
Спустя минуты две, потом
Вновь с нею вальс он продолжает;
Все в изумленьи. Ленский сам
Не верит собственным глазам.

XLII

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В огромной зале всё дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.
Но в городах, по деревням,
Еще мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Всё те же; их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян.

XLIII. XLIV

Буянов, братец мой задорной,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою; проворно
Онегин с Ольгою пошел;
Ведет ее скользя небрежно,
И, наклонясь, ей шепчет нежно
Какой-то пошлый мадригал,
И руку жмет — и запылал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче. Ленский мой
Всё видел: вспыхнул, сам не свой;
В негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждет
И в котильон ее зовет.

XLV

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?
Да Ольга слово уж дала
Онегину. О боже, боже!
Что слышит он? Она могла....
Возможно ль? Чуть лишь из пеленок,
Кокетка, ветреный ребенок!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Уж хитрость ведает она,
Уж изменять научена!
Не в силах Ленский снесть удара;
Проказы женские кляня,
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули—больше ничего—
Вдруг разрешат судьбу его.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Là, sotto i giorni nubilosi e brevi,
Nasce una gente a cui l'morir non dole.
Pert.[a]

I

Заметив, что Владимир скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
За ним и Оленька зевала,
Глазами Ленского искала,
И бесконечный котильон
Ее томил как тяжкий сон.
Но кончен он. Идут за ужин.
Постели стелют: для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьи. Всем нужен
Покойный сон. Онегин мой
Один уехал спать домой.

II

Всё успокоилось: в гостиной
Храпит тяжелый Пустяков

---

[a] <Там, где под туманными и короткими днями родится племя, которому не больно умирать. Петрарка.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

С своей тяжелой половиной.
Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровой,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике,
В фуфайке, в старом колпаке.
Девицы в комнатах Татьяны
И Ольги все объяты сном.
Одна, печально под окном,
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит.

III

Его нежданым появленьем,
Мгновенной нежностью очей
И странным с Ольгой поведеньем
До глубины души своей
Она проникнута; не может
Никак понять его; тревожит
Ее ревнивая тоска,
Как будто хладная рука
Ей сердце жмет, как будто бездна
Под ней чернеет и шумит...
«Погибну,—Таня говорит:—
Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать».

IV

Вперед, вперед, моя исторья!
Лицо нас новое зовет.
В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живет
И здравствует еще доныне
В философической пустыне

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!

V

Бывало, льстивый голос света
В нем злую храбрость выхвалял:
Он, правда, в туз из пистолета
В пяти саженях попадал,
И то сказать, что и в сраженьи
Раз в настоящем упоеньи
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого свалясь,
Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!
Новейший Регул, чести бог,
Готовый вновь предаться узам,
Чтоб каждым утром у Вери [37]
В долг осушать бутылки три.

VI

Бывало, он трунил забавно,
Умел морочить дурака
И умного дурачить славно,
Иль явно, иль исподтишка,
Хоть и ему иные штуки
Не проходили без науки,
Хоть иногда и сам впросак
Он попадался, как простак.
Умел он весело поспорить,
Остро и тупо отвечать,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Порой рассчетливо смолчать,
Порой рассчетливо повздорить,
Друзей поссорить молодых
И на барьер поставить их,

VII

Иль помириться их заставить,
Дабы позавтракать втроем,
И после тайно обесславить
Веселой шуткою, враньем,
Sed alia tempora! [a] Удалость
(Как сон любви, другая шалость)
Проходит с юностью живой.
Как я сказал, Зарецкий мой,
Подь сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.

VIII

Он был неглуп; и мой Евгений,
Не уважая сердца в нем,
Любил и дух его суждений,
И здравый толк о том, о сем.
Он с удовольствием, бывало,
Видался с ним, и так нимало
Поутру не был удивлен,
Когда его увидел он.
Тот после первого привета,
Прервав начатый разговор,
Онегину, осклабя взор,
Вручил записку от поэта.

---

[a] <По времена иные.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

К окну Онегин подошел
И про себя ее прочел.

IX

То был приятный, благородный,
Короткий вызов иль *картель*:
Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.
Онегин с первого движенья,
К послу такого порученья
Оборотясь, без лишних слов
Сказал, что он *всегда готов*.
Зарецкий встал без объяснений;
Остаться доле не хотел,
Имея дома много дел,
И тотчас вышел; но Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам собой.

X

И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.
А во-вторых: пускай поэт
Дурачится; в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и с умом.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XI

Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце. «Но теперь
Уж поздно; время улетело...
К тому ж—он мыслит—в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист...
Конечно: быть должно презренье
Ценой его забавных слов;
Но шопот, хохотня глупцов...»
И вот общественное мненье! [38]
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!

XII

Кипя враждой нетерпеливой,
Ответа дома ждет поэт;
И вот сосед велеречивой
Привез торжественный ответ.
Теперь ревнивцу то-то праздник!
Он всё боялся, чтоб проказник
Не отшутился как-нибудь,
Уловку выдумав и грудь
Отворотив от пистолета.
Теперь сомненья решены:
Они на мельницу должны
Приехать завтра до рассвета,
Взвести друг на друга курок
И метить в ляжку иль в висок.

XIII

Решась кокетку ненавидеть,
Кипящий Ленский не хотел

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пред поединком Ольгу видеть,
На солнце, на часы смотрел,
Махнул рукою напоследок—
И очутился у соседок.
Он думал Оленьку смутить,
Своим приездом поразить;
Не тут-то было: как и прежде,
Навстречу бедного певца
Прыгнула Оленька с крыльца
Подобно ветреной надежде,
Резва, беспечна, весела,
Ну точно та же, как была.

XIV

«Зачем вечор так рано скрылись?»
Был первый Оленькин вопрос.
Все чувства в Ленском помутились,
И молча он повесил нос.
Исчезла ревность и досада
Пред этой ясностию взгляда,
Пред этой нежной простотой,
Пред этой резвою душой!..
Он смотрит в сладком умиленье;
Он видит: он еще любим!
Уж он, раскаяньем томим,
Готов просить у ней прощенье,
Трепещет, не находит слов:
Он счастлив, он почти здоров...

XV. XVI. XVII

И вновь задумчивый, унылый
Пред милой Ольгою своей,
Владимир не имеет силы
Вчерашний день напомнить ей;
Он мыслит: «буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый».
Всё это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.

XVIII

Когда б он знал, какая рана
Моей Татьяне сердце жгла!
Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь!
Но этой страсти и случайно
Еще никто не открывал.
Онегин обо всем молчал;
Татьяна изнывала тайно;
Одна бы няня знать могла,
Да недогадлива была.

XIX

Весь вечер Ленский был рассеян,
То молчалив, то весел вновь;
Но тот, кто музою взлелеян,
Всегда таков: нахмуря бровь,
Садился он за клавикорды,
И брал на них одни аккорды;
То к Ольге взоры устремив,
Шептал: не правда ль? я счастлив.
Но поздно; время ехать. Сжалось
В нем сердце полное тоской;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Прощаясь с девой молодой
Оно как будто разрывалось.
Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?»—«Так».—И на крыльцо.

XX

Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик, и, раздетый,
При свечке, Шиллера открыл;
Но мысль одна его объемлет;
В нем сердце грустное не дремлет;
С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой.
Владимир книгу закрывает,
Берет перо; его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Д[ельвиг] пьяный на пиру.

XXI

Стихи на случай сохранились;
Я их имею; вот они:
«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды: прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Всё благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXII

Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день;
А я—быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранн й урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!..»

XXIII

Так он писал *темно* и *вяло*
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут ни мало
Не вижу я; да что нам в том?)
И наконец перед зарею,
Склонясь усталой головою,
На модном слове *идеал*
Тихонько Ленский задремал;
Но только сонным обаяньем
Он позабылся, уж сосед
В безмолвный входит кабинет
И будит Ленского воззваньем:
«Пора вставать: седьмой уж час.
Онегин верно ждет уж нас».

XXIV

Но ошибался он: Евгений
Спал в это время мертвым сном.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Уже редеют ночи тени
И встречен Веспер петухом;
Онегин спит себе глубоко.
Уж солнце катится высоко
И перелетная метель
Блестит и вьется; но постель
Еще Евгений не покинул,
Еще над ним летает сон.
Вот наконец проснулся он
И полы завеса раздвинул;
Глядит—и видит, что пора
Давно уж ехать со двора.

XXV

Он поскорей звонит. Вбегает
К нему слуга француз Гильо,
Халат и туфли предлагает
И подает ему белье.
Спешит Онегин одеваться,
Слуге велит приготовляться
С ним вместе ехать и с собой
Взять также ящик боевой.
Готовы санки беговые.
Он сел, на мельницу летит.
Примчались. Он слуге велит
Лепажа [39] стволы роковые
Нести за ним, а лошадям
Отъехать в поле к двум дубкам.

XXVI

Опершись на плотину, Ленский
Давно нетерпеливо ждал;
Меж тем, механик деревенский,
Зарецкий жорнов осуждал.
Идет Онегин с извиненьем.
«Но где же,—молвил с изумленьем

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Зарецкий,—где ваш секундант?»
В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял—не как-нибудь,
Но в строгих правилах искусства,
По всем преданьям старины
(Что похвалить мы в нем должны).

XXVII

«Мой секундант?—сказал Евгений:—
Вот он: мой друг, monsieur Guillot,
Я не предвижу возражений
На представление мое:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж, конечно, малый честный».
Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?»—«Начнем, пожалуй»,—
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и *честный малый*
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.

XXVIII

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...
Не засмеяться ль им, пока

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Не обагрилась их рука,
Не разойтиться ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.

XXIX

Вот пистолеты уж блеснули.
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

XXX

«Теперь сходитесь».
Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить—но как раз
Онегин выстрелил... Пробили

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Часы урочные: поэт
Роняет, молча, пистолет,

XXXI

На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его... напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасной
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

XXXII

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь:
Теперь, как в доме опустелом,
Всё в нем и тихо, и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окны мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXXIII

Приятно дерзкой эпиграмой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!
Еще приятнее в молчаньи
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстояньи;
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.

XXXIV

Что ж, если вашим пистолетом
Сражен приятель молодой,
Нескромным взглядом, иль ответом,
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой,
Иль даже сам в досаде пылкой
Вас гордо вызвавший на бой,
Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле
Пред вами с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?

XXXV

В тоске сердечных угрызений,
Рукою стиснув пистолет,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глядит на Ленского Евгений.
«Ну, что ж? убит», решил сосед.
Убит!.. Сим страшным восклицаньем
Сражен, Онегин с содроганьем
Отходит и людей зовет.
Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели как стрела.

XXXVI

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

XXXVII

Быть может, он для блага мира,
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта;
Быть может, на ступенях света

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.

XXXVIII. XXXIX

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

XL

Но что бы ни было, читатель,
Увы! любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!
Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины,
Там пахарь любит отдыхать,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.

XLI

Под ним (как начинает капать
Весенний дождь на злак полей)
Пастух, плетя свой пестрый лапоть,
Поет про волжских рыбарей;
И горожанка молодая,
В деревне лето провождая,
Когда стремглав верхом она
Несется по полям одна,
Коня пред ним остановляет
Ремянный повод натянув,
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись—и слеза
Туманит нежные глаза.

XLII

И шагом едет в чистом поле,
В мечтанье погрузясь, она;
Душа в ней долго поневоле
Судьбою Ленского полна;
И мыслит: «Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта?»

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Современем отчет я вам
Подробно обо всем отдам,

XLIII

Но не теперь. Хоть я сердечно
Люблю героя моего,
Хоть возвращусь к нему, конечно,
Но мне теперь не до него.
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,
И я—со вздохом признаюсь—
За ней ленивей волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы;
Другие, хладные мечты,
Другие, строгие заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души.

XLIV

Познал я глас иных желаний.
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.
Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, *младость?*
Ужель и вправду наконец
Увял, увял ее венец?
Ужель и впрям и в самом деле,
Без элегических затей,
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XLV

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но, так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я наслаждался... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

XLVI

Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоеньи света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья! [40]

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?
Дмитриев.
Как не любить родной Москвы?
Баратынский.
Гоненье на Москву! что значит
видеть снег!
Где ж лучше?
Где нас нет.
Грибоедов.

I

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

II

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны,
На лоне сельской тишины!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Или мне чуждо наслажденье,
И всё, что радует, живит,
Всё, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно,
И всё ей кажется темно?

III

Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальной стороне,
О чудной ночи, о луне...

IV

Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливцы,
Вы, школы Левшина [41] птенцы,
Вы, деревенские Приамы,
И вы, чувствительные дамы,
Весна в деревню вас зовет,
Пора тепла, цветов, работ,
Пора гуляний вдохновенных
И соблазнительных ночей.
В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах, тяжко нагруженных,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

На долгих иль на почтовых
Тянитесь из застав градских.

V

И вы, читатель благосклонный,
В своей коляске выписной,
Оставьте град неугомонный,
Где веселились вы зимой;
С моею музой своенравной
Пойдемте слушать шум дубравной
Над безыменною рекой,
В деревне, где Евгений мой,
Отшельник праздный и унылой,
Еще недавно жил зимой
В соседстве Тани молодой,
Моей мечтательницы милой;
Но где его теперь уж нет...
Где грустный он оставил след.

VI

Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где ручеек
Виясь бежит зеленым лугом
К реке сквозь липовый лесок.
Там соловей, весны любовник,
Всю ночь поет; цветет шиповник,
И слышен говор ключевой—
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых.
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленский здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»

Пушкинский кабинет ИРЛИ

VII

На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урною смиренной
Качал таинственный венок;
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги,
И на могиле при луне,
Обнявшись, плакали оне.
Но ныне... памятник унылый
Забыт. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет;
Один, под ним, седой и хилый
Пастух попрежнему поет
И обувь бедную плетет.

VIII. IX. X

Мой бедный Ленской! изнывая,
Не долго плакала она.
Увы! невеста молодая
Своей печали неверна.
Другой увлек ее вниманье,
Другой успел ее страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан умел ее пленить,
Улан любим ее душою...
И вот уж с ним пред алтарем
Она стыдливо под венцом
Стоит с поникшей головою,
С огнем в потупленных очах,
С улыбкой легкой на устах.

XI

Мой бедный Ленской! за могилой,
В пределах вечности глухой,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Смутился ли, певец унылой,
Измены вестью роковой,
Или над Летой усыпленной
Поэт, бесчувствием блаженной,
Уж не смущается ничем,
И мир ему закрыт и нем?..
Так! равнодушное забвенье
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг молкнет. Про одно именье
Наследников сердитый хор
Заводит непристойный спор.

XII

И скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных умолк.
Улан, своей невольник доли,
Был должен ехать с нею в полк.
Слезами горько обливаясь,
Старушка, с дочерью прощаясь,
Казалось, чуть жива была,
Но Таня плакать не могла;
Лишь смертной бледностью покрылось
Ее печальное лицо.
Когда все вышли на крыльцо,
И всё, прощаясь, суетилось
Вокруг кареты молодых,
Татьяна проводила их.

XIII

И долго, будто сквозь тумана,
Она глядела им вослед...
И вот одна, одна Татьяна!
Увы! подруга стольких лет,
Ее голубка молодая,
Ее наперсница родная,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Судьбою вдаль занесена,
С ней навсегда разлучена.
Как тень она без цели бродит,
То смотрит в опустелый сад...
Нигде, ни в чем ей нет отрад,
И облегченья не находит
Она подавленным слезам—
И сердце рвется пополам.

XIV

И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит,
И об Онегине далёком
Ей сердце громче говорит.
Она его не будет видеть;
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб... но уж его
Никто не помнит, уж другому
Его невеста отдалась.
Поэта память пронеслась
Как дым по небу голубому,
О нем два сердца, может быть,
Еще грустят... На что грустить?

XV

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
Она глядит—и сердце в ней
Забилось чаще и сильней.

XVI

Ее сомнения смущают:
«Пойду ль вперед, пойду ль назад?..
Его здесь нет. Меня не знают...
Взгляну на дом, на этот сад».
И вот с холма Татьяна сходит,
Едва дыша; кругом обводит
Недоуменья полный взор...
И входит на пустынный двор.
К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный ея
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой покров.

XVII

«Увидеть барский дом нельзя ли?»—
Спросила Таня. Поскорей
К Анисье дети побежали
У ней ключи взять от сеней;
Анисья тотчас к ней явилась
И дверь пред ними отворилась,
И Таня входит в дом пустой,
Где жил недавно наш герой.
Она глядит: забытый в зале
Кий на бильярде отдыхал,
На смятом канапе лежал
Манежный хлыстик. Таня дале;
Старушка ей: «а вот камин;
Здесь барин сиживал один.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XVIII

Здесь с ним обедывал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.
Сюда пожалуйте, за мною.
Вот это барский кабинет;
Здесь почивал он, кофей кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку поутру читал...
И старый барин здесь живал;
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки.
Дай бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать-земле сырой!»

XIX

Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на всё глядит,
И всё ей кажется бесценным,
Всё душу томную живит
Полу-мучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунной
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

XX

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Но поздно. Ветер встал холодной.
Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою,
И пилигримке молодой
Пора, давно пора домой.
И Таня, скрыв свое волненье,
Не без того, чтоб не вздохнуть,
Пускается в обратный путь.
Но прежде просит позволенья
Пустынный за́мок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.

XXI

Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень,
И в молчаливом кабинете,
Забыв на время всё на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.

XXII

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана,
Да с ним еще два-три романа,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящем в действии пустом.

XXIII

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает,
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

XXIV

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее—слава богу—
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

XXV

Ужель загадку разрешила?
Ужели *слово* найдено?
Часы бегут; она забыла,
Что дома ждут ее давно,
Где собралися два соседа
И где об ней идет беседа.
«Как быть? Татьяна не дитя,—
Старушка молвила кряхтя.—
Ведь Оленька ее моложе.
Пристроить девушку, ей-ей,
Пора; а что мне делать с ней?
Всем наотрез одно и то же:
Нейду. И всё грустит она,
Да бродит по лесам одна».

XXVI

«Не влюблена ль она?»—«В кого же?
Буянов сватался: отказ.
Ивану Петушкову—тоже.
Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдет авось;
Куда! и снова дело врозь».—
«Что ж матушка? за чем же стало?
В Москву, на ярманку невест!
Там, слышно, много праздных мест».—
«Ох, мой отец! доходу мало».—
«Довольно для одной зимы,
Не то уж дам хоть я взаймы».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXVII

Старушка очень полюбила
Совет разумный и благой;
Сочлась—и тут же положила
В Москву отправиться зимой—
И Таня слышит новость эту.
На суд взыскательному свету
Представить ясные черты
Провинциальной простоты,
И запоздалые наряды,
И запоздалый склад речей;
Московских франтов и цирцей
Привлечь насмешливые взгляды!..
О страх! нет, лучше и верней
В глуши лесов остаться ей.

XXVIII

Вставая с первыми лучами,
Теперь она в поля спешит
И, умиленными очами
Их озирая, говорит:
«Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса!
Прости, небесная краса,
Прости, веселая природа!
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует!..
Прости ж и ты, моя свобода!
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?»

XXIX

Ее прогулки длятся доле.
Теперь то холмик, то ручей

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Остановляют поневоле
Татьяну прелестью своей.
Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва пышно убрана...
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл—и вот сама
Идет волшебница зима.

XXX

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
Не радо ей лишь сердце Тани.
Нейдет она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь:
Татьяне страшен зимний путь.

XXXI

Отъезда день давно просрочен,
Проходит и последний срок;
Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera [a].
Ну, много всякого добра.
И вот в избе между слугами
Поднялся шум, прощальный плач:
Ведут на двор осьмнадцать кляч,

XXXII

В возок боярский их впрягают,
Готовят завтрак повара,
Горой кибитки нагружают,
Бранятся бабы, кучера.
На кляче тощей и косматой
Сидит форрейтор бородатый.
Сбежалась челядь у ворот
Прощаться с барами. И вот
Уселись, и возок почтенный,
Скользя, ползет за ворота.
«Простите, мирные места!
Прости, приют уединенный!
Увижу ль вас?..» И слез ручей
У Тани льется из очей.

XXXIII

Когда благому просвещенью
Отдвинет более границ,
Современем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги верно
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут,

---

[a] <И так далее.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Прорoем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

XXXIV

Теперь у нас дороги плохи [42],
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодной
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит апетит,
Меж тем, как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли.

XXXV

Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной,
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный взор,
В глазах мелькают как забор [43].
К несчастью Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих,
И наша дева насладилась

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.

XXXVI

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг.
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

XXXVII

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXXVIII

Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошол! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо бутки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

XXXIX. XL

В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настежь отворяет дверь
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.
Встречает их в гостиной крик
Княжны, простертой на диване.
Старушки с плачем обнялись,
И восклицанья полились.

XLI

«Княжна, mon ange!»—«Pachette!»
—«Алина!»—
«Кто б мог подумать?—Как давно!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Надолго ль?—Милая! Кузина!
Садись—как это мудрено!
Ей богу, сцена из романа...»—
«А это дочь моя, Татьяна».—
«Ах, Таня! подойди ко мне—
Как будто брежу я во сне...
Кузина, помнишь Грандисона?»—
«Как, Грандисон?.. а, Грандисон!
Да, помню, помню. Где же он?»—
«В Москве, живет у Симеона;
Меня в сочельник навестил:
Недавно сына он женил.

XLII

А тот... но после все расскажем.
Не правда ль? Всей ее родне
Мы Таню завтра же покажем.
Жаль, разъезжать нет мочи мне,
Едва, едва таскаю ноги.
Но вы замучены с дороги;
Пойдемте вместе отдохнуть...
Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть... душа моя,
Уж никуда не годна я...
Под старость жизнь такая гадость... »
И тут, совсем утомлена,
В слезах раскашлялась она.

XLIII

Больной и ласки и веселье
Татьяну трогают; но ей
Не хорошо на новоселье,
Привыкшей к горнице своей.
Под занавескою шелковой
Не спится ей в постеле новой,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И ранний звон колоколов,
Предтеча утренних трудов,
Ее с постели подымает.
Садится Таня у окна.
Редеет сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор.

XLIV

И вот: по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.
Родне прибывшей издалеча
Повсюду ласковая встреча,
И восклицанья, и хлеб-соль.
«Как Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я так на руки брала!
А я так за уши драла!
А я так пряником кормила!»
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!»

XLV

Но в них не видно перемены;
Всё в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Всё тот же тюлевый чепец;
Всё белится Лукерья Львовна,
Всё то же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп,
У Пелагеи Николавны
Всё тот же друг мосьё Финмуш,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И тот же пшиц, и тот же муж;
А он, всё клуба член исправный,
Всё так же смирен, так же глух,
И так же ест и пьет за двух.

XLVI

Их дочки Таню обнимают.
Младые грации Москвы
Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы;
Ее находят что-то странной,
Провинциальной и жеманной.
И что-то бледной и худой,
А впрочем, очень недурной;
Потом, покорствуя природе,
Дружатся с ней, к себе ведут,
Целуют, нежно руки жмут,
Взбивают кудры ей по моде,
И поверяют нараспев
Сердечны тайны, тайны дев,

XLVII

Чужие и свои победы,
Надежды, шалости, мечты.
Текут невинные беседы
С прикрасой легкой клеветы.
Потом, в отплату лепетанья,
Ее сердечного признанья
Умильно требуют оне.
Но Таня, точно как во сне,
Их речи слышит без участья,
Не понимает ничего,
И тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья,
Хранит безмолвно между тем
И им не делится ни с кем.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XLVIII

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор;
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Всё в них так бледно, равнодушно,
Они клевещут даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой!

XLIX

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят,
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.
Один, какой-то шут печальной,
Ее находит идеальной,
И, прислонившись у дверей,
Элегию готовит ей.
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то В[яземский] подсел
И душу ей занять успел.
И близ него ее заметя,
Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик.

L

Но там, где Мельпомены бурной
Протяжный раздается вой,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Где машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой,
Где Талия тихонько дремлет
И плескам дружеским не внемлет,
Где Терпсихоре лишь одной
Дивится зритель молодой
(Что было также в прежни леты,
Во время ваше и мое),
Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.

LI

Ее привозят и в Собранье.
Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг
Все чувства поражает вдруг.
Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет.
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.

LII

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве,
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Как величавая луна
Средь жен и дев блестит одна.
С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесной!..
Но полно, полно; перестань:
Ты заплатил безумству дань.

LIII

Шум, хохот, беготня, поклоны,
Галоп, мазурка, вальс... Меж тем,
Между двух теток, у колоны,
Не замечаема никем,
Татьяна смотрит и не видит,
Волненье света ненавидит;
Ей душно здесь... она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселянам,
В уединенный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам
И в сумрак липовых аллей,
Туда, где *он* являлся ей.

LIV

Так мысль ее далече бродит:
Забыт и свет и шумный бал,
А глаз меж тем с нее не сводит
Какой-то важный генерал.
Друг другу тетушки мигнули,
И локтем Таню враз толкнули,
И каждая шепнула ей:
«Взгляни налево поскорей».—
«Налево? где? что там такое?»—
«Ну, что бы ни было, гляди...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В той кучке, видишь? впереди,
Там, где еще в мундирах двое...
Вот отошел... вот боком стал...»—
«Кто? толстый этот генерал?»

LV

Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою,
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою...
Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младова
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая Муза!
И верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкривь.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.

ГЛАВА ОСЬМАЯ

Fare thee well! and it for ever.
Still for ever, fare thee well.
Byron[a].

I

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,

---

[a] <Будь счастлив! и если мы расстанемся навеки, то навеки будь счастлив. Байрон.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: Муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

II

И свет ее улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

III

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я Музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров:
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась—
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей

IV

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... она за мной.
Как часто ласковая Муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто, по скалам Кавказа,
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!
Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шопот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров.

V

И позабыв столицы дальной
И блеск и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ними одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи ей любезной...
Вдруг изменилось всё кругом:
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

VI

И ныне Музу я впервые
На светский раут[44] привожу;
На прелести ее степные
С ревнивой робостью гляжу.
Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов,
И гордых дам она скользит;
Вот села тихо и глядит,
Любуясь шумной теснотою,
Мельканьем платьев и речей,
Явленьем медленным гостей
Перед хозяйкой молодою,
И темной рамою мужчин
Вкруг дам как около картин.

VII

Ей нравится порядок стройной
Олигархических бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.
Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманной?
Для всех он кажется чужим.
Мелькают лица перед ним,
Как ряд докучных привидений.
Что, сплин иль страждущая спесь
В его лице? Зачем он здесь?
Кто он таков? Ужель Евгений?
Ужели он?.. Так, точно он.
— Давно ли к нам он занесен?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

VIII

Всё тот же ль он, иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малой,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет.
— Знаком он вам? — И да и нет.

IX

— Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

X

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вò-время созрел,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел,
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват.
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

XI

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Итти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

XII

Предметом став суждений шумных,
Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным чудаком,
Или печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Иль даже Демоном моим.
Онегин (вновь займуся им),
Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.

XIII

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).
Оставил он свое селенье,
Лесов и нив уединенье,
Где окровавленная тень
Ему являлась каждый день,
И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.

XIV

Но вот толпа заколебалась,
По зале шопот пробежал...
К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Всё тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut... [a]**** [Шишков], прости:
Не знаю, как перевести.

XV

К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале: и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. Не могу...

XVI

Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести:
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.
Оно б годилось в эпиграмме...
Но обращаюсь к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы:
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою

---

[a] <Благопристойности (хорошего тона, хорошего вкуса).>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

XVII

«Ужели,—думает Евгений:—
Ужель она? Но точно... Нет...
Как! из глуши степных селений...»
И неотвязчивый лорнет
Он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно
Ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Князь на Онегина глядит.
«Ага! давно ж ты не был в свете.
Постой, тебя представлю я».—
«Да кто ж она?»—«Жена моя».—

XVIII

«Так ты женат! не знал я ране!
Давно ли?»—«Около двух лет».—
«На ком?»—«На Лариной»—«Татьяне!»—
«Ты ей знаком?»—«Я им сосед».—
«О, так пойдем же».—Князь подходит
К своей жене и ей подводит
Родню и друга своего.
Княгиня смотрит на него...
И что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XIX

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась,
Иль стала вдруг бледна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она.
Хоть он глядел нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
С ней речь хотел он завести
И—и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд; скользнула вон...
И недвижим остался он.

XX

Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа,
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья;
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где всё наруже, всё на воле,
Та девочка... иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?

XXI

Он оставляет раут тесный,
Домой задумчив едет он;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Мечтой то грустной, то прелестной
Его встревожен поздний сон.
Проснулся он; ему приносят
Письмо: князь N покорно просит
Его на вечер, «Боже! к ней!..
О буду, буду!» и скорей
Марает он ответ учтивый.
Что с ним? в каком он странном сне!
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности—любовь?

XXII

Онегин вновь часы считает,
Вновь не дождется дню конца.
Но десять бьет; он выезжает,
Он полетел, он у крыльца,
Он с трепетом к княгине входит;
Татьяну он одну находит,
И вместе несколько минут
Они сидят. Слова нейдут
Из уст Онегина. Угрюмой,
Неловкий, он едва, едва
Ей отвечает. Голова
Его полна упрямой думой.
Упрямо смотрит он: она
Сидит покойна и вольна.

XXIII

Приходит муж. Он прерывает
Сей неприятный tête-à-tête [a];
С Онегиным он вспоминает
Проказы, шутки прежних лет.

---

[a] < Разговор наедине. >

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Они смеются. Входят гости.
Вот крупной солью светской злости
Стал оживляться разговор;
Перед хозяйкой легкий вздор
Сверкал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем,
Без вечных истин, без педанства,
И не пугал ничьих ушей
Свободной живостью своей.

XXIV

Тут был, однако, цвет столицы,
И знать и моды образцы,
Везде встречаемые лицы,
Необходимые глупцы;
Тут были дамы пожилые
В чепцах и в розах, с виду злые;
Тут было несколько девиц,
Не улыбающихся лиц;
Тут был посланник, говоривший
О государственных делах;
Тут был в душистых сединах
Старик, постарому шутивший:
Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно.

XXV

Тут был на эпиграммы падкий,
На всё сердитый господин:
На чай хозяйский слишком сладкий,
На плоскость дам, на тон мужчин,
На толки про роман туманный,
На вензель, двум сестрицам данный,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

На ложь журналов, на войну,
На снег и на свою жену.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

XXVI

Тут был *** [Проласов], заслуживший
Известность низостью души,
Во всех альбомах притупивший,
St.-P**[riest], твои карандаши;
В дверях другой диктатор бальной
Стоял картинкою журнальной,
Румян, как вербный, херувим,
Затянут, нем и недвижим,
И путешественник залётный,
Перекрахмаленный нахал,
В гостях улыбку возбуждал
Своей осанкою заботной,
И молча обмененный взор
Ему был общий приговор.

XXVII

Но мой Онегин вечер целой
Татьяной занят был одной,
Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной, царственной Невы.
О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вам дано, то не влечет;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу:
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.

XXVIII

Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!
Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?
И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит,
К луне подъемлет томны очи,
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь!

XXIX

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют—
И жизнь могущая дает
И пышный цвет, и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодной,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвый след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXX

Сомненья нет: увы! Евгений
В Татьяну как дитя влюблен;
В тоске любовных помышлений
И день и ночь проводит он.
Ума не внемля строгим пеням,
К ее крыльцу, стеклянным сеням
Он подъезжает каждый день;
За ней он гонится как тень;
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок подымет ей.

XXXI

Она его не замечает,
Как он ни бейся, хоть умри.
Свободно дома принимает,
В гостях с ним молвит слова три,
Порой одним поклоном встретит,
Порою вовсе не заметит:
Кокетства в ней ни капли нет—
Его не терпит высший свет.
Бледнеть Онегин начинает:
Ей иль не видно, иль не жаль;
Онегин сохнет, и едва ль
Уж не чахоткою страдает.
Все шлют Онегина к врачам,
Те хором шлют его к водам.

XXXII

А он не едет; он заране
Писать ко прадедам готов

Пушкинский кабинет ИРЛИ

О скорой встрече; а Татьяне
И дела нет (их пол таков);
А он упрям, отстать не хочет,
Еще надеется, хлопочет;
Смелей здорового, больной
Княгине слабою рукой
Он пишет страстное посланье.
Хоть толку мало вообще
Он в письмах видел не вотще;
Но, знать, сердечное страданье
Уже пришло ему не в мочь.
Вот вам письмо его точь в точь.

Письмо Онегина к Татьяне.

Предвижу всё; вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!
Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!

Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
Еще одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленский пал...
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой всё ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

И я лишен того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час;
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной—
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать—и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени,
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Всё, всё , что выразить бы мог,
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас веселым взглядом!..

Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Всё решено: я в вашей воле,
И предаюсь моей судьбе.

XXXIII

Ответа нет. Он вновь посланье:
Второму, третьему письму
Ответа нет. В одно собранье
Он едет; лишь вошел... ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видит, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
Как удержать негодованье
Уста упрямые хотят!
Вперил Онегин зоркий взгляд:
Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слез?.. Их нет, их нет!
На сем лице лишь гнева след...

XXXIV

Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы, слабости случайной...
Всего, что мой Онегин знал...
Надежды нет! Он уезжает,
Свое безумство проклинает—
И, в нем глубоко погружен,
От света вновь отрекся он.
И в молчаливом кабинете
Ему припомнилась пора,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Когда жестокая хандра
За ним гналася в шумном свете,
Поймала, за ворот взяла
И в темный угол заперла.

XXXV

Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
E sempre bene [a], господа.

XXXVI

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,

---

[a] <Но что ж, отлично.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.

XXXVII

И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит!
То видит он врагов забвенных,
Клеветников, и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом—и у окна
Сидит *она*... и всё она!..

XXXVIII

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил,
Или не сделался поэтом.
Признаться, то-то б одолжил!
А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.
Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: Benedetta [а]
Иль Idol mio [б], и ронял
В огонь то туф ю, то журнал.

[а] <Благословенная (божественная, дивная).>
[б] <Мой кумир.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XXXIX

Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима;
И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума.
Весна живит его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он как сурок,
Двойные окна, камелек
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег.
Куда по нем свой быстрый бег

XL

Стремит Онегин? Вы заране
Уж угадали; точно так:
Примчался к ней, к своей Татьяне
Мой неисправленный чудак.
Идет, на мертвеца похожий.
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше: никого.
Дверь отворил он. Что ж его
С такою силой поражает?
Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.

XLI

О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал!
В тоске безумных сожалений
К ее ногам упал Евгений;
Она вздрогнула, и молчит;
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева...
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,
Ей внятно всё. Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних дней,
Теперь опять воскресла в ней.

XLII

Она его не подымает,
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает
Бесчувственной руки своей...
О чем теперь ее мечтанье?..
Проходит долгое молчанье,
И тихо наконец она:
«Довольно; встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно.
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.

XLIII

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Смиренной девочки любовь?
И нынче—боже!—стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодной
И эту проповедь... Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

XLIV

Тогда—не правда ли?—в пустыне,
Вдали от суетной Молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна,
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?

XLV

Я плачу... Если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

А нынче!—что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

XLVI

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

XLVII

А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XLVIII

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьянин показался,
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда. За ним
Довольно мы путем одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!

XLIX

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок,
Хотя крупицу мог найти.
Засим расстанемся, прости.

L

Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Всё, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне—
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристал
Еще не ясно различал.

LI

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милой идеал...
О много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ К ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ

[1] Писано в Бессарабии.

[2] Dandy, франт.

[3] Шляпа à la Bolivar.

[4] Известный ресторатор.

[5] Черта охлажденного чувства, достойная Чальд-Гарольда. Балеты Г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе.

[6] Tout le monde sut qu'il mettait du blanc; et moi, qui n'en croyais rien, je commençai de le croire, non seulement par l'embellissement de son teint et pour avoir trouvé des tasses de blanc sur sa toilette, mais sur ce qu'entrant un matin dans sa chambre, je le trouvai brossant ses ongles avec une petite vergette faite exprès, ouvrage qu'il continua fièrement devant moi. Je jugeai qu'un homme qui passe deux heures tous les matins à brosser ses ongles, peut bien passer quelques instants à remplir de blanc les creux de sa peau.

(Confessions de J. J. Rousseau) [1].

Грим опередил свой век: ныне во всей просвещенной Европе чистят ногти особенною щеточкой.

[7] Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественницам. Так Буало,

---

[1] <Все знали, что он употреблял белила; я сперва не верил этому, но затем стал склоняться к тому же мнению не только потому, что цвет лица его улучшается, а на туалете его находились баночки из-под белил, но также и потому, что однажды, войдя утром в его комнату, я застал его за тем, как он полировал свои ногти специально сделанной для того щеточкой, и гордо продолжал это занятие в моем присутствии. Я решил, что тот, кто тратит два часа каждое утро на уход за ногтями, может провести несколько мгновений за тем, чтобы заполнить белилами неровности своей кожи. (Ж. Ж. Руссо «Исповедь».)>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

под видом укоризны, хвалит Лудовика XIV. Наши дамы соединяют просвещение с любезностию и строгую чистоту нравов с этою восточною прелестию, столь пленившею г-жу Сталь. (См. *Dix ans d'exil.*)[1]

[8] Читатели помнят прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича:

«Вот ночь; но не меркнут златистые полосы облак.
Без звезд и без месяца вся озаряется дальность;
На взморье далеком сребристые видны ветрила
Чуть видных судов, как по синему небу плывущих.
Сияньем бессумрачным небо ночное сияет
И пурпур заката сливается с златом востока;
Как будто денница за вечером следом выводит
Румяное утро.—Была то година златая,
Как летние дни похищают владычество ночи;
Как взор иноземца на северном небе пленяет
Слиянье волшебное тени и сладкого света,
Каким никогда не украшено небо полудня;
Та ясность, подобная прелестям северной девы,
Которой глаза голубые и алые щеки
Едва отеняются русыми локон волнами.
Тогда над Невой и над пышным Петрополем видят
Без сумрака вечер и быстрые ночи без тени,
Тогда филомела полночные песни лишь кончит,
И песни заводит, приветствуя день восходящий.—
Но поздно; повеяла свежесть; на невские тундры
Роса опустилась . . . . . .
Вот полночь; шумевшая вечером тысячью весел,
Нева не колыхнет; разъехались гости градские;
Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, всё тихо:
Лишь изредка гул от мостов пробежит над водою,
Лишь крик протяженный из дальней промчится деревни,
Где в ночь окликается ратная стража со стражей.
Всё спит . . . . . »

[9] Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит.

(*Муравьев. Богине Невы.*)

[10] Писано в Одессе.
[11] См. первое издание Евгения Онегина.
[12] Из первой части Днепровской Русалки.

---

[1] <«Десять лет изгнания».>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

[13] Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например. Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами.

[14] Грандисон и Ловлас, герои двух славных романов.

[15] Si j'avais la folie de croire encore au bonheur, je le chercherais dans l'habitude [1] (Шатобриан).

[16] Бедный Иорик!—восклицание Гамлета над черепом шута. (См. Шекспира и Стерна.)

[17] В прежнем издании, вместо *домой летят*, было ошибкою напечатано *зимой летят* (что не имело никакого смысла). Критики, того не разобрав, находили анахронизм в следующих строфах. Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю.

[18] Юлия Вольмар, Новая Элоиза. Малек-Адель, герой посредственного романа М-е Cottin. Густав-де-Линар, герой прелестной повести баронессы Крюднер.

[19] Вампир, повесть, неправильно приписанная лорду Байрону. Мельмот, гениальное произведение Матюрина. Jean Sbogar, известный роман Карла Нодье.

[20] Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate [2]. Скромный автор наш перевел только первую половину славного стиха.

[21] Журнал, некогда издаваемый покойным А. Измайловым довольно неисправно. Издатель однажды печатно извинялся перед публикою тем, что он на праздниках *гулял*.

[22] Е. А. Баратынский.

[23] В журналах удивлялись, как можно было назвать *девою* простую крестьянку, между тем как благородные барышни, немного ниже, названы *девчонками!*

[24] «Это значит», замечает один из наших критиков: «что мальчишки катаются на коньках». Справедливо.

[25] В лета красные мои
Поэтический Аи
Нравился мне пеной шумной,
Сим подобием любви
Или юности безумной, и проч.
(Послание к Л. П.)

[26] Август Лафонтен, автор множества семейственных романов.

[27] Смотри: *Первый снег*, стихотворение князя Вяземского.

[28] См. описание финляндской зимы в Эде Баратынского.

[29] Зовет кот кошурку
В печурку спать.
Предвещание свадьбы; первая песня предрекает смерть.

[1] <Если бы я имел безрассудство еще верить в счастье, я искал бы его в привычке.>

[2] <Оставьте всякую надежду сюда входящие.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

[30] Таким образом узнают имя будущего жениха.

[31] В журналах осуждали слова: *хлоп*, *молвь* и *топ*, как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ». *(Сказка о Бове Королевиче)*. *Хлоп* употребляется в просторечии вместо *хлопание*, как *шип* вместо *шипения*.

Он шип пустил по-змеиному.

(Древние русские стихотворения.)

Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка.

[32] Один из наших критиков, кажется, находит в этих стихах непонятную для нас неблагопристойность.

[33] Гадательные книги издаются у нас под фирмою Мартына Задеки, почтенного человека, не писавшего никогда гадательных книг, как замечает Б. М. Федоров.

[34] Пародия известных стихов Ломоносова:

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою,—и проч.

[35] Буянов, мой сосед,

. . . . . .

Пришел ко мне вчера, с небритыми усами,
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком...

(Опасный сосед.)

[36] Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха.

[37] Парижский ресторатор.

[38] Стих Грибоедова.

[39] Славный ружейный мастер.

[40] В первом издании шестая глава оканчивалась следующим образом:

А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоеньи света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XLVII

Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов, дум и разговоров,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья.

[41] Левшин, автор многих сочинений по части хозяйственной.

[42] Дороги наши—сад для глаз:
Деревья, с дерном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль: проезда нет под час.
С деревьев, на часах стоящих,
Проезжим мало барыша;
Дорога, скажешь, хороша—
И вспомнишь стих: *для проходящих!*
Свободна русская езда
В двух только случаях: когда
Наш *Мак-Адам*, или *Мак-Ева*
Зима свершит, треща от гнева,
Опустошительный набег,
Пусть окует чугуном льдистым,
И запорошит ранний снег
Следы ее песком пушистым.
Или когда поля проймёт
Такая знойная засуха,
Что через лужу может в брод
Пройти, глаза зажмуря, муха.

(Станция. Князь Вяземский.)

[43] Сравнение, заимствованное у К**, столь известного игривостию воображения. К... рассказывал, что, будучи однажды послан курьером от князя Потемкина к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись концом из тележки, стучала по верстам, как по частоколу.

[44] Rout, вечернее собрание без танцев, собственно значит толпа.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА

Последняя глава «Евгения Онегина» издана была особо, с следующим предисловием:

«Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем, весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифром; но во избежание соблазна решился он лучше выставить, вместо девятого нумера, осьмой над последней главою Евгения Онегина, и пожертвовать одною из окончательных строф:

Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал—
Хвала вам, девяти Каменам, и проч.»

П. А. Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исключение, может быть и выгодное для читателей, вредит однако ж плану целого сочинения; ибо чрез то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным.—Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справед-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ливость оного, но решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики. Некоторые отрывки были напечатаны; мы здесь их помещаем, присовокупив к ним еще несколько строф.

Евгений Онегин из Москвы едет в Нижний Новгород:

. . . . . перед ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вины европеец.
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик—спелых дочерей,
А дочки—прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжет за двух
И всюду меркантильный дух.
Тоска!..

Онегин едет в Астрахань, и оттуда на Кавказ.

Он видит, Терек своенравный
Крутые роет берега;
Пред ним парит орел державный,
Стоит олень, склонив рога;
Верблюд лежит в тени утеса,
В лугах несется конь черкеса,
И вкруг кочующих шатров
Пасутся овцы калмыков,
В дали—кавказские громады:
К ним путь открыт. Пробилась брань
За их естественную грань,
Чрез их опасные преграды;
Брега Арагвы и Куры
Узрели русские шатры.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

☆

Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук,
Машук, податель струй целебных;
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой;
Кто жертва чести боевой,
Кто Почечуя, кто Киприды;
Страдалец мыслит жизни нить
В волнах чудесных укрепить,
Кокетка злых годов обиды
На дне оставить, а старик
Помолодеть—хотя на миг.

☆

Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма?—ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Онегин посещает потом Тавриду:

Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Там закололся Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновенный
И, посреди прибрежных скал,
Свою Литву воспоминал.

☆

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сёл узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь!
Но, Муза! прошлое забудь.

☆

Какие б чувства ни таились
Тогда во мне—теперь их нет:
Они прошли иль изменились...
Мир вам, тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

☆

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи—
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.
Мой идеал теперь—хозяйка,
Мои желания—покой,
Да щей горшок, да сам большой.

☆

Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор...
Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор!
Таков ли был я, расцветая?
Скажи, Фонтан Бахчисарая!
Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум,
Когда безмолвно пред тобою
Зарему я воображал.....
Средь пышных, опустелых зал,
Спустя три года, вслед за мною,
Скитаясь в той же стороне,
Онегин вспомнил обо мне.

☆

Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильной
Свои подъемлет паруса;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Там всё Европой дышит, веет.
Всё блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.

☆

Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем—и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Всё хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавный труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень.

☆

А где, бишь, мой рассказ несвязной?
В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе грязной—
И тут бы право не солгал.
В году недель пять-шесть Одесса,
По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Все домы на аршин загрязнут,
Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает в брод;
Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.

☆

Но уж дробит каменья молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованной бронёй.
Однако в сей Одессе влажной
Еще есть недостаток важной;
Чего б вы думали?—воды.
Потребны тяжкие труды...
Что ж? это небольшое горе.
Особенно, когда вино
Без пошлины привезено.
Но солнце южное, но море...
Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края!

☆

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленной,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino; чашек звон
Там раздается; на балкон
Маркёр выходит полусонный

Пушкинский кабинет ИРЛИ

С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлися два купца.

☆

Глядишь и площадь запестрела.
Всё оживилось; здесь и там
Бегут за делом и без дела,
Однако больше по делам.
Дитя расчета и отваги,
Идет купец взглянуть на флаги,
Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса.
Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданных вин?
И что чума? и где пожары?
И нет ли голода, войны,
Или подобной новизны?

☆

Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов.
Что̀ устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном.
Шум, споры—легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном [1];
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.

[1] Известный ресторатор в Одессе.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

☆

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в Опéру скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень—Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет—они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего Аи
Струя и брызги золотые...
Но, господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?

☆

А только ль там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima dona? а балет?
А ложа, где красой блистая,
Негоцианка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам...
А муж—в углу за нею дремлет,
В просонках фора закричит,
Зевнет—и снова захрапит.

☆

Финал гремит; пустеет зала;
Шумя, торопится разъезд;
Толпа на площадь побежала
При блеске фонарей и звезд,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Сыны Авзонии счастливой
Слегка поют мотив игривый,
Его невольно затвердив,
А мы ревем речитатив.
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Всё молчит;
Лишь море Черное шумит...

☆

Итак, я жил тогда в Одессе...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Многое, находящееся в рукописях Пушкина и в ранних изданиях отдельных глав и отрывков из «Евгения Онегина», не вошло в окончательно установленный им текст. Приводим здесь пропущенное автором.

Глава первая

В беловой рукописи имелись эпиграфы:

Собранье пламенных замет
Богатой жизни юных лет.
Баратынский.

Nothing is such an enemy to accuracy of judgement as a coarse discrimination.
Burke[1].

Отдельное издание первой главы было предварено посвящением: «Посвящается брату Льву Сергеевичу Пушкину», после чего следовало предисловие:

Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено.

Несколько песен, или глав Евгения Онегина уже готовы. Писанные под влиянием благоприятных обстоятельств, они носят на себе отпечаток веселости, ознаменовавшей первые произведения автора Руслана и Людмилы.

Первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года и напоминает Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона.

[1] <Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное различение. Берк.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Дальновидные критики заметят конечно недостаток плана. Всякий волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу оного. Станут осуждать и антипоэтический характер главного лица, сбивающегося на Кавказского Пленника, также некоторые строфы, писанные в утомительном роде новейших элегий, в коих чувство уныния поглотило все прочие. Но да будет нам позволено обратить внимание читателей на достоинства, редкие в сатирическом писателе: отсутствие оскорбительной личности и наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов.

За этим предисловием, в качестве стихотворного введения к роману, следовал «Разговор книгопродавца с поэтом».

Строфа V первоначально имела следующее окончание:

Подозревали в нем талант,
И мог Евгений, в самом деле,
Вести приятный разговор,
А иногда ученый спор
Об господине Мармонтеле,
О карбонарах, о Парни,
Об генерале Жомини.

Строфа IX находится в рукописи:

Нас пыл сердечный рано мучит.
Очаровательный обман,
Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан.
Мы алчем жизнь узнать заране,
Мы узнаем ее в романе;
Мы всё узнали. Между тем
Не насладились мы ничем.
Природы глас предупреждая,
Мы только счастию вредим,
И поздно, поздно вслед за ним
Летит горячность молодая.
Онегин это испытал,
За то как женщин он узнал.

К начальным строфам первой главы относятся две следующие, сохранившиеся в черновых набросках:

Как он умел вдовы смиренной
Привлечь благочестивый взор
И с нею скромный и смятенный
Начать краснея [заговор]

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пленять [неопытностью] нежной
..... и верностью надежной,
Которых уж на свете нет,
И пылкостью невинных лет,
Как он умел с любою дамой
В любви . . . . . .
О платонизме рассуждать
И вдруг нежданной эпиграммой
Ее смутить и наконец
Сорвать торжественный венец.

☆

Так резвый баловень служанки,
Анбара страж, усатый кот,
За мышью крадется с лежанки,
Протянется, идет, идет,
Полузажмурясь подступает,
Свернется в ком, хвостом играет,
Расширит когти хитрых лап—
И вдруг бедняжку цап-царап.
Так хищный волк, томясь от глада,
Выходит из глуши лесов
И рыщет близ беспечных псов,
Вокруг неопытного стада.
Всё спит. И вдруг свирепый вор
Ягненка мчит в дремучий бор.

После XXIV строфы следовал черновой набросок:

Во всей Европе в наше время
Между воспитанных людей
Не почитается за бремя
Отделка [нежная] ногтей.
И нынче воин и придворный
Поэт и либерал задорный
[И сладкогласный] дипломат—
Готов . . . . . .
. . . . . .
. . . . . странности такой
Не понимал философ мой.

Глава вторая

Строфа VII первоначально имела другое окончание:

Он знал и труд и вдохновенье
И освежительный покой,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

К чему-то жизни молодой
Неизъяснимое влеченье,
Страстей мятежных буйный пир,
И слезы и сердечный мир.

Строфа VIII имела два варианта окончания, замененные в печати точками.

Первый вариант:

Что есть избранные судьбами,
Что жизнь их—лучший неба дар—
И мыслей неподкупный жар
И Гений власти над умами
Добру людей посвящены
И славе доблестью равны.

Второй вариант:

Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья,
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

После строфы IX в чистовой рукописи находятся следующие строфы:

X

Не пел порочной он забавы,
Не пел презрительных Цирцей,
Он оскорблять гнушался нравы
Избранной лирою своей;
Поклонник истинного счастья,
Не славил сетей сладострастья,
Постыдной негою дыша,
Как тот, чья жадная душа,
Добыча вредных заблуждений,
Добыча жалкая страстей,
Преследует в тоске своей
Картины прежних наслаждений
И свету в песнях роковых
Безумно обнажает их.

XI

Певцы слепого наслажденья,
Напрасно дней своих блажных

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Передаете впечатленья
Вы нам в элегиях живых,
Напрасно девушка украдкой,
Внимая звукам лиры сладкой,
К вам устремляет нежный взор,
Напрасно ветреная младость
Начать не смея разговор
За полной чашею, в венках,
Воспоминает на пирах
Стихов изнеженную сладость
Иль на̀ ухо стыдливых дев
Их шепчет, робость одолев;

XII

Несчастные, решите сами,
Какое ваше ремесло;
Пустыми звуками, словами
Вы сеете разврат и зло.
Перед судилищем Паллады
Вам нет венца, вам нет награды,
Но вам дороже, знаю сам.
Слеза с улыбкой пополам.
Вы рождены для славы женской,
Для вас ничтожен суд молвы—
И жаль мне вас . . . и милы вы,
Не вам чета был гордый Ленский:
Его стихи, конечно, мать
Велела б дочери читать.

К этому месту в черновой рукописи сделано примечание:

La mère en prescrira la lecture à sa fille.

Piron[1].

Стих сей вошел в пословицу. Заметим, что Пирон (кроме своей «Метромании») хорош только в таких стихах, о которых невозможно намекнуть, не оскорбляя благопристойности.

К этим же строфам относится черновая строфа:

Но добрый юноша, готовый
Высокий подвиг совершить,
Не будет в гордости суровой
Стихи нечистые твердить.
Но праведник изнеможденный
[На казнь] [неправдой] присужденный

[1] <Мать предпишет своей дочери чтение этих стихов. Пирон.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

С цепями [в тюрьме]
С лампадой, дремлющей во тьме,
Не склонит в тишине пустынной
На свиток ваш очей своих
И на стене ваш вольный стих
Не начертит рукой безвинной
Немой и горестный привет
Для узника [грядущих лет].

Вместо строфы XIV в рукописи находятся две строфы:

Но дружбы нет и той меж нами;
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами себя;
Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.
Собою жертвовать смешно;
Иметь восторженные чувства
Простительно в 16 лет;
Кто полон ими, тот поэт
Иль хочет выказать искусство
Пред легковерною толпой.
Что ж мы такое?.. Боже мой!

☆

Сноснее, впрочем, был Евгений
Людей он просто не любил,
Но управлять кормилом мнений
Нужды большой не находил,
Не посвящал друзей в шпионы,
Хоть думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права,
Одни условные слова.
Он понимал необходимость
И миг покоя своего
Не отдал бы ни для кого,
Но уважал в других решимость,
Гонимой Славы красоту,
Талант и сердца правоту—

После строфы XV начата была следующая.

От важных исходя предметов,
Порой касался разговор
И русских иногда поэтов;
Со вздохом и потупя взор,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Владимир слушал, как Евгений
[Венчанных наших сочинений]
[Немилосердно] поражал...

Вместо одной XVII строфы в рукописи находится:

Но чаще занимали страсти
Умы пустынников моих;
Ушед от их мятежной власти,
Онегин говорил об них,
Как о знакомцах изменивших,
Давно могилы сном почивших
И коих нет уж и следа.
Но вырывались иногда
Из уст его такие звуки,
Такой глубокий, чудный стон,
Что Ленскому казался он
Приметой незатихшей муки.
И точно: страсти были тут.
Скрывать их был напрасный труд.

☆

Какие чувства не кипели
В его измученной груди?
Давно ль, надолго ль присмирели?
Проснутся—только погоди.
Блажен, кто ведал их волненье,
Порывы, сладость, упоенье,
И наконец от их отстал.
Блаженней тот, кто их не знал:
Кто охладил любовь разлукой,
Вражду—злословием. порой
Зевал с друзьями и с женой,
Ревнивой не тревожась мукой,
Что до меня, то мне на часть
Досталась пламенная страсть,

☆

Страсть к банку! ни дары свободы,
Ни Феб, ни дамы, ни пиры,
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры;
Задумчивый, всю ночь до света
Бывал готов я в прежни лета
Допрашивать судьбы завет:
Налево ляжет ли валет?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Уж раздавался звон обеден;
Среди разорванных колод
Дремал усталый банкомет;
А я нахмурен, бодр и бледен,
Надежды полн, закрыв глаза,
Пускал на третьего туза.

☆

И я теперь, отшельник скромный,
Скупой не веруя мечте,
Уж не поставлю карты темной,
Заметя грозное *pyme.*
Мелок оставил я в покое,
Ата́нде, слово роковое,
Мне не приходит на язык,
От рифмы также я отвык.
Что будешь делать? между нами,
Всем этим утомился я.
Наднях попробую, друзья,
Заняться белыми стихами,
Хоть всё имеет *quinze elle va*
Большие на меня права.

Вместо одной строфы XXI в рукописи находится

Чуть отрок, Ольгою плененный,
Сердечных мук еще не знав,
Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав,—
В тени отеческой дубравы
Он разделял ее забавы.
Тогда с улыбкой их отцы
Сулили им уже венцы.
Так в Ольге милую подругу
Владимир видеть привыкал;
Он рано без нее скучал
И часто по густому лугу,
Без милой Ольги, меж цветов
Искал ее одних следов.

☆

Кто ж та была, которой очи
Он без искусства привлекал,
Которой он и дни и ночи
И думы сердца посвящал?—
Меньшая дочь соседей бедных,
Вдали забав столицы вредных,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Невинной прелести полна,
В глазах родителей она
Цвела, как ландыш потаенный,
Незнаемый в траве слухой
Ни мотыльками, ни пчелой,
Цветок, быть может, обреченный,
Не осушив еще росы,
Размаху гибельной косы.

☆

Ни дура Англинской породы,
Ни своенравная Мамзель,
В России, по уставу Моды,
Необходимые досель,
Не стали портить Ольги милой.
Фадеевна рукою хилой
Ее качала колыбель.
Она же ей стлала постель.
Она ж за Ольгою ходила,
Бову рассказывала ей,
Чесала золото кудрей,
Читать *Помилуй мя* учила,
Поутру наливала чай
И баловала невзначай.

После XXXI строфы в черновой рукописи начата следующая:

Они привыкли вместе кушать,
Соседей вместе навещать,
[По праздникам обедню] слушать,
Всю ночь храпеть, а днем зевать.
В *нрзбр.* ездить по работам,
Браниться в бане по субботам,
[Солить арбузы и грибы]—

Строфа XXXIII в рукописи читается иначе:

Она в альбом писала кровью
По образцу рязанских дев,
Звала Полиной Парасковью
И говорила нараспев.
Корсет носила очень узкий
И русский Н, как N французский
Произносить умела в нос.
(Так между модников велось).
Она любила перед балом
Затверживать мудреный па

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Отца звала всегда *papa*,
Умела щелкать опахалом
И Грандисона своего
Любила более всего.

После строфы XL в рукописи находится еще одна—заключительная строфа главы:

Но может быть, и это даже
Правдоподобнее сто раз,
Изорванный, в пыли и в саже
Мой недочитанный рассказ,
Служанкой изгнан из уборной,
В передней кончит век позорный,
Как прошлогодний календарь
Или затасканный букварь.
Ну что ж: в гостиной иль в передней
Равно читатели [черны],
Над книгой их права равны.
Не я первой, не я последний
Их суд услышу над собой
Ревнивый, строгий и тупой.

Глава третья

В рукописи находится эпиграф из V песни «Божественной комедии» Данте:

Ma dimmi: al tempo de' dolci sospiri,
A che e come concedette Amore
Che conosceste i dubbiosi desiri?

Dante[1].

Строфа III, последние стихи которой в печати заменены точками, в рукописи имеет следующее окончание:

Несут на блюдечках варенья
С одною ложечкой для всех.
Иных занятий и утех
В деревне нет после обеда,
Поджавши руки, у дверей
Сбежались девушки скорей
Взглянуть на нового соседа,
И на дворе толпа людей
Критиковала их коней.

[1] <Но скажи мне: в дни нежных вздохов по каким признакам и как Амур допустил, что вы познали неясные желанья? Данте.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

После строфы V в черновой рукописи следовало:

В постеле лежа—наш Евгений
Глазами Байрона читал,
Но дань вечерних размышлений
В уме Татьяне посвящал.
Проснулся он денницы ране,
И мысль была всё о Татьяне.
Вот новое,—подумал он,—
Неужто я в нее влюблен?
Ей-богу, это было б славно,
[Я рад—уж] то-то б одолжил,
Посмотрим,—и тотчас решил
Соседку навещать исправно,
Как можно чаще—всякий день:
[Ведь] им досуг, а [мне] не лень.

После строфы X в рукописи следует:

Увы! друзья! мелькают годы,
И с ними вслед одна другой
Мелькают ветреные моды
Разнообразной чередой:
Всё изменяется в природе;
Ламуш и фижмы были в моде,
Придворный франт и ростовщик
Носили пудреный парик.
Бывало, нежные поэты
В надежде славы и похвал
Точили тонкий мадригал
Иль остроумные куплеты,
Бывало, храбрый генерал
Служил и грамоты не знал.

После XXI строфы в рукописи перечеркнуто:

Теперь мне должно б на досуге
Мою Татьяну оправдать—
Ревнивый критик в модном круге
Предвижу, будет рассуждать:
Ужели не могли заране
Внушить задумчивой Татьяне
Приличий коренных устав.
Да и в другом поэт не прав:
Ужель влюбиться с первой встречи
Она в Онегина могла,
И чем увлечена была,
Какой в нем ум, какие речи

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Ее пленить успели вдруг?—
Постой, поспорю я, мой друг.

К строфе XXIII, стих 9 в сноске выписано два стиха из LXI сонета Петрарки:

E'l viso di pietosi color farsi,
Non so se vero o falso, mi parea.
Petr [1]

После XXIII в рукописи следует строфа:

Но вы, кокетки записные,
Я вас люблю, хоть это грех,
Улыбки, ласки заказные
Вы расточаете для всех.
Ко всем стремите взор приятный;
Кому слова невероятны,
Того уверит поцелуй;
Кто хочет, волен: торжествуй.
Я прежде сам бывал доволен
Единым взором ваших глаз,
Теперь лишь уважаю вас.
Но хладной опытностью болен,
И сам готов я вам помочь,
Но ем за двух и сплю всю ночь.

Вместо строфы XXV в рукописи находятся две следующие:

А вы, которые любили
Без позволения родных
И сердце нежное хранили
Для впечатлений молодых,
Тоски, надежд и неги сладкой,
Быть может, если вам украдкой
Случалось тайную печать
С письма любовного срывать
Иль робко в дерзостные руки
Заветный локон отдавать,
Иль даже молча дозволять
В минуту горькую разлуки
Дрожащий поцелуй любви,
В слезах, с волнением в крови—

☆

Не осуждайте безусловно
Татьяны ветреной моей,

[1] <И мне показалось,—правда или нет,—что лицо покрылось краской нежности. Петрарка.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Не повторяйте хладнокровно
Решенья чопорных судей.
А вы, *о Девы без упрека*,
Которых даже тень порока,
Страшит сегодня, как змия,
Советую вам то же я.
Кто знает?—пламенной тоскою
Сгорите, может быть, и вы,
И завтра легкий суд молвы
Припишет модному герою
Победы новой торжество:
Любви вас ищет божество.

После строфы XXVI в рукописи следуют еще две строфы. Некоторые стихи этих отброшенных строф Пушкин перенес в Путешествие Онегина.

Сокровища родного слова
(Заметят важные умы)
Для лепетания чужого
Безумно пренебрегли мы.
Мы любим Муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих.
Но где ж они?—давайте их.
Конечно: северные звуки
Ласкают мой привычный слух,
Их любит мой славянский дух,
Их музыкой сердечны муки
Усыплены... но дорожит
Одними звуками—пиит.

☆

Но где ж мы первые познанья
И мысли первые нашли,
Где применяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли?—
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где *русский* ум, да *русский* дух
Зады твердит и лжет за двух.
Поэты наши переводят,
А прозы <нет>. Один журнал
Исполнен приторных похвал,
Тот брани плоской. Все наводят
Зевоту скуки, хоть не сон.
Хорош российский Геликон!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В письме Татьяны после стиха: «Не знала б горького мученья» следовало:

Моя смиренная семья,
Уединенные гулянья,
Да книги, верные друзья,
Вот всё, что прежде [знала] я.

После стиха: «Тоску волнуемой души» следовало:

Ты мне внушал мои моленья
И веры благодатный жар,
И грусть, и слезы умиленья—
Не всё ли твой заветный дар?

Вместо строфы XXXVI в рукописи находится:

Лишь только няня удалилась,
И сердце, будто пред бедой,
У бедной девушки забилось,
Вскричала: боже! что со мной!
Встает. На мать взглянуть не смеет,
То вся горит, то вся бледнеет,
Весь день потупя взор молчит
И чуть не плачет и дрожит...
Внук няни поздно воротился,
Соседа видел он; ему
Письмо вручил он самому.
И что ж сосед?—верхом садился
И положил письмо в карман.
Ах, чем-то кончится роман.

Вместо песни девушек «Девицы красавицы» в черновой рукописи была другая:

Песня

Вышла Дуня на дорогу,
Помолившись богу.
Дуня плачет, завывает,
Друга провожает.
Друг поехал на чужбину,
Дальную сторонку.
Ох, уж эта мне чужбина,
Горькая кручина...
На чужбине молодицы,
Красные девицы;
Осталась я, молодая,
Горькая вдовица.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Вспомяни меня младую,
Аль я приревную;
Вспомяни меня заочно,
Хоть и ненарочно.

Глава четвертая

В рукописи находятся два эпиграфа к этой главе. Первый—тот же эпиграф из Данте, который находится и в рукописи третьей главы. Второй—два стиха из «Пиров» Баратынского:

Собранье пламенных замет
Богатой жизни юных лет.

Первые четыре строфы главы, сохранившиеся в рукописи, не включались Пушкиным ни в одно издание «Онегина», но были им напечатаны в журнале «Московский вестник» 1827 г., часть пятая:

Женщины

Отрывок из Евгения Онегина

В начале жизни мною правил
Прелестный, хитрый, слабый пол;
Тогда в закон себе я ставил
Его единый произвол.
Душа лишь только разгоралась,
И сердцу женщина являлась
Каким-то чистым божеством.
Владея чувствами, умом,
Она сияла совершенством.
Пред ней я таял в тишине:
Ее любовь казалась мне
Недосягаемым блаженством.
Жить, умереть у милых ног—
Иного я желать не мог.

☆

То вдруг ее я ненавидел,
И трепетал, и слезы лил,
С тоской и ужасом в ней видел
Созданье злобных, тайных сил;
Ее пронзительные взоры,
Улыбка, голос, разговоры,
Всё было в ней отравлено,
Изменой злой напоено,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Всё в ней алкало слез и стона,
Питалось кровию моей...
То вдруг я мрамор видел в ней
Перед мольбой Пигмалиона
Еще холодной и немой,
Но вскоре жаркой и живой.

☆

Словами вещего поэта
Сказать и мне позволено:
Темира, Дафна и Лилета—
Как сон, забыты мной давно.
Но есть одна меж их толпою...
Я долго был пленен одною...
Но был ли я любим, и кем,
И где, и долго ли?.. зачем
Вам это знать? не в этом дело!
Что было, то прошло, то вздор;
А дело в том, что с этих пор
Во мне уж сердце охладело,
Закрылось для любви оно,
И всё в нем пусто и темно.

☆

Дознался я, что дамы сами,
Душевной тайне изменя,
Не могут надивиться нами,
Себя по совести ценя.
Восторги наши своенравны
Им очень кажутся забавны;
И право, с нашей стороны
Мы непростительно смешны.
Закабалясь неосторожно,
Мы их любви в награду ждем,
Любовь в безумии зовем,
Как будто требовать возможно
От мотыльков иль от лилей
И чувств глубоких и страстей!

После первой строфы данного отрывка в черновой рукописи следовала строфа:

Признаться ль вам, я наслажденье
В то время лишь и разумел;
Мне было мило ослепленье,
Об нем я ныне пожалел,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Но я заманчивой загадкой
Недолго мучился украдкой...
И как же помогли оне,—
Шепнули сами *слово* мне,
[Оно] известно [было] свету,
И даже никому давно
Уж не казалось и смешно.
Так [разгадав загадку эту],
Сказал я: только-то, друзья.
Куда, как недогадлив я!

После третьей строфы того же отрывка следовало в черновой рукописи:

Страстей мятежные заботы
Прошли, не возвратятся вновь!
Души бесчувственной дремоты
Не возмутит уже любовь.
Пустые красоты порока
Блестят и нравятся до срока.
Пора проступки юных дней
Загладить жизнию моей!
Молва, играя, очернила
Мои начальные лета,
Ей подмогала клевета,
А дружба только что смешила.
Но к счастью суд [молвы] слепой
Опровергается порой!

В черновой рукописи строфа IV читается:

Смешон, конечно, важный модник—
Систематический Фоблас,
Красавиц записной угодник,
Хоть по делом он мучит вас.
Но жалок тот, кто без искусства
Души возвышенные чувства,
[Прелестной] веруя мечте,
Приносит в жертву красоте
И, расточась неосторожно,—
Одной любви в награду ждет,
Любовь в безумии зовет...
Как будто требовать возможно
От мотыльков иль от лилей
Глубоких чувств или страстей.

После строфы XVII следовало:

Но ты, губерния Псковская,
Теплица юных дней моих,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Что может быть, страна пустая,
Несносней барышень твоих?
Меж ими нет, замечу кстати,
Ни тонкой вежливости знати,
Ни [ветрености] милых шлюх.
Я, уважая русский дух,
Простил бы им их сплетни, чванства,
Фамильных шуток остроту,
Пороки зуб, нечистоту
[И непристойность и] жеманство.
Но как простить им [модный] бред
И неуклюжий этикет?

После строфы XXIII в рукописи находится:

Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит,
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит.
[Родня] качает головою,
Соседи шепчут меж собою.
Пора, пора бы замуж ей!
Мать то же мыслит; у друзей
Тихонько требует совета.
Друзья советуют—зимой
В Москву подняться всей семьей,—
Авось в толпе большого света
Татьяне сыщется жених
Милей иль счастливей других.

☆

Не в первый раз моей Татьяне
Уж назначали женихов,
Семейство Лариных заране
Поздравить всякий был готов
. . . . [иные] в самом деле
Ее искали, но доселе
Она отказывала всем,
Старушка мать гордилась тем.
Соседки [всех именовали],
По пальцам [даже] перечли;
Там до Онегина дошли,
[Потом усердно рассуждали]
И предрекли уже развод
[С Татьяной много] через год.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

☆

Но сплетни скоро перестали.
[Не вздумал свататься жених].

Строфа XXXVI была напечатана Пушкиным в первом издании:

Уж их далече взор мой ищет...
А лесом кравшийся стрелок
Поэзию клянет и свищет.
Спуская бережно курок.
У всякого своя охота,
Своя любимая забота:
Кто целит в уток из ружья,
Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопушкой мух нахальных,
Кто правит в замыслах толпой,
Кто забавляется войной,
Кто в чувствах нежится печальных,
Кто занимается вином:
И благо смешано со злом.

Конец XXXVII строфы и XXXVIII строфа находятся в рукописи:

И одевался—только вряд
Вы носите ль такой наряд.

☆

Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский на распашку
И шляпу с кровлею, как дом
Подвижный. Сим убором чудным,
Безнравственным и *безрассудным*,
Была весьма огорчена
Псковская дама Дурина,
А с ней Мизинчиков.—Евгений,
Быть может, толки презирал,
А вероятно, их не знал,
Но всё ж своих обыкновений
Не изменил в угоду им,—
За что был ближним нестерпим.

Строфа XL сперва следовала после строфы XXIII и начиналась стихами:

Старушка очень полюбила
Благоразумный их совет,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В столицу [ехать] положила,
Как только будет зимний след.

После нее следовало в черновой рукописи:

Когда повеет к нам весною,
И небо вдруг оживлено,—
Люблю поспешною рукою
Двойное выставить окно.
С каким-то грустным наслажденьем
Я упиваюсь дуновеньем,
[Живой] прохладой; но весна—
У нас не радостна; она
Богата грязью, не цветами.
Напрасно манит жадный взор
Лугов пленительный узор.
Не свищет ночью над водами
Певец <весны> и вместо роз
Один растопленный навоз.

☆

Что наше северное лето?—
Карикатура южных зим.
Мелькнет—и нет, известно это,
Хоть мы признаться не хотим.
Не шум дубрав, не тень, не розы,
В удел нам отданы морозы,
Мятель, свинцовый свод небес,
Безлиственный, сребристый лес..
[Пустыни] ярко [снеговые],
Где свищут по́дрезы саней,—
Средь хладных пасмурных ночей:
Кибитки, песни удалые,
Двойные стекла, банный пар,
Халат, лежанка и угар.

Строфа XLIII первоначально начиналась следующими стихами:

В глуши что делать в это время?
Гулять?—но голы все места,
Как лысое Сатурна темя,
Иль крепостная нищета.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава пятая

В качестве эпиграфа в рукописи выписано несколько стихов из «Светланы» Жуковского:

Тускло светится луна
В сумраке тумана—
Молчалива и грустна
Милая Светлана.
«Что, подруженька, с тобой?
Вымолви словечко;
Слушай песни круговой;
Вынь себе колечко».

Кроме того начато:

La sotto.

Это—первые слова эпиграфа к шестой главе, который, следовательно, первоначально предназначался для пятой главы.

В строфе XXII стихи 5-й—12-й в рукописи читаются:

Извольте видеть: книга эта
Конечно, ей дороже света,
И всякий день находит в ней
Она хороших тьму вещей;
Нет, ни один [поэт] от века
Ни даже Дамских Мод Журнал
Татьяны так не занимал.
То был, друзья, Мартын Задека—

Строфа XXX первоначально кончалась:

Она приветствий двух друзей
Не слышит—слезы из очей
Готовы хлынуть—вдруг упала
Бедняжка в обморок—тотчас
Ее выносят суетясь.
Толпа гостей залепетала.
Все на Евгения глядят,
Как бы во всем его винят.

Строфы XXXVII и XXXVIII Пушкин печатал в первом издании:

XXXVII.

В пирах готов я непослушно
С твоим бороться божеством;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Но, признаюсь, великодушно,
Ты победил меня в другом:
Твои свирепые герои,
Твои неправильные бои,
Твоя Киприда, твой Зевес
Большой имеют перевес
Перед Онегиным холодным,
Пред сонной скукою полей,
Перед И— — <Истоминой> моей,
Пред нашим воспитаньем модным;
Но Таня (присягну) милей
Елены пакостной твоей.

XXXVIII

Никто и спорить тут не станет,
Хоть за Елену Менелай
Сто лет еще не перестанет
Казнить Фригийский бедный край,
Хоть вкруг почтенного Приама
Собранье стариков Пергама,
Ее завидя, вновь решит:
Прав Менелай, и прав Парид.
Что ж до сражений, то немного
Я попрошу вас подождать,
Извольте далее читать;
Начала не судите строго,
Сраженье будет. Не солгу,
Честное слово дать могу.

Строфу XLIII Пушкин печатал в первом издании, пропуская первые четыре стиха, находящиеся в чистовой рукописи:

Как гонит бич в песку манежном
По корде резвых кобылиц,
Мужчины в округе мятежном
Погнали, дернули девиц—
Подковы, шпоры Петушкова
(Канцеляриста отставного)
Стучат; Буянова каблук
Так и ломает пол вокруг;
Треск, топот, грохот по порядку
Чем дальше в лес, тем больше дров;
Теперь пошло на молодцов.
Пустились, только не в присядку.
Ах, легче, легче: каблуки
Отдавят дамские носки!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава шестая

В рукописи (до нас не дошедшей) находились следующие строфы, пропущенные в печати:

XV

Да, да, ведь ревности припадки—
Болезнь, так точно как чума,
Как черный сплин, как лихорадки,
Как повреждение ума.
Она горячкой пламенеет,
Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй бог, друзья мои!
Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых.
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж конечно без боязни
Взойдет на пламенный костер,
Иль шею склонит под топор.

XVI

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой.
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день:
Почий, мучительная тень!

В черновиках сохранились следующие наброски, относящиеся к XXXIV строфе:

В сраженьи [смелым] быть похвально,
Но кто не смел в наш храбрый век
Всё дерзко бьется, лжет нахально.
Герой, будь прежде человек.
Чувствительность бывала в моде
И в нашей северной природе.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Когда горящая картечь
Главу сорвет у друга с плеч,
Плачь, воин, не стыдись, плачь вольно.
И Кесарь слезы проливал,
[Когда он] друга [смерть узнал],
И сам был ранен очень больно
(Не помню где, не помню как),
Он был конечно не дурак.

☆

Но плакать и без раны можно
О друге, если был он мил,
Нас не дразнил неосторожно
И нашим прихотям служил.
Но если Жница роковая,
Окровавленная, слепая,
В огне, в дыму—в глазах отца
Сразит залетного птенца!
О страх, о горькое мгновенье,
О . . . . . когда твой сын
Упал сражен, и ты один.
[Забыл ты славу] <и> сраженье
И предал славе ты чужой
Успех ободренный тобой.

☆

Как мрачный стон, как гроба холод...
. . . . . .

В не дошедшей до нас рукописи находилась следующая неполная строфа:

XXXVIII

Исполня жизнь свою отравой,
Не сделав многого добра,
Увы, он мог бессмертной славой
Газет наполнить нумера.
Уча людей, мороча братий,
При громе плесков иль проклятий,
Он совершить мог грозный путь,
Дабы в последний раз дохнуть
В виду торжественных трофеев,
Как наш Кутузов, иль Нельсон,
Иль в ссылке, как Наполеон,
Иль быть повешен, как Рылеев.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава седьмая

В рукописи находятся следующие строфы, пропущенные Пушкиным в печати:

VIII

[Но] раз вечернею порою
Одна из дев сюда пришла;
Казалось, тягостной тоскою
Она встревожена была.
Как бы волнуемая страхом,
Она в слезах пред милым прахом
Стояла, голову склонив
И руки с трепетом сложив.
Но тут поспешными шагами
Ее настиг младой улан,
Затянут, статен и румян,
Красуясь черными усами,
Нагнув широкие плеча
И гордо шпорами звуча.

IX

Она на воина взглянула:
Горел досадой взор его,
И побледнела и вздохнула,
Но не сказала ничего.
И молча Ленского невеста
От сиротеющего места
С ним удалилась—и с тех пор
Уж не являлась из-за гор.
Так равнодушное забвенье
За гробом настигает нас:
Врагов, друзей, любовниц глас
Умолкнет. Об одном именье
Наследников ревнивых хор
Заводит непристойный спор.

Строфа XI первоначально оканчивалась:

По крайней мере, из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень,
И в поздний час, Гимену милый,
Не испугали молодых
Следы явлений гробовых.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Строфа XXI первоначально имела другое окончание, за которым следовало описание альбома Онегина и выдержки из него:

Сперва ей было не до книг,
И вдруг открылся между их
Альбом, и чтенью предалася
Татьяна жадною душой,
И ей открылся мир иной.

☆

Опрятно по краям окован
Позолоченым серебром,
Он был исписан, изрисован
Рукой Онегина кругом.
Меж непонятного маранья
Мелькали мысли, замечанья,
Портреты, числа, имена,
Да буквы, тайны письмена,
Отрывки, письма черновые,
И словом, искренний журнал,
В который душу изливал
Онегин в дни свои младые,
Дневник мечтаний и проказ.
Кой-что <я> выпишу для вас.

Альбом Онегина

1

Меня не любят и клевещут,
В кругу мужчин несносен я.
Девчонки предо мной трепещут,
Косятся дамы на меня.
За что?—за то, что разговоры
Принять мы рады за дела,
Что вздорным людям важны вздоры,
Что Глупость ветрена и зла,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит.

2

Боитесь вы графини — овой,
Сказала нам Элиза К.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Да, возразил NN суровый,
Боимся мы графини —овой,
Как вы боитесь паука.

3

В коране много мыслей здравых,
Вот например: пред каждым сном
Молись, беги путей лукавых,
Чти бога и не спорь с глупцом.

4

Цветок полей, листок дубрав
В ручье Кавказском каменеет.
В волненьи жизни так мертвеет
И ветреный и нежный нрав.

5

Шестого. Был у В. на бале.
Довольно пусто было в зале,
R. C. как ангел хороша.
Какая вольность в обхожденьи,
В улыбке, в томном глаз движеньи,
Какая нега и душа!
[Она сказала, nota bene,
Что завтра едет к Селимене.]

6

Вечор сказала мне R. C.:
Давно желала я вас видеть.
Зачем?—мне говорили все,
Что я вас буду ненавидеть.
За что?—за резкий разговор,
За легкомысленное мненье
О всем; за колкое презренье
Ко всем; однако ж это вздор:
Вы надо мной смеяться властны,
Но вы совсем не так опасны,—
И знали ль вы до сей поры,
Что просто—очень вы добры?

7

Сокровища родного слова,
Заметят важные умы,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Для лепетания чужого
Безумно пренебрегли мы.
Мы любим Муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих.
Да где ж они? давайте их.
А где мы первые познанья
И мысли первые нашли,
Где поверяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли?
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где русский ум и русский дух
Зады твердит и лжет за двух.

8

Мороз и солнце! чудный день.
Но нашим дамам видно лень
Сойти с крыльца и над Невою
Блеснуть холодной красотою.
Сидят. Напрасно их манит
Песком усыпанный гранит.
Умна восточная система
И прав обычай стариков:
Они родились для Гарема
Иль для неволи теремов.

9

[Вчера у В.], оставя пир,
R. С. летела, как Зефир,
Не внемля жалобам и пеням;
А мы по лаковым ступеням
Летели шумною толпой
За одалиской молодой.
Последний звук последней речи
Я от нее поймать успел,
Я черным соболем одел
Ее блистающие плечи,
На кудри милой головы
Я шаль зеленую накинул,
Я пред Венерою Невы
Толпу влюбленную раздвинул.

10

— — —я вас люблю etc.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

11

Сегодня был я ей представлен;
Глядел на мужа с полчаса:
[Он важен], красит волоса,
И чином от ума избавлен.

После строфы XXIV следовало:

С ее открытием поздравим
Татьяну милую мою
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою.
Убив неопытного друга,
Томленье сельского досуга
Не мог Онегин перенесть,
[Решился он в кибитку сесть].
[Раздался колокольчик] звучный,
Ямщик ударил, засвистал,
И наш Онегин поскакал
[Искать отраду в жизни] скучной,
По отдаленным [сторонам],
Куда, не зная точно сам.

После строфы XXXVI в черновой рукописи начата следующая:

Татьяну всё воображая
Еще ребенком, няня ей
Сулит веселье, истощая
Риторику хвалы своей.
Вотще она велеречиво
Москву описывает живо.

К строфе LI относится следующий черновой набросок:

Как [живо] колкий Грибоедов
В сатире внуков описал,
Как описал Фонвизин дедов,
[Сзывая всю] Москву на бал.

Глава осьмая

Одной первой строфе окончательного текста в рукописи соответствуют четыре:

I

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Читал охотно Елисея,
А Цицерона проклинал;
В те дни, как я поэме редкой
Не предпочел бы мячик меткой,
Считал схоластику за вздор
И прыгал в сад через забор;
Когда порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив.

II

Когда в забвеньи перед классом
Порой терял я взор и слух
И говорить старался басом
И стриг над губой первый пух,
В те дни... в те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной девы, и любовь
Младую взволновала кровь,—
И я, тоскуя безнадежно,
Томясь обманом пылких снов,
Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал
И счастье тайных мук узнал.

III

В те дни—во мгле дубравных сводов
Близ вод, текущих в тишине,
В углах Лицейских переходов,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья,
Доселе чуждая веселья,
Вдруг озарилась! Муза в ней
Открыла пир своих затей;
Простите, хладные науки!
Простите, игры первых лет!
Я изменился, я поэт,
В душе моей едины звуки
Переливаются, живут,
В размеры сладкие бегут.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

IV

Везде со мной, неутомима,
Мне Муза пела, пела вновь:
(Amorem canat aetas prĭma) [1]
Всё про любовь, да про любовь.
Я вторил ей,—младые други,
В освобожденные досуги,
Любили слушать голос мой.
Они, пристрастною душой
Ревнуя к братскому союзу,
Мне первый поднесли венец,
Чтоб им украсил их певец
Свою застенчивую Музу.
О, торжество невинных дней!
Твой сладок сон душе моей.

Вторая (по счету окончательной, печатной редакции) строфа, появившаяся в печати неполной, в рукописи имеет следующее окончание:

И Дмитрев не был наш хулитель;
И быта русского хранитель,
Скрижаль оставя, нам внимал
И Музу робкую ласкал.
И ты, глубоко вдохновенный,
Всего прекрасного певец,
Ты, идол девственных сердец,
Не ты ль, пристрастьем увлеченный,
Не ты ль мне руку подавал
И к славе чистой призывал.

После XXIII строфы в рукописи следует:

Со всею вольностью дворянской
Чуждались щегольства речей
И щекотливости мещанской
Журнальных чопорных судей.
В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей.
(Чему наверно удивится,
Готовя свой разборный лист,
Иной глубокий журналист;
Но в свете мало ль что творится,

[1] <Юность поет о любви.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

О чем у нас не помышлял,
Быть может, ни один журнал!)

☆

Никто насмешкою холодной
Встречать не думал старика,
Заметя воротник не модный
Под бантом шейного платка,
Хозяйка спесью не смущала
И новичка-провинциала,
Равно для всех она была
Непринужденна и мила.
Лишь путешественник залетный,
Блестящий лондонский нахал
Полу-улыбку возбуждал
Своей осанкою заботной;
И быстро обмененный взор
Ему был общий приговор.

К этому месту главы относятся следующие рукописные отрывки:

И та, которой улыбалась
Расцветшей жизни благодать,
И та, которая сбиралась
Уж общим мненьем управлять,
И представительница света,
И та, чья скромная планета
Должна была когда-нибудь
Смиренным счастием блеснуть,
И та, которой сердце тайно
Нося безумной страсти казнь,
Питало ревность и боязнь,—
Соединенные случайно,
Друг дружке чуждые душой,
Сидели тут одна с другой.

☆

Тут был на эпиграммы падкий,
На всё сердитый князь Бродин:
На чай хозяйки, слишком сладкий,
На глупость дам, на тон мужчин,
На вензель, двум сироткам данный,
На толки про роман жеманный,
[На пустоту жены своей],
[И на неловкость дочерей].

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Тут был один диктатор бальный,
Прыгун суровый, должностной;
У стенки фертик молодой
Стоял картинкою журнальной,
Румян как вербный херувим,
Затянут, нем и недвижим.

☆

Тут был [К. М.], франт, женатый
На кукле чахлой и горбатой
И семи тысячах душах;
Тут был во всех своих звездах
[Правленья цензор] непреклонный
(Недавно грозный сей Катон
За взятки места был лишен);
Тут был еще сенатор сонный,
Проведший с картами свой век,
Для власти нужный человек.

☆

...Проласов, добрый малый,
Известный низостью своей
И страстью открывать все балы,
Явился посреди гостей.
За ним другой диктатор бальной
Вошел картинкою журнальной.
Лорнетом даму отыскал,
Сел, улыбнулся и соврал.
[В углу важна и молчалива]
Тут Лиза Лосина была
Уж так горбата, так мала,
Так неопрятна, так писклива,
Что поневоле каждый гость
Предполагал в ней ум и злость.

☆

Неслышно в залу Нина входит,
Остановилась у дверей
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей.
В волненьи перси, плечи блещут,
Горит в алмазах голова,
Вкруг стана . . . . . и трепещут
Прозрачной сетью кружева,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах;
И все в восторге, в небесах
Пред сей волшебною картиной.
. . . . . .
. . . . . .

☆

И в зале яркой и богатой,
Когда в умолкший, тесный круг
Подобна лилии крылатой
Колеблясь входит Лалла-Рук,
И над поникшею толпою
Сиянет царственной главою
И тихо вьется и скользит
Звезда—Харита меж Харит.
И взор смешенных поколений
Стремится, ревностью горя,
То на нее, то на царя,—
Для них без глаз один Евгений:
Одной Татьяной поражен,
Одну Татьяну видит он.

Вместо строфы XXX в рукописи находится:

Проходят дни, летят недели,
Онегин мыслит об одном,
Другой себе не знает цели,
Чтоб только явно иль тайком,
Где б ни было, княгиню встретить,
Чтобы в лице ее заметить
Хоть озабоченность иль гнев.
Свой дикий нрав преодолев,
Везде—на вечере, на бале,
В театре, у художниц мод,
На берегах замерзлых вод,
На улице, в передней, в зале,
За ней он гонится, как тень.
Куда его девалась лень!

В «Письмо Онегина» не вошли следующие стихи:
После стиха: «Быть может, повод подаю»:

Но так и быть: не в силах доле
Противиться я сам себе,
Не в первый раз я предан воле
Страстей безумных и судьбе.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

После стиха: «Тогда я сердце оторвал»:

Я позабыл ваш образ милой,
Речей стыдливых нежный звук.
И жизнь сносил души унылой,
Как искупительный недуг.

Так, я безумец,—но ужели
Я слишком многое прошу?
Когда б хоть тень вы разумели
Того, что в сердце я ношу.

Последние четыре стиха в рукописи читаются:

И что же?.. вот чего хочу:
Пройду немного... с вами рядом,
Упьюсь по капле сладким ядом
И благодарный замолчу.

Примечания автора

В первом издании Пушкин напечатал несколько примечаний, исключенных из дальнейших изданий:

Глава I, строфа VIII, стих: «В д а л и И т а л и и с в о е й»

Мнение, будто бы Овидий был сослан в нынешний Акерман, ни на чем не основано. В своих элегиях *Ex ponto* он ясно назначает местом своего пребывания город *Томы* при самом устье Дуная. Столь же несправедливо и мнение Вольтера, полагающего причиной его изгнания тайную благосклонность Юлии, дочери Августа. Овидию было тогда около пятидесяти лет, а развратная Юлия, десять лет тому прежде, была сама изгнана ревнивым своим родителем. Прочие догадки ученых не что иное, как догадки. Поэт сдержал свое слово, и тайна его с ним умерла:

Alterius facti culpa silenda mihi [1].

Примеч. Соч.

Глава I, строфа XXVI, стих: «В А к а д е м и ч е с к и й с л о в а р ь».

Нельзя не пожалеть, что наши писатели слишком редко справляются со словарем Российской Академии. Он останется вечным памятником попечительной воли Екатерины и про-

[1] <Что касается моих заблуждений, то об этой моей вине мне надлежит молчать.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

свещенного труда наследников Ломоносова, строгих и верных опекунов языка отечественного. Вот, что говорит Карамзин в своей речи:

«Академия Российская ознаменовала самое начало бытия своего творением, важнейшим для языка, необходимым для авторов, необходимым для всякого, кто желает предлагать мысли с ясностию, кто желает понимать себя и других. Полный словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев. Наша без сомнения счастливая судьба, во всех отношениях, есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями. Италия, Франция, Англия, Германия славились уже многими великими писателями, еще не имея словаря: мы имели церковные, духовные книги; имели стихотворцев, писателей, но только одного истинно *классического* (Ломоносова), и представили систему языка, которая может равняться с знаменитыми творениями Академии Флорентинской и Парижской. Екатерина Великая... кто из нас и в самый цветущий век Александра I может произносить имя ее без глубокого чувства любви и благодарности?.. Екатерина, любя славу России, как собственную, и славу побед, и мирную славу разума, приняла сей счастливый плод трудов Академии с тем лестным благоволением, коим она умела награждать все достохвальное, и которое осталось для вас, милостивые государи, незабвенным, драгоценнейшим воспоминанием».

Примеч. Соч.

Глава I, строфа L, стих: «Под небом Африки моей».

Автор со стороны матери происхождения африканского. Его прадед Абрам Петрович Аннибал на 8 году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Вслед за ним брат его приезжал сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагая за него выкуп; но Петр I не согласился возвратить своего крестника. До глубокой старости Аннибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был меньшой; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем, как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома; помнил также любимую сестру свою *Лагань*, плывшую издали за кораблем, на котором он удалялся.

18-ти лет от роду, Аннибал послан был царем во Францию, где и начал свою службу в армии регента; он возратился в Россию с разрубленной головой и с чином французского

Пушкинский кабинет ИРЛИ

лейтенанта. С тех пор находился он неотлучно при особе императора. В царствование Анны, Аннибал, личный враг Бирона, послан был в Сибирь под благовидным предлогом. Наскучa безлюдством и жестокостию климата, он самовольно возвратился в Петербург и явился к своему другу Миниху. Миних изумился и советовал ему скрыться немедленно. Аннибал удалился в свои поместья, где и жил во всё время царствования Анны, считаясь в службе в Сибири. Елисавета, вступив на престол, осыпала его своими милостями. А. П. Аннибал умер уже в царствование Екатерины, уволенный от важных занятий службы с чином генерал-аншефа на 92 году от рождения [1].

В России, где память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям.

Сын его генерал-лейтенант И. А. Аннибал принадлежит бесспорно к числу отличнейших людей Екатерининского века (ум. в 1800 году).

Кроме того в рукописи находятся примечания, не появившиеся в печати:

Глава I, строфа XXVIII, стих: «Б р я н ч а т к а в а л е р г а р д а ш п о р ы».

Не точность.

На балах кавалергардские офицеры, так как и лейбгусары, [являются] в виц-мундире, в башмаках. Замечание основательное, но в описании есть нечто поэтическое. Ссылаюсь на мнение А. И. В...

Глава II, строфа XVIII:

Et je ressemble au vieux guerrier
Qui rencontre ses frères d'armes
Et leur parle encor du métier [2].

Глава III, строфа XVIII:

Кто-то спрашивал у старухи: по страсти ли, бабушка, вышла ты замуж.—По страсти, родимый, отвечала она:—приказчик и староста обещались меня до полусмерти прибить. В старину свадьбы, как суды, обыкновенно были пристрастны.

---

[1] Мы современем надеемся издать полную его биографию [*Примеч. Пушкина.*]

[2] <Я похож на старого воина, встречающего собратьев по оружию и еще беседующего с ними о своем ремесле.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава IV, строфа XLI, стих: «Несется в гору во весь дух».

Критиковали меру этого стиха несправедливо:

⏑ — ⏑ — ⏑ — ⏑ —

одно из изменений четырехстопного ямбического стиха, впрочем, довольно однообразного.

И после во весь путь молчал.

⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ —

Отрывки из путешествия Онегина

Путешествие Онегина первоначально представляло собой особую главу, восьмую по порядку. Часть строф этой главы Пушкин перенес в следующую главу, первоначально девятую.

Глава, содержавшая Путешествие, начиналась строфой X последней главы, после чего следовало:

Блажен, кто понял голос строгой
Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой;
Кто цель имел, и к ней стремился,
Кто знал, зачем он в свет явился
И богу душу передал,
Как откупщик иль генерал.
«Мы рождены, сказал Сенека,
Для пользы ближних и своей»—
(Нельзя быть проще и ясней),
Но тяжело, прожив полвека,
В минувшем видеть только след
Утраченных, безумных лет...

Далее следовали строфы XI и XIII, после чего следующие строфы:

Наскуча или слыть Мельмотом,
Иль маской щеголять иной,
Проснулся раз он патриотом
Дождливой, скучною порой.
Россия, господа, мгновенно
Ему понравилась отменно,
И решено. Уж он влюблен,
Уж Русью только бредит он,
Уж он Европу ненавидит
С ее политикой сухой,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

С ее развратной суетой.
Онегин едет; он увидит
Святую Русь: ее поля,
Пустыни, грады и моря.

*

Он собрался—и слава богу
Июня третьего числа
Коляска легкая в дорогу
Его по почте понесла.
Среди равнины полудикой
Он видит Новгород-великой;
Смирились площади—средь них
Мятежный колокол утих,
Но бродят тени великанов:
Завоеватель Скандинав,
Законодатель Ярослав,
С четою грозных Иоанов,
И вкруг поникнувших церквей
Кипит народ минувших дней.

☆

Тоска, тоска! спешит Евгений
Скорее далее: теперь
Мелькают мельком, будто тени,
Пред ним Валдай, Торжок и Тверь.
Тут у привязчивых крестьянок
Берет 3 связки он баранок,
Здесь покупает туфли, там
По гордым волжским берегам
Он скачет сонный. Кони мчатся
То по горам, то вдоль реки.
Мелькают версты; ямщики
Поют и свищут, и бранятся;
Пыль вьется. Вот Евгений мой
В Москве проснулся на Тверской.

☆

Москва Онегина встречает
Своей спесивой суетой,
Своими девами прельщает,
Стерляжей подчует ухой;
В палате Английского клоба
(Народных заседаний проба),
Безмолвно в думу погружен,
О кашах пренья слышит он.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Замечен он. Об нем толкует
Разноречивая молва,
Им занимается Москва,
Его шпионом именует,
Слагает в честь его стихи
И производит в женихи.

☆

Тоска, тоска!—Он в Нижний хочет,
В отчизну Минина—пред ним
Макарьев суетно хлопочет

Далее следует первый отрывок, напечатанный Пушкиным. После этого отрывка следует:

Тоска! Евгений ждет погоды.
Уж Волга, *рек, озер краса*,
Его зовет на пышны воды,
Под полотняны паруса.
Взманить охотника не трудно:
Наняв купеческое судно,
Поплыл он быстро вниз реки.
Надулась Волга. Бурлаки,
Опершись на багры стальные,
Унывным голосом поют
Про тот разбойничий приют,
Про те разъезды удалые,
Как Стенька Разин в старину
Кровавил волжскую волну.

☆

Поют про тех гостей незваных,
Что жгли, да резали. Но вот,
Среди степей своих песчаных,
На берегу соленых вод,
Торговый Астрахань открылся.
Онегин только углубился
В воспоминанья прошлых дней,
Как жар полуденных лучей
И комаров нахальных тучи,
Пища, жужжа со всех сторон,
Его встречают,—и, взбешен,
Каспийских вод брега сыпучи
Он оставляет тот же час.
Тоска!—он едет на Кавказ.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Строфа «Он видит Терек своенравный» имеет следующие черновые варианты:

Авось их дикою красою
Случайно тронут будет он.
И вот, конвоем окружен,
Во след за пушкою степною
. . . . . ступил Онегин вдруг
В предверьи гор, в их мрачный круг.

☆

Обвалы сыплются и блещут,
Вдоль скал прямых потоки хлещут,
Меж гор, меж двух высоких стен
Идет ущелие; стеснен
Опасный путь; всё уже, уже.
Вверху чуть видны небеса;
Природы мрачная краса
Везде являет дикость ту же.
Хвала тебе, седой Кавказ.
Онегин тронут в первый раз.

К этому же месту относится черновая строфа:

Во время оное, былое
[В те дни ты знал меня], Кавказ.
В свое святилище глухое
Ты принимал меня не раз.
В тебя влюблен я был безумно,
Меня приветствовал ты шумно
[Могучим гласом бурь своих],
Я [слышал] рев ручьев твоих
И снеговых обвалов [грохот]
[И крик орлов] и песни дев
И Терека свирепый рев
И эха дальнозвучный хохот
[И зрел] смиренный твой певец
[Казбека] царственный венец.

В строфе «Питая горьки размышленья» последние два стиха в рукописи читаются иначе, а за ними следует полная строфа, из которой Пушкин печатал только последние стихи.

И я как эти господа
Надежду мог бы знать тогда!..

☆

Блажен, кто стар! блажен, кто болен!
Над кем лежит судьбы рука!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Но я здоров, я молод, волен,
Чего мне ждать?—тоска! тоска!..
Простите, снежных гор вершины,
И вы, Кубанские равнины!
Он едет к берегам иным,
Он прибыл из Тамани в Крым.

В рукописи сохранились строфы, следующие за отрывками, напечатанными Пушкиным:

Итак, я жил тогда в Одессе
Средь новоизбранных друзей,
Забыв о сумрачном повесе,
Герое повести моей.
Онегин никогда со мною
Не хвастал дружбой почтовою,
А я, счастливый человек,
Не переписывался ввек
Ни с кем. Каким же изумленьем,
Судите, был я поражен,
Когда ко мне явился он
Неприглашенным привиденьем,
Как громко ахнули друзья,
И как обрадовался я!

*

Святая дружба, глас натуры!!!
Взглянув друг на друга, потом,
Как Цицероновы Авгуры,
Мы рассмеялися тишком...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Кроме того до нас дошли три строфы из заключительной части Путешествия. Из них первая в очень черновом виде:

Недолго вместе мы бродили
По берегам Эвксинских вод:
Судьбы нас снова разлучили
[И нам назначили] поход.
Онегин, очень охлажденный,
И тем, что видел, насыщенный,
Пустился к невским берегам,
А я от милых южных дам,
От <жирных> устриц черноморских,
От оперы, от темных лож

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И—слава богу—от вельмож,
Уехал в тень лесов Тригорских,
В далекий северный уезд.
И был печален мой приезд.

*

О, где б Судьба ни назначала
Мне безыменный уголок,
Где б ни был я, куда б ни мчала
Она смиренный мой челнок;
Где поздний мир мне б ни сулила,
Где б ни ждала меня могила,—
Везде, везде в душе моей
Благословлю моих друзей.
Нет, нет! нигде не позабуду
Их милых, ласковых речей,—
Вдали, один, среди людей,
Воображать я вечно буду
Вас, тени прибережных ив,
Вас, мир и сон Тригорских нив.

*

И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы,
И в роще скрытые дороги,
И дом, где пировали мы.
Приют, сияньем Муз одетый,
Младым Языковым воспетый,
Когда из капища наук,
Являлся он в наш сельский круг—
И нимфу Сороти прославил
И огласил поля кругом
Очаровательным стихом.
Но там и я мой след оставил
И, ветру в дар, на темну ель
Повесил звонкую свирель.

Глава десятая

В 1830 году Пушкин написал несколько строф главы, следующей за последней печатной. Глава эта по прежнему счету (до исключения Путешествия Онегина) являлась десятой. Рукопись ее Пушкин сжег в том же 1830 году. От этой главы до нас дошли только отрывки (первые четверостишия) четырнадцати строф, записанные особым шифром, и черновики следующих за ними трех строф.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

I

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
. . . . . .

II

Его мы очень смирным знали.
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
. . . . . .

III

Гроза двенадцатого года
Настала—кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
. . . . . .

IV

Но бог помог—стал ропот ниже,
И скоро, силою вещей,
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей.
. . . . . .

V

И чем жирнее, тем тяжеле;
О русский глупый наш народ,
Скажи зачем ты в самом деле
. . . . . .

VI

Авось, о Шиболет народный;
Тебе б я оду посвятил,
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил.
. . . . . .
Моря достались Альбиону.
. . . . . .

Пушкинский кабинет ИРЛИ

VII

Авось, аренды забывая,
Ханжа запрется в монастырь,
Авось, по манью Николая
Семействам возвратит Сибирь.
. . . . . .
Авось дороги нам исправят
. . . . . .

VIII

Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный,
Исчезнувший, как тень зари
Измучен казнию покоя [1]...
. . . . . .

IX

Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал.
Кинжал . . . . . тень . . . .
. . . . . .

X

«Я всех уйму с моим народом!»—
Наш царь в покое говорил,
. . . . . .
А про тебя и в ус не дует
Ты, Александровский холоп.
. . . . . .

XI

Потешный полк Петра Титана,
Дружина старых усачей,
Предавших некогда тирана
Свирепой шайке палачей
. . . . . .

[1] После этого стиха, вероятно, следовали стихи, перенесенные в стихотворение «Герой»:

Осмеян прозвищем героя,
Он угасает, недвижим,
Плащом закрывшись боевым.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

XII

Россия присмирела снова,
И пуще царь пошел кутить,
Но искра пламени инова
Уже издавна может быть
. . . . . .

XIII

У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки
. . . . . .

XIV

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.
. . . . . .

XV

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал,
Читал свои ноэли Пушкин,
— — — — Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россию в мире видя,
Лаская в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, слово: *рабство* ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

XVI

Так было над Невою льдистой.
Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И степи Буга облегли,
Дела [иные уж] пошли,
Там Пестель для—
И рать — — — набирал
Холоднокровный генерал,
И Муравьев, его склоняя,
Исполнен дерзости и сил,
Союза [вспышку] торопил.

XVII

Сначала эти заговоры
Между лафитом и клико,
[Лишь были дружеские споры]
И не [входила] глубоко
В сердца мятежные наука.
[Всё это было только] скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПОВЕСТИ

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Тексты повестей, опубликованных при жизни Пушкина, воспроизводятся в настоящем издании в их последних печатных редакциях. На основании сверки с рукописями устранены лишь явные опечатки и цензурные извращения.

Произведения незаконченные или только начатые, равно как планы и программы вещей задуманных, но неосуществленных Пушкиным, даются в их последней рукописной редакции. Из черновых вариантов отмечаются в прямых скобках ([ ]) только те, которые существенны для уяснения замысла недовершенного произведения или успели прочно войти в литературный и научный оборот. В угловых скобках (< >) оставляются традиционные названия повестей, самим Пушкиным не озаглавленных, а также слова, чтение которых предположительно. Все даты написания тех или иных частей незаконченных произведений перенесены в примечания к последним (см. «Путеводитель по Пушкину»).

На основании критического изучения всех дошедших до нас рукописей Пушкина, в настоящем издании существенно дополнены и исправлены прежние воспроизведения текстов «Дубровского», «Египетских ночей», «Романа в письмах», «Рославлева», пропущенной главы «Капитанской дочки», набросков «Гости съезжались на дачу», «Надинька», «Несмотря на великие преимущества», «Русский Пелам», «4 мая

Пушкинский кабинет ИРЛИ

1825 г.», «Участь моя решена», «Цезарь путешествовал» и др. Впервые в собрание сочинений Пушкина вводятся планы «Романа на Кавказских водах», «Влюбленный бес», «Н. избирает себе в наперсники Невский проспект», «Сын казненного стрельца». Из вовсе до сих пор неизвестных текстов Пушкина печатаются «Les deux danseuses», «В начале 1812 г.» и «L'homme du monde, marié à une aristocrate».

Существенно изменена в настоящем издании, на основании бесспорных палеографических и биографических данных, традиционная датировка неоконченных повестей Пушкина.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

<АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО>

ГЛАВА I

Я в Париже,
Я начал жить, а не дышать.
Дмитриев. *Журнал путешественника*,

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в испанской войне и, тяжело раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не переставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил заботиться о своем здоровии, благодарил за ревность к учению, и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.

По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с легкомыслием, безумством

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа: пример был заразителен. На ту пору явился Laws [1]: алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.

Между тем, общества представляли картину очень занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизила все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностию. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.

Temps fortuné, marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot,
D'un pied leger parcourt toute la France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où l'on fait tous excepté pénitence[2].

---

[1] <Ло>

[2] <Счастливое время, отмеченное вольностью,
Когда безумие, звеня своей погремушкой,
Легкими стопами обегает всю Францию,
Когда ни один из смертных не считает нужным быть набожным,
Когда люди делают всё, только не каются.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le nègre de czar и ловили его на перехват. Регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостью Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтеские и Фонтенеля; не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления, и предавался общему вихрю со всею пылкостию своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.

Графиня D., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. Семнадцати лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания: это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием.

Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-по-малу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудреных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову, и вместо парика носил повязку.) Ему было 27 лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство; но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.

Любовь не приходила ему на ум,—а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостию неба. Графиня, прежде, чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа, и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору.

Слова Мерзиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению; надежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлением его страсти, хотела противуставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою страсти ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму.....

Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.

Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, советы, предложения — всё было истощено и всё отвергнуто. Графиня ви-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее.

Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.

Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец, она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Дня два перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, шопот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания обливал его ужасом... Вдруг он услышал слабый крик ребенка, и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини—черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приближился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием. Всё вошло в обыкновенный порядок.

Но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться, и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В таком случае, что бы ни произошло, погибель графини была неизбежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.

ГЛАВА II

Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часа более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться бо́льшим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.

Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра I-го. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию.

«Подумайте о том, что делаете», сказал ему герцог: «Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением. Останьтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения».

Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении.

«Жалею», сказал ему регент, «но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он по обыкновению вечер у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы всё на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «Bonne nuit» [1], сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все

[1] <Доброй ночи.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Bonne nuit, messieurs», повторила графиня. Он всё не двигался... Наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:

«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе потому, что не имею сил иначе с тобою объясниться.

Счастие мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я всё, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностию... Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу—и ты наконец устыдилась бы своей страсти... Что было б тогда со мною? Нет! Лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...

Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни всё, что ты вытерпела—все оскорбления самолюбия, все мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя долее тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?

Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

которым отныне предаюсь, если не заглушат, то по крайней мере будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора—отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива—и думай иногда о бедном негре, о твоем верном Ибрагиме».

В ту же ночь он отправился в Россию.

Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.

Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала. Но ямщики, не смотря на дурную погоду, везли его с быстротою ветра, и в 17<ый> день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим?—закричал он, вставая с лавки:—Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приближился, обнял его и поцаловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде,—сказал Петр,—и поехал тебе навстречу.—Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же,—продолжал государь,—твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску; он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Чрез полтора часа они приехали в Петербург.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына Сада. На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцаловал ее в губы, и взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катинька, моего крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие как розы, стояли за нею и почтительно приближились к Петру. «Лиза,—сказал он одной из них,—помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? Вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хоть и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собрались во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями.

Государь вышел часа через два. «Посмотрим,— сказал он Ибрагиму,—не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску, да ступай за мною». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончанию трудов, Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, всё ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу».

Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге; он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня D., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия

Пушкинский кабинет ИРЛИ

могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностию и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж в объятия милой графини.

ГЛАВА III

На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякой по своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашений по крайней мере на целый месяц.

Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные—следственно не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видел Петра в Сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов, или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастерскою, где движутся одни машины, где каждый работник,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине D., воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние... Но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец—он содрогался: ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке; Ибрагим с живостию оборотился, и молодой Корсаков, которого оставил он в Париже, в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сейчас только приехал,—сказал Корсаков,—и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоем отсутствии. Графиня D. велела звать тебя непременно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад,—продолжал Корсаков,—что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! Что здесь делают, чем занимаются? Кто твой портной? Заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу,—сказал он,—что тебе теперь не до меня: в другое время наговоримся досыта; еду представляться государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты.

Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты гово-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ришь,—писала она,—что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, не смотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь.

Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине, и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять. Он уже представлялся государю—и по своему обыкновению казался очень собою доволен. «Entre nous[1], —сказал он Ибрагиму,—государь престранный человек, вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтоб сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мною не случалось. Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда; по крайней мере, он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста, будь моим ментором, заезжай за мной и представь меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более для него занимательному. «Ну,

[1] <Между нам.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

что графиня D.?»—«Графиня? Она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-по-малу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь, кого? длинного маркиза R.; что ж ты вытаращил свои арапские белки? или это кажется тебе странным; разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой; особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? Ревность? бешенство? отчаянье? Нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: это я предвидел, это должно было случиться. Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.

Корсаков сидел в шлафроке, читая французскую книгу. «Так рано?»—сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй,—отвечал тот,—уже половина шестого; мы опоздаем; скорей одевайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Француз камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков сунул в него стриженую головку, потребовал шпагу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежии шубы, и они поехали в зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым

Пушкинский кабинет ИРЛИ

танцовщиком? какой танец ныне в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ими общий шопот: арап, арап, царский арап! Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настежь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел...

В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы; офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах, толпою двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошию моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием присутствовали на сих нововведеных игрищах, и с досадою косились на жен и дочерей голландских шхиперов, которые в канифасных юбках и красных кофточках вязали свой чулок,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

между собою смеясь и разговаривая, как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Que diable est-ce que tout cela?» [1]—спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотою и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частию иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шхипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озабочен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались—и тотчас ушел; за ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.

Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцовальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продол-

[1] <Что за дьявольщина всё это?>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

жались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостьями, одна в особенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцовать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился, во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить *кубок Большого Орла*». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазии. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. «Ага,—сказал Петр,—увидя Корсакова,—попался, брат, изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай Корсаков,—сказал ему Петр,—штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство: смотри, чтоб

Пушкинский кабинет ИРЛИ

я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из круга, но зашатался и чуть не упал к неописанному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцовал с нею минуэт и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и отвез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея!.. проклятый кубок Большого Орла»... но вскоре заснул крепким сном, не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок Большого Орла.

ГЛАВА IV

Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.

Руслан и Людмила.

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин; по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычай любезной ему старины.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Дочери его было 17 лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, т. е. окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет 50 от роду, правая нога была у него прострелена под Нарвою, и потому была не весьма способна к менуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусством и легкостью выделывала самые трудные *па*. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною.

День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец, освобожденными от затворничества домашнего указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцалуй, получаемый встарину при таком случае, вышел уж из обыкновения.—Пошли за стол. На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода, и тем поминая счастливые времена местничества, сели—мужчины по одной стороне, женщины по другой;—на конце заняли свои привычные места: барская барыня, в старинном шушуне и кичке; карлица,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед, в синем поношенном мундире.

Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностию.—Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведению старинной нашей кухни, звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец, хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимовна? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленая и нарумяненая, убраная цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.

— Здравствуй, Екимовна,—сказал князь Лыков:—каково поживаешь?

— По-добру, по-здорову, кум: поючи да пляшучи, женишков поджидаючи.

— Где ты была, дура?—спросил хозяин.

— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру.

При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место, за стулом хозяина.

— А дура-то врет, врет, да и правду соврет,— сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая.—Подлинно, нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего: а право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних краса-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вщ, и смех и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы нацялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери входят—нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести—сущие мученицы, мои голубушки.

— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна,—сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе три тысячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам.—По мне, жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новешенькие. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды—поглядишь—сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? Разорение русскому дворянству! Беда, да и только.—При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностию молодой женщины.

— А кто виноват,—сказал Гаврила Афанасьевич, напеня кружку кислых щей.—Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся; а мы им потакаем.

— А что нам делать, коли не наша воля?—возразил Кирила Петрович.—Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за наряды.—Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими господь за прегрешения наши.

Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у нее так и свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях?

— А то в них дурно,—отвечал разгоряченный

Пушкинский кабинет ИРЛИ

супруг,—что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское: *жена да убоится своего мужа;* хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками, да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.

— Сказал бы словечко, да волк недалечко,—сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич.—А признаюсь—ассамблеи и мне не по нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого на смех пьяным напоят. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску.— На другой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, кого-то бог несет—уж не князя ли Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! Небось, не мог остановиться у ворот, да потрудиться пешком дойти до крыльца—куды! влетел! расшаркался! разболтался!.. Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла под мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье... мамзель... ассамблея... пардон».—Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей.

— Ни дать, ни взять—Корсаков,—сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мало-по-малу восстановилось.—А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из Немецчины на святую Русь скоморохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть на каком наречии, не почитать старших, да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях (прости господи), царской арап всех более на человека походит.

— Конечно,—заметил Гаврила Афанасьевич,—человек он степенный и порядочный, не чета ветрогону... Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты?—продолжал он, обращаясь к слугам:—бегите, отказать ему; да чтоб и впредь...

— Старая борода, не бредишь ли?—прервала дура Екимовна.—Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал.

Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги разбегались, как одурелые, гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра, всё утихло, и царь вошел, в сопровождении хозяина, оторопелого от радости.—«Здорово, господа»,—сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хозяйскую дочь; он подозвал ее. Наталья Гавриловна приближилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча. «Ты час от часу хорошеешь,—сказал ей государь, и по своему обыкновению поцаловал ее в голову; потом обратясь к гостям,—Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афанасьевич, дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхва-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе щей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновою костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту перед сим шумно оживленный веселием и говорливостью, продолжался в тишине и принужденности. Хозяин из почтения и радости ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкой холодностию, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. «Гаврила Афанасьевич!—сказал он хозяину:—Мне нужно с тобою поговорить наедине», и, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столовой, шопотом толкуя об этом неожиданном посещении и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.

ГЛАВА V

Чрез полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афа-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

насьевны и Наташи, и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.

Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен. Сердито приказал он слугам скорее сбирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на кровать, в ногах князя Лыкова, и начал вполголоса следующий разговор:

— Не даром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?

— Как нам знать, батюшка-братец,—сказала Татьяна Афанасьевна.

— Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство?—сказал тесть.—Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных людей—не одних дьяков посылают к чужим государям.

— Нет,—отвечал зять, нахмурясь.—Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов,— но это статья особая.

— Так о чем же, братец,—сказала Татьяна Афанасьевна,—изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

— Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.

— Что ж такое, братец? о чем дело?

— Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Слава богу,—сказала Татьяна Афанасьевна перекрестясь.—Девушка на-выданьи, а каков свет, таков и жених,—дай бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?

— Гм,—крякнул Гаврила Афанасьевич,—за кого? то-то, за кого.

— А за кого же?—повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.

— Отгадайте,—сказал Гаврила Афанасьевич.

— Батюшка-братец, — отвечала старушка, — как нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукой, что ли?

— Нет, не Долгорукой.

— Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, Троекуров?

— Нет, ни тот ни другой.

— Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну, так Милославской?

— Нет, не он.

— И бог с ним: богат да глуп. Что же? Елецкий? Львов? Нет? неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого же царь сватает Наташу.

— За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: за арапа Ибрагима!

— Батюшка-братец,—сказала старушка слезливым голосом,—не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньки в когти черному диаволу.

— Но как же,—возразил Гаврила Афанасьевич,—отказать государю, который за то обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?

— Как,—воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел,—Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа!

— Он роду не простого, — сказал Гаврила Афа-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

насьевич,—он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...

— Батюшка, Гаврила Афанасьевич,—перервала старушка,—слыхали мы сказку про Бову Королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание.

— Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему во всем.

В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась—и увидели Наташу, в обмороке простертую на окровавленном полу.

Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства, тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора; когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованный сундук, где хранилось ее приданое.

Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе—и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом:— Валериан, милый Валериан—жизнь моя! Спаси меня: вот они, вот они!.. Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти

Пушкинский кабинет ИРЛИ

на лестницу, оставался внизу. «Что Наташа?»—спросил он.—«Худо,—отвечал огорченный отец,—хуже чем я думал: она в беспамятстве бредит Валерианом».

— Кто этот Валериан?—спросил встревоженный старик.—Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?

— Он сам,—отвечал Гаврила Афанасьевич,—на беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и чорт меня догадал принять в свой дом проклятого волченка. Когда, тому два года, по его просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял, как окаменелый. Мне показалось это подозрительным,—и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла; ан видно нет.—Решено: она выйдет за арапа.

Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме всё стало тихо и печально.

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима, по крайней мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему: «Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего тебе не достает?» Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участию и лучшей не желает. «Добро,—сказал государь,—если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить».

По окончанию работы, Петр спросил Ибрагима: «Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцовал менуэт на прошедшей ассамблее?»—«Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая».—«Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?»—«Я, государь?..»—«Послу-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

шай, Ибрагим, ты человек одинокой, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время, найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством».—«Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай бог мне не пережить моего царя и благодетеля, более ничего не желаю; но если б и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? моя наружность...»—«Твоя наружность! какой вздор! чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей, а посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом?»

При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления.

«Жениться!—думал африканец,—зачем же нет? ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека, потому только, что я родился под <знойным> градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение! разве можно верить любви? Разве существует она в женском, легкомысленном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения—более существенные. Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностию, а дружбу приобрету постоянной нежностию, доверенностию и снисхождением».

Ибрагим, по своему обыкновению, хотел заняться делом, но воображение его слишком было развле-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чено. Он оставил бумаги и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра; оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом.—«Всё, брат, кончено,—сказал Петр, взяв его под руку:—я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю; но смотри, потешь его боярскую спесь; оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с ним о его заслугах и знатности—и он будет от тебя без памяти. А теперь,—продолжал он, потряхивая дубинкою,—заведи меня к плуту Данилычу, с которым надо мне переведаться за его новые проказы».

Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой.

ГЛАВА VI

Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками.—У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы.

«Кто здесь?»—произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог.—«Скоро ли рассветет?»—спросила Наталья.—«Теперь уже полдень»,—отвечала служанка.—«Ах, боже мой, отчего же так темно?»—«Окны закрыты, барышня».—«Дай же мне поскорее одеваться».—«Нельзя, барышня, дохтур не приказал».—«Разве я больна? давно ли?» —«Вот уж две недели».—«Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла...»

Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить. Служанка всё стояла перед нею,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ожидая приказанья. В это время раздался снизу глухой шум. — «Что такое?»,—спросила больная.— «Господа откушали,— отвечала служанка;—встают изо стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна».—Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку.

Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце, с темными лентами, и спросила в полголоса: что Наташа?—«Здравствуй, тётушка»,—сказала тихо больная—и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила.—«Барышня в памяти»,— сказала служанка, осторожно придвигая кресла. Старушка со слезами поцаловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь, в черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыне, а потом и по-русски, что опасность миновала. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал; а старушка встала и, снова поцаловав Наталью, с доброю вестию тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу.

В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках сидел царский арап, почтительно разговаривая с Гарвилом Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку; наскуча сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки. — «Вас зовут, Гаврила Афанасьевич»,—сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.

«Дивлюсь твоему терпению,—сказал Корсаков Ибрагиму.—Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовоку-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пляешь к тому свои нравоучительные примечания! На твоем месте j'aurais planté là [1] старого враля и весь его род, включая тут же и Наталию Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, une petite santé [2].—Скажи по совести: ужели ты влюблен в эту маленькую mijauré?[3] — «Нет,—отвечал Ибрагим—я женюсь, конечно, не по страсти, но по соображению, и то, если она не имеет от меня решительного отвращения».—«Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету; право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль—не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? Например: я, конечно, собою не дурен, но случалось однако ж мне обманывать мужей, которые были, ей богу, ничем не хуже моего. Ты сам... помнишь нашего парижского приятеля, графа D.?—Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно! Но ты!.. С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..» —«Благодарю за дружеский совет,—прервал холодно Ибрагим,—но знаешь, пословицу: не твоя печаль чужих детей качать...»—«Смотри, Ибрагим,—отвечал смеясь Корсаков—чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле».

Но разговор в другой комнате становился горяч.—«Ты уморишь ее,—говорила старушка.—Она не вынесет его виду».—«Но посуди ты сама,—возражал упрямый брат.—Вот уж две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он, наконец, может

---

[1] <я бы послал к чорту>
[2] <слабой здоровьем.>
[3] <жеманницу.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

подумать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так три раза присылал спросить о здоровьи Натальи. Воля твоя—а я ссориться с ним не намерен».—«Господи боже мой,—сказала Татьяна Афанасьевна,—что с нею, бедной, будет? По крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению».—Гаврила Афанасьевич согласился, и возвратился в гостиную.

— Слава богу,—сказал он Ибрагиму,—опасность миновалась.—Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Ефграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту.

Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя.

Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришел. — Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все, весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли

Пушкинский кабинет ИРЛИ

потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку.

Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик подкатилась к ее кровати. Ласточка (так прозывалась карлица) во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилом Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку.

Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во всё, знала всё, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения 16-летнего своего сердца.

— Знаешь, Ласточка?—сказала она,—батюшка выдает меня за арапа.

Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более.

— Разве нет надежды,—продолжала Наташа,— разве батюшка не сжалится надо мною?

Карлица тряхнула чепчиком.

— Не заступятся ли за меня дедушка али тетушка?

— Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума, князь только им и бредит, а Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жениха грех нам и желать.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Боже мой, боже мой!—простонала бедная Наташа.

— Не печалься, красавица наша,—сказала карлица, целуя ее слабую руку.—Если уж и быть тебе за арапом, то всё же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину; мужья жен не запирают: арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная чаша, заживешь припеваючи...

— Бедный Валериан!—сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.

— То-то, барышня,—сказала она, таинственно понизив голос;—кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.

— Что?—сказала испуганная Наташа,—я бредила Валерианом? батюшка слышал, батюшка гневается!

— То-то и беда,—отвечала карлица. — Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего: уж покорись воле родительской, а что будет, то будет.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.

ГЛАВА VII

В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене

Пушкинский кабинет ИРЛИ

висел старый синий мундир и его ровесница, треугольная шляпа: над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картинка, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафроке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.

В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого росту, в мундире, вошел в комнату.

Удивленный швед встал тотчас.

— Ты не узнал меня, Густав Адамыч,—сказал молодой посетитель тронутым голосом,—ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты, стреляя из детской пушечки, чуть <не> наделал пожара в этой самой комнатке.

Густав Адамыч пристально всматривался...

— Эээ,—вскричал он наконец, обнимая его,— сдарофо, тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрый повес, погофорим.

. . . . . .

<1827—1828>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПОВЕСТИ
ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

Г-жа Простакова.
То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник.
Скотинин.
Митрофан по мне.

Недоросль.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора, и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но к сожалению ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

*Милостивый Государь мой ****!*

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, Милостивый Государь мой, всё, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышленый. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотной егерской полк (числом не упомню), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгой порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадца-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

типятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы, и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностию; но как по щетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел, и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и предал его дела (как и он сам) распоряжению Всевышнего.

Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны Иван Петрович оказывал

Пушкинский кабинет ИРЛИ

уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходствовали.

*Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может); к женскому же полу имел он великую склонность; но стыдливость была в нем истинно девическая *.*

*Кроме посестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частию у меня находятся, частию употреблены его ключницею на разные домашние потребы. Таким образом прошлою зимою все окна его флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ **. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околодка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.*

---

* Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает.

** В самом деле, в рукописи г. Белкина, над каждой повестию рукою автора надписано: слышано мною от *такой-то особы* (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: *Смотритель* рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., *Выстрел* подполковником И. Л. П., *Гробовщик* прикащиком Б. В., *Метель* и *Барышня* девицею К. И. Т.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как то мозолей, и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина, близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, Милостивый Государь мой, всё, что мог я припомнить, касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году Ноября 16.
Село Ненарадово.

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия, и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А. П.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ВЫСТРЕЛ

Стрелялись мы.
Баратынский

Я поклялся застрелить его по праву дуэли
(За ним остался еще мой выстрел).
Вечер на бивуаке.

I

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал от-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

крытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частию военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если

Пушкинский кабинет ИРЛИ

понтеру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уровнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным, и в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнел от злости и с сверкающими глазами сказал: «милостивый государь, извольте выти и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут; но чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой ваканции.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Это-было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-по-малу всё было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня: по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера, мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной воле, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия была полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему па-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

кет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа,—сказал им Сильвио,—обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас,—продолжал он, обратившись ко мне,—жду непременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись, каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Всё его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею: пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек, Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся,—сказал он мне;—перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

«Вам было странно,—продолжал он,—что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р ***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его».

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал:

«Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив».

Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались?—спросил я.—Обстоятельства верно вас разлучили?»

«Я с ним дрался,—отвечал Сильвио,—и вот памятник нашего поединка».

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью с галуном (то, что французы называют bonnet de police [1]); он ее надел; она была простреляна на вершок ото лба.

«Вы знаете,—продолжал Сильвио,—что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Б***<урцева>, воспетого Д<енисом>Д<авыдовы> м. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех был или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сме-

[1] <полицейская шапка>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

няемые, смотрели на меня, как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек, богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами.

Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, невпример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмеряли нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять пер-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. Вам, кажется, теперь не до смерти, сказал я ему, вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать. Вы ничуть не мешаете мне, возразил он, извольте себе стрелять, а впрочем как вам угодно; выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам. Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Нынче час мой настал...»

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо, и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

«Вы догадываетесь,—сказал Сильвио,—кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!»

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его непо-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

движно; странные, противоположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцаловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке N** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить весенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но как скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить клюшница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я-было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя*, т. е. самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседов около меня не было, кроме двух или трех *горьких*, коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б***; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Од-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца за два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село *** рекомендоваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным, я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую. «Вот хороший выстрел»,—сказал я, обращаясь к графу».—Да,—отвечал он,—выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете?» продолжал он.—«Изрядно,—отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета мне близкого.—В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов».—«Право?—сказала графиня, с видом большой внимательности;—а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?»—«Когда-нибудь,—отвечал граф,—мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета».—«О,—заметил я,—в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки». Граф и графиня рады были, что я разговорился. «А каково стрелял

Пушкинский кабинет ИРЛИ

он?» спросил меня граф.—«Да вот как, ваше сиятельство: бывало увидит он, села на стену муха: вы смеетесь графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавит муху в стену!»—«Это удивительно!—сказал граф;—а как его звали?»—«Сильвио, ваше сиятельство».—«Сильвио!—вскричал граф, вскочив со своего места;—вы знали Сильвио?»—«Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был, как свой брат-товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. Так, и ваше сиятельство стало быть знали его?»—«Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?»—«Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?»—«А сказывал он вам имя этого повесы?»—«Нет, ваше сиятельство, не сказывал... Ах! ваше сиятельство,—продолжал я догадываясь об истине,—извините... я не знал... уж не вы ли?...»—«Я сам,—отвечал граф, с видом чрезвычайно расстроенным,—а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи...»—«Ах, милый мой—сказала графиня,—ради бога не рассказывай; мне страшно будет слушать».—«Нет,—возразил граф,—я все расскажу; он знает, как я обидел его друга; пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил».—Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился.—Первый месяц, the honey moon [1], провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась,

[1] <медовый месяц>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?»—сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!»—закричал я, и признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. «Так точно,—продолжал он,—выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов, и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил—он спросил огня. Подали свечи.—Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. Жалею, сказал он, что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне всё кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целиться в безоруженного. Начнем сызнова; кинем жеребий, кому стрелять первому. Голова моя шла кругом...Кажется, я не соглашался... Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый нумер. Ты, граф, дьявольски счастлив, сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было, и каким образом мог он меня к тому принудить...но—я выстрелил, и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.)

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Я выстрелил, продолжал граф, и слава богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. Милая, сказал я ей, разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища. Маше всё еще не верилось. Скажите, правду ли муж говорит? сказала она, обращаясь к грозному Сильвио; правда ли, что вы оба шутите? Он всегда шутит, графиня, отвечал ей Сильвио; однажды дал он мне, шутя, пощечину, шутя простре́лил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне́ промах; теперь и мне пришла охота пошутить... С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. Встань, Маша, стыдно! закричал я в бешенстве; а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять, или нет? Не буду, отвечал Сильвио, я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести. Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика, и уехал, прежде чем успел я опомниться».

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

МЕТЕЛЬ

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокой.
. . . . . .
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом;
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...

Жуковский.

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всем округе гостеприимством и радушием; соседы поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые конечно будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников, и скажут им непременно: Дети! придите в наши объятия.

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать, удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были вытти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье... И она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головною болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать; сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцаловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась

Пушкинский кабинет ИРЛИ

слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Всё было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслися и стучали; всё казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял возжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах, и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнию. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего на-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею; Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались.—Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи всё было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился; начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы, да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их поднимал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он

Пушкинский кабинет ИРЛИ

поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-по-малу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?»—«Далеко ли Жадрино?»—«Жадрино-то далеко ли?»—«Да, да! Далеко ли?»—«Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты ?» продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик,—сказал он,—достать мне лошадей до Жадрина?»—«Каки у нас лошади», отвечал мужик.—«Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно».—«Постой,—сказал старик, опуская ставень,—я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?»—«Что ж твой сын?»—«Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться».—«Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрыпели; парень вышел с дубиною, и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?», спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет», отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную, Гаврила Гаврйлович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче, и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» спросил Гаврила Гаврилович.—«Лучше, папенька», отвечала Маша.—«Ты верно, Маша, вчерась угорела», сказала Прасковья Петровна.—«Может быть, маменька», отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и не даром. Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и в хмелю. Таким образом тайна была сохранена более, чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама, в беспрестанном бреду, высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что вероятно любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседами, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастие: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священною для Маши; по крайней мере она берегла все, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседы, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностию этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: Vive Henri-Quatre [1], тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное!

[1] <Да здравствует Генрих четвертый!>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове Отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они *ура!*

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в ***губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна всё попрежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с *интересной бледностию*, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но Поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non è, che dunche... [1]

[1] <Если это не любовь, так что же это?>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Бурмин был, в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно и он, с своим умом и опытностью, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственно тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию, и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседы говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Пет-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гра-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду,—отвечала старушка,—подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов, Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю,—сказал Бурмин,—я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St. Preux.) «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...»—«Она всегда существовала,—прервала с живостию Марья Гавриловна,—я никогда не могла быть вашею женою...»—«Знаю,—отвечал он ей тихо,—знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая милая Марья Гавриловна!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но—я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

«Я женат,—продолжал Бурмин;—я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!»

«Что вы говорите?—воскликнула Марья Гавриловна;—как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость».

«В начале 1812 года,—сказал Бурмин,—я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?—сказал мне кто-то;—невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу,—сказала эта,—насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?»—«Начинайте, начинайте, батюшка», отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна... Непонятная, непростительная ветренность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцалуйтесь», сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцаловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: пошел!

«Боже мой!—закричала Марья Гавриловна;—и вы не знаете, что сделалось с бедною вашею женою?»

«Не знаю,—отвечал Бурмин,—не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так, что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена».

«Боже мой, боже мой!—сказала Марья Гавриловна, схватив его руку;—так это были вы! И вы не узнаете меня?»

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ГРОБОВЩИК

Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?

Державин.

Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается в наймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течение осьмнадцати лет всё было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность, и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился; кивот с образами, шкап с посудою, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изобра-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

жающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке, с подписью: «здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные, также отдаются на прокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу, Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностию сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру, и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтоб журить своих дочерей, когда заставал их без дела глазеющих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастие (а иногда и удовольствие) в них нуждаться. И так Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь. «Кто там?»—

Пушкинский кабинет ИРЛИ

спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приблизился к гробовщику. «Извините, любезный сосед,—сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доныне слышать не можем,—извините, что я вам помешал... я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек.—Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски».—Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и, благодаря открытому нраву Готлиба Шульца, вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует ваша милость?» спросил Адриан.—«Эх-хе-хе,—отвечал Шульц,—и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть конечно мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет».—«Сущая правда,—заметил Адриан;—однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб». Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю однако ж не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частию немцами ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою; как почталион Погорельского. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серенькая с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около нее *с секирой и в броне сермяжной*. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот: иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обедая с гостями все вместе, угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриан ему не уступал; дочери его чинились; разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцаловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку— и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием, и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем, unserer Kundleute!» [1] Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику, и так далее. Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить, и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком сафьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая, в сем случае, русскую пословицу: долг платежем красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что ж это, в самом деле,—рассуждал он вслух,—чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане? разве гробовщик гаэр святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой; ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных».—«Что ты, батюшка?—сказала работница, которая в это время разувала его;—что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Экая страсть!»—«Ей богу, созову,—продолжал Адриан,—и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать; угощу, чем бог послал». С этим

[1] <наших клиентов.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция, и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. Около нее теснились родственники, соседы и домашние. Все окна были открыты; свечи горели; священники читали молитвы.—Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побожился, что лишнего не возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру всё сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи.—Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся. «Что бы это значило?—подумал Адриан.—Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!» И гробовщик думал уже кликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще прибли-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

зился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне,—сказал запыхавшись Адриан:—войдите же, сделайте милость».—«Не церемонься, батюшка,—отвечал тот глухо;—ступай себе вперед; указывай гостям дорогу!» Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина!» подумал он, и спешил войти... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы... Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров,—сказал бригадир от имени всей честной компании;—все мы поднялись на твое приглашение; остались дома только те, которым уже не в мочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел—так хотелось ему побывать у тебя...» В эту минуту, маленький скелет продрался сквозь толпу и приблизился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светлозеленого и красного сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, как на

Пушкинский кабинет ИРЛИ

шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров,— сказал скелет.—Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб— и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия—но Адриан, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор, и объявила о последствиях ночных приключений.

— Как ты заспался, батюшка, Адриан Прохорович,—сказала Аксинья, подавая ему халат.—К тебе заходил сосед портной, и здешний будочник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить.

— А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?

— Покойницы? Да разве она умерла?

— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?

— Что ты, батюшка, не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какии были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

воротился пьян, завалился в постелю да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили.

— Ой ли!—сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так,—отвечала работница.

— Ну, коли так, давай скорей чаю, да позови дочерей.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.
Князь Вяземский.

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подъячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем однако справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить об них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покоя ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут—а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного

Пушкинский кабинет ИРЛИ

гостя; но если не случится лошадей?.. Боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенской мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через пять минут—колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!.. Вникнем во всё это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени: покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного их них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проез-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

жать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай?* Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня!—закричал смотритель,—поставь самовар, да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» спросил я смотрителя.—«Дочка-с,—отвечал он с видом довольного самолюбия; — да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу; блудный сын стоит на коленах; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Всё это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне всё не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцаловать: Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцалуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции*** с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом: мой приезд разбудил его, он привстал... Это был точно Симеон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину—и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?—спросил я его;—мы с тобою старые знакомые».—«Может статься,—отвечал он угрюмо;—здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало».—«Здорова ли твоя Дуня?» продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает», — отвечал он.—«Так видно она замужем?»—сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил, или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню?—начал он.—Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка то была! Бывало, кто ни проедет, всякой похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только, чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожиться; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе.—Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, и дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таким сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но возвратясь, нашел он молодого человека, почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе, и охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы, и всякой раз, возвращая кружку, в знак благодарности, слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие, и что дня через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оживился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро

Пушкинский кабинет ИРЛИ

наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довезти ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Чего же ты боишься?—сказал ей отец;—ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест; прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь; священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветренности молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастия; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гу-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностию, но он нимало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось,—думал смотритель,—приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает, и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие!— продолжал старик,—что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну».—«Что сделано, того не воротишь,—сказал молодой человек в крайнем замешательстве;—виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она—вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пятидесятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал каблуком, и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... Но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «пошел!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего, дня через два, воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней, и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял—да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поровнявшись с кучером:—«Чья, брат, лошадь?—спросил

Пушкинский кабинет ИРЛИ

он,—не Минского ли?»—«Точно так,—отвечал кучер,—а что тебе?»—«Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет».—«Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее».—«Нужды нет,—возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца,—спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Симеоновна?»—спросил он. «Здесь,—отвечала молодая служанка,—зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя!—закричала вслед ему служанка.—У Авдотьи Симеоновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате прекрасно-убранной Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностию смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?»—спросила она, не поднимая головы. Он всё молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее поднимать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно?—сказал он ему, стиснув зубы;—что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» и сильной рукой схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. Через два дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год,—заключил он,—как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей могилы...»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжение своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцаловала

Пушкинский кабинет ИРЛИ

меня бедная Дуня) вышла толстая баба, и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром.—«От чего ж он умер?»—спросил я пивоварову жену.—«Спился, батюшка»,—отвечала она.—«А где его похоронили?»—«За околицей, подле покойной хозяйки его».—«Нельзя ли довести меня до его могилы?»—«Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителеву могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

— Знал ты покойника?—спросил я его дорогой.

— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!) идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!»—а он нас орешками наделяет. Всё бывало с нами возится.

— А проезжие вспоминают ли его?

— Да ныне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

— Какая барыня?—спросил я с любопытством.

— Прекрасная барыня,—отвечал мальчишка;—ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром—такая добрая барыня!..—

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не

Пушкинский кабинет ИРЛИ

осененными не единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.

— Вот могила старого смотрителя,—сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом.

— И барыня приходила сюда?—спросил я.

— Приходила,—отвечал Ванька;—я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром—славная барыня!—

И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.
Богданович

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню, и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время, как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход, и ничего не читал, кроме Сенатских Ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Это был настоящий русской барин. Промотав в Москве большую часть имения своего, и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он англий-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе;

Но на чужой манер хлеб русский не родится

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунской Совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа, и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с!—говорил он с лукавой усмешкою:—у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседов, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего Зоила медведем и провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Алексей был, в самом деле, молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того, чтоб рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседы говорили согласно, что из него никогда не выдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иногда и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.*

Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближайший город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями; но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: *особенность характера*, *самобытность* (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд и не во осуждение,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

однако ж Nota nostra manet [1], как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Всё это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала за то две тысячи рублей, и умирала со скуки в этой варварской России.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

— Позвольте мне сегодня пойти в гости,—сказала однажды Настя, одевая барышню.

— Изволь; а куда?

— В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена

[1] <Замечание наше остается в силе.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.

— Вот!—сказала Лиза,—господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.

— А нам какое дело до господ!—возразила Настя;—к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело.

— Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна,—сказала она, входя в комнату,—видела молодого Берестова; нагляделась довольно; целый день были вместе».

— Как это? Расскажи, расскажи по порядку.

— Извольте-с: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...

— Хорошо, знаю. Ну потом.

— Позвольте-с, расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...

— Ну! а Берестов?

— Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...

— Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!

— Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное блан-манже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола, и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.

— Ну что ж? Правда ли, что он так хорош собою?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...

— Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?

— Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.

— С вами в горелки бегать! Невозможно!

— Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!

— Воля твоя, Настя, ты врешь.

— Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.

— Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?

— Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!

— Это удивительно! А что в доме про него слышно?

— Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно не хорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: современем остепенится.

— Как бы мне хотелось его видеть!—сказала Лиза со вздохом.

— Да что же тут мудреного? Тугилово от нас не далеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону, или поезжайте верхом; вы верно встретите его. Он же всякой день, рано по утру, ходит с ружьем на охоту.

— Да нет, не хорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

— И в самом деле; наденьте толстую рубашку, са-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

рафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.

— А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка!— И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову, и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, на подобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камешки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шопотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой

Пушкинский кабинет ИРЛИ

встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная, почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-по-малу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностию определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная лягавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: tout beau, Sbogar, ici... [1] и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая,—сказал он Лизе:—собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испуга, и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин,—сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой,—боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься,—сказал он ей;—ты мне позволишь итти подле себя?»—«А кто те мешает?—отвечала Лиза;—вольному воля, а дорога мирская».—«Откуда ты?»—«Из Прилучина; я дочь Василья кузнеца, иду по грибы.» (Лиза несла кузовок на веревочке). «А ты, барин? Тугиловский, что ли?»—«Так точно,—отвечал Алексей,—я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уровнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь,—сказала она,—не на дуру напал. Вижу, что ты сам

[1] <Тубо. Сбогар, сюда.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

барин».—«Почему же ты так думаешь?»—«Да по всему».—«Однако ж?»—«Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгой и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями,—сказала она с важностию,—то не извольте забываться».—«Кто тебя научил этой премудрости?—спросил Алексей, расхохотавшись.—Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь?—сказала она;—разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагляделась. Однако,—продолжала она,—болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться. Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя».—«Акулиной,—отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой;—да пусти ж, барин; мне и домой пора».—«Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью кузнецу».—«Что ты?—возразила с живостию Лиза,—ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти».—«Да я непременно хочу с тобою опять видеться».—«Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами».—«Когда же?»—«Да хоть завтра».—«Милая Акулина, расцаловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?»—«Да, да».—«И ты не обманешь

Пушкинский кабинет ИРЛИ

меня»?—«Не обману».—«Побожись».—«Ну вот те святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее,—сказал он,—как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог итти отыскивать в селе дочь Василья кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к ме-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Всё это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил всё свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово,—сказала она наконец,—что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мною свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы,—сказала Лиза,—довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписа-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ния странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, и так я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между ним и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень), Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь

Пушкинский кабинет ИРЛИ

хорошею погодою, велел оседлать кудую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно б, он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего: Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется *господам* по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянной закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренно доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под устцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Соседы, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?—сказала она с удивлением;—отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?»—«Вот уж не угадаешь, my dear»[1], отвечал ей Григорий Иванович, и рассказал всё, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите!—сказала она, побледнев.—Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь».—«Что ты, с ума сошла?—возразил отец:—давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...»—«Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и прави-

[1] <моя дорогая>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

лах, о ее благоразумии? С другой стороны Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, всё ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа,—отвечала Лиза,—я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия».—«Опять какие-нибудь проказы!—сказал смеясь Григорий Иванович.—Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словами он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатилась около густозеленого дернового круга. Старый Берестов взошел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом, и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседов как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренно жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: ста-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

рики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась; он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностию, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастию, вместо Лизы, вошла старая мисс Жаксон, набеленая, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексеево пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава á limbécile[1] торчали как фижмы у Madame de Pompadour; талия была перетянута, как буква икс, и все брилианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и

[1] <Рукава, пышные у плеча и узкие у кисти.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вида удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белилы были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя всё это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?—спросил он Лизу.— А знаешь ли что? Белилы право тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться; разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч. и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцаловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечор у наших господ?—сказала она тотчас Алексею;—какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», возразила Лиза.—«А почему же?» спросил Алексей.—«А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...»—«Что же говорят?»—«Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа?»—«Какой вздор! Она перед тобой урод уродом».—«Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею ровняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж,—сказала она со вздохом,—хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дура безграмотная».—«И!—сказал Алексей,—есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте».—«А взаправду,—сказала Лиза,—не попытаться ли и в самом деле?»—«Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо!—говорил Алексей.—Да у нас учение идет скорее, чем по Ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность поч-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

талиона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма, и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича всё его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкой родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович) вероятно обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали всё это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня вся-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

кой день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время всё сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарской мундир уже тебя не прельщает!» — «Нет, батюшка, — отвечал почтительно Алексей,—я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары: мой долг вам повиноваться».—«Хорошо,—отвечал Иван Петрович,—вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

— На ком это, батюшка?—спросил изумленный Алексей.

— На Лизавете Григорьевне Муромской,—отвечал Иван Петрович;—невеста хоть куда; не правда ли?

— Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.

— Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.

— Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.

— После понравится. Стерпится, слюбится.

— Я не чувствую себя способным сделать ее счастие.

— Не твое горе ее счастие. Что? так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро!

— Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.

— Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у не-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

го и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами, пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявил ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?»—спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет,—отвечал слуга;—Григорий Иванович с утра изволил выехать».—«Как досадно!» подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?»—«Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею, и пошел без доклада.

«Всё будет решено,—думал он, подходя к гостиной;—объяснюсь с нею самою».—Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет, Акулина, милая, смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела

Пушкинский кабинет ИРЛИ

убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «Mais laissez-moi donc, Monsieur; mais êtes-vous fou?»[1]—повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!»—повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

«Ага!—сказал Муромский,—да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...»

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

Конец повестям И. П. Белкина.

<1830—1831>

[1] <Оставьте меня, сударь; вы с ума сошли?>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА

Если бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно узнать, каким образом решился я написать Историю села Горюхина. Для того должен я войти в некоторые предварительные подробности.

Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года апреля 1 числа и первоначальное образование получил от нашего дьячка. Сему-то почтенному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотою к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на десятом году от роду я знал уже почти всё то, что поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой и которую по причине столь же слабого здоровья не дозволяли мне излишне отягощать.

Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые, незамеченные красоты. После

Пушкинский кабинет ИРЛИ

генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично, на все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что твердо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его, как некоего древнего полубога; иногда я даже сомневался в истине его существования. Имя его казалось мне вымышленным, и предание о нем пустою мифою, ожидавшею изыскания нового Нибура. Однако же он всё преследовал мое воображение, я старался придать какой-нибудь образ сему таинственному лицу, и наконец решил, что должен он был походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка, с красным носом и сверкающими глазами.

В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейера—где пробыл я не более трех месяцев, ибо нас распустили перед вступлением неприятеля—я возвратился в деревню. По изгнании двухнадесяти языков, хотели меня снова везти в Москву посмотреть, не возвратился ли Карл Иванович на прежнее попелище или, в противном случае, отдать меня в другое училище, но я упросил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье мое не позволяло мне вставать с постели в 7 часов, как обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом достиг я 16-летнего возраста, оставаясь при первоначальном моем образовании и играя в лапту с моими потешными, единственная наука, в коей приобрел я достаточное познание во время пребывания моего в пансионе.

В сие время определился я юнкером в ** пехотный полк, в коем и находился до прошлого 18... года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных впечатлений кроме производства в офицеры и выигры-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ша 240 рублей в то время, как у меня в кармане всего оставалося рубль 6 гривен. Смерть дражайших моих родителей принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину.

Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней распространиться, заранее прося извинения у благосклонного читателя, если во зло употреблю снисходительное его внимание.

День был осенний и пасмурный.—Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино—нанял я вольных и поехал проселочною дорогой.—Хотя я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика, то обещая ему на водку, то угрожая побоями, и как удобнее было мне толкать его в спину, нежели вынимать и развязывать кошелек, то, признаюсь, раза три и ударил его, что от роду со мною не случалось, ибо сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня в особенности любезно.—Ямщик погонял свою тройку, но мне казалось, что он, по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом, всё-таки затягивал гужи.—Наконец, завидел горюхинскую рощу; и через 10 минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось—я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 8 лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками—меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком,—теперь обращен был в некошенный луг, на котором паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца.—Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были открыты и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого мне надобно. Уз-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нав, что барин приехал, она снова побежала в избу, и вскоре дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица—и дружески со всеми ими целуясь: мои потешные мальчишки были уж мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: «Как ты постарела»—мне отвечали с чувством—«Как вы-то, батюшка, подурнели».—Повели меня на заднее крыльцо, навстречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, ныне в бездействии отростивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед или ужин—ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки, и я очутился в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23 года тому родился.

Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого роду—я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками.—Наконец принял я наследство и был введен во владение отчиной.—Я успокоился, но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был еще знаком с добрым и почтенным соседом моим **. Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведенной мною в ключницы и управительницы, состояли счетом из 15 домашних анекдотов, весьма для меня любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для меня другим *новейшим письмовником*, в котором я знал, на какой странице какую найду строчку.—Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой, между всякой рухлядью, в жалком состоянии.—Я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для

Пушкинский кабинет ИРЛИ

меня прежнюю свою прелесть, я прочел его еще раз и больше уже не открывал.

В сей крайности пришло мне на мысль: не попробовать ли самому что-нибудь сочинить? Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до шестнадцати лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жидами да с маркитантами, играя на ободранных биллиардах и маршируя в грязи.

К тому же, быть сочинителем казалось мне так мудрено, так недосягаемо нам, непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает мне случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности.

В 1820 году еще юнкером случилось мне быть по казенной надобности в ПБ. Я прожил в нем неделю и, несмотря на то, что не было там у меня ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело: каждый день тихонько ходил я в театр, в галлерею 4-го яруса.—Всех актеров узнал по имени и страстно влюбился в **, игравшую с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме *Ненависть к людям и раскаяние*. Утром, возвращаясь из Главного Штаба, заходил я обыкновенно в низенькую конфетную лавку и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды сидел я углубленный в критическую статью *Благонамеренного;* некто в гороховой шинеле ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок Гамбурской Газеты. Я так был занят, что не поднял и глаз. Незнако-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мый спросил себе бифштексу и сел передо мною; я всё читал, не обращая на него внимания; он между тем позавтракал, сердито побранил мальчика за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел.— Двое молодых людей тут же завтракали. «Знаешь ли, кто это был?—сказал один другому: — Это Б., сочинитель». — Сочинитель! — воскликнул я невольно,—и, оставя журнал недочитанным и чашку недопитою, побежал расплачиваться и, не дождавшися сдачи, выбежал на улицу. Смотря во все сторны, увидел я издали гороховую шинель и пустился за нею по Невскому проспекту—только что не бегом. Сделав несколько шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают—оглядываюсь, гвардейский офицер заметил мне, что-де мне следовало б не толкнуть его с тротуара, но скорее остановиться и вытянуться. После сего выговора я стал осторожнее; на беду мою, поминутно встречались мне офицеры, я поминутно останавливался, а сочинитель всё уходил от меня вперед. От роду моя солдатская шинель не была мне столь тягостною—от роду эполеты не казались мне столь завидными; наконец у самого Аничкина моста догнал я гороховую шинель. «Позвольте спросить,—сказал я, приставя ко лбу руку,—вы г. Б., коего прекрасные статьи имел я счастие читать в Соревнователе Просвещения?»—Никак нет-с,—отвечал он мне,—я не сочинитель, а стряпчий; но ** мне очень знаком: четверть часа тому я встретил его у Полицейского мосту.—Таким образом уважение мое к русской литературе стоило мне 30 копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста—а всё даром.

Несмотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем бы

Пушкинский кабинет ИРЛИ

то ни было. Все роды поэзии (ибо о смиренной прозе ея еще не помышлял) были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из Отечественной Истории.—Не долго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика—и принялся за работу.

К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно: *Опасного Соседа*, *Критику на Московский Бульвар*, *на Пресненские пруды* и т. под. Несмотря на то, поэма моя подвигалась медленно, и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род, и начал трагедию Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу—но и баллада как-то мне не давалась. Наконец вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика.

Несмотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого стихотворца, однако ж я почувствовал, что я не рожден поэтом, и довольствовался сим первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уже не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей.— Я хотел низойти к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и т. под., я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, без всякого порядка, в том виде, как они мне станут представляться. К несчастию, мысли не приходили мне в голову—и в целые 2 дня надумал я только следующее замечание:

Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию.

Мысль, конечно, справедливая, но уже не новая. Оставя мысли, принялся я за повести, но, не умея

Пушкинский кабинет ИРЛИ

с непривычки расположить вымышленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостью рассказа, а иногда и цветами собственного воображения. Составляя сии повести, мало-по-малу образовал я свой слог и приучился выражаться правильно, приятно и свободно.—Но скоро запас мой истощился, и я стал опять искать предмета для литературной моей деятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий давно тревожила мое воображение. Быть судиею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшей степенью, доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностью, где бы не предупредили меня многоученые, добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ль писать историю всемирную—но разве не существует уже бессмертный труд аббата Милота? Обращусь ли к истории отечественной, что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова? И мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшалого языка, когда не мог я выучиться славянским цыфрам? Я думал об истории меньшего объема, напр. об истории губернского нашего города; но и тут сколько препятствий для меня неодолимых! Поездка в город, визиты к губернатору и к архиерею, просьба о допущении в архивы и монастырские кладовые и проч. История уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика, и представляла мало пищи красноречию. *** был переименован в город в 17** году, и единственное замечательное присшествие, сохранившееся в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся 10 лет тому назад—и истребивший базар и присутственные места.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь дом знал охоту мою к чтению. — Ключница моя, в то самое время, как я, сидя за моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством втащила корзину в мою комнату, радостно воскликнула: «книги! книги!»—Книги!—повторил я с восторгом и бросился к корзине. В самом деле, я увидел целую груду книг в зеленом и синем бумажном переплете—это было собрание старых календарей. Сие открытие охладило мой восторг, но всё я был рад нечаянной находке: всё же это были книги, и я щедро наградил усердие прачки полтиною серебром.

Оставшись наедине, я стал рассматривать свои календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, т. е. ровно 55 лет. Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком. Брося взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они заключали не только замечания о погоде и хозяйственные счеты, но также и известия краткие исторические касательно села Горюхина. Немедленно занялся я разбором драгоценных сих записок и вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом порядке. Сверх сего заключали они неистощимый запас экономических, статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор изучение сих записок заняло меня исключительно — ибо увидел я возможность извлечь из них повествование стройное, любопытное и поучительное.—Ознакомясь довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников Истории села Горюхина. И вскоре обилие оных изумило меня. Посвятив целые шесть месяцев на

Пушкинский кабинет ИРЛИ

предварительное изучение, наконец приступил я к давно желанному труду—и с помощью божиею совершил оный сего ноября 3 дня 1827 года.

Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню, оконча свой трудный подвиг, кладу перо и с грустию иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг исполнен и что пора мне опочить!

Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к составлению Истории Горюхина:

1) Собрание старинных календарей *54 части*. Первые 20 частей исписано старинным почерком с титлами. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным. Они отличаются ясностию и краткостию слога: например: 4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6—корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8—погода ясная. 9—дождь и снег. Тришка бит по погоде. 11—погода ясная. Пороша; затравил 3 зайцев, и тому подобное, безо всяких размышлений...—Остальные 35 частей писаны разными почерками, большею частию так называемым *лавочничьим* с титлами и без титлов, вообще плодовито, несвязано и без соблюдения правописания. Кой-где заметна женская рука. В сие отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супруги, Евпраксии Алексеевны—также и записки приказчика Горбовицкого.

2) Летопись горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего попа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

как заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи—к счастию успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречием необыкновенным.

3) Изустные предания. — Я не пренебрегал никакими известиями. Но в особенности обязан Аграфене Трифоновой, матери Авдея старосты, бывшей, говорят, любовницею приказчика Горбовицкого.

4) Ревижские сказки, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные книги) касательно нравственности и состояния крестьян.

Страна по имени столицы своей Горюхиным называемая занимает на земном шаре более 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дериуховом и Перкуховом, коего обитатели бедны, тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению зайчей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений Карачевских вольных хлебопашцев—соседей беспокойных, известных буйной жестокостию нравов. К западу облегают ее цветущие поля Захарьинские, благоденствующие под властью мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразно кваканье лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса.

№. Сие болото и называется *Бесовским*. Рассказывают, будто бы полоумная пастушка стерегла стадо свиней недалече от сего уединенного места. Она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глас народный обвинил болотного беса,—но сия сказка недостойная

Пушкинский кабинет ИРЛИ

внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить.

Издревле Горюхино славилось своим плодородием и благорастворенным климатом.—Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его нивах.—Березовая роща и еловый лес снабжают обитателей деревами и валежником на построение и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и чернике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве; сжаренные в сметане представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы.

Обитатели Горюхина большею частию росту среднего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностию.

NB. *Баба здоровенная*, сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к Ревижским сказкам.

Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашне), храбры, воинственны: многие из них ходят одни на медведя и славятся в околодке кулачными бойцами; все вообще склонны к чувственному наслаждению пиянства. Женщины сверх домашних работ разделяют с мужчинами большую часть их трудов; и не уступят им в отважности, редкая из них боится старосты. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе, и называются *копейщицами* от словенского слова *копье)*. Главная обязанность копейщиц—как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем устрашать злоумышление. Они столь же целомудренны, как и прекрасны; на покушения дерзновенного отвечают сурово и выразительно.

Жители Горюхина издавна производят обильный

Пушкинский кабинет ИРЛИ

торг лыками, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весною переправляются они на челноках, подобно древним скандинавам, а прочее время года переходят в брод, предварительно засучив портки до колен.

Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разнится от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями— некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими. Однако ж россиянину легко понять горюхинца и обратно.

Мужчины женились обыкновенно на 13-м году на девицах 20-летных. Жены били своих мужей в течение 4 или 5 лет. После чего мужья уже начинали бить жен; и таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено.

Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти покойника относили на кладбище—дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От сего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая— «Свет-моя удалая головушка! на кого ты меня покинул? чем-то мне тебя поминати?» При возвращении с кладбища начиналася тризна в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны 2—3 дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранилися и поныне.

Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимою носили они овчинный тулуп, но более для красы, нежели из настоящей нужды—ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, требующем движения.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Науки, искусства и поэзия издревле находились *в Горюхине в довольно цветущем состоянии.*—Сверх священника и церковных причетников, всегда водились в нем грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою.—Сей необыкновенный человек прославился в околодке сочинением всякого рода писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. п. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучался писать правою ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как читатель увидит, важную роль и в истории Горюхина.

Музыка была всегда тоже любимое искусство образованных горюхинцев; балалайка и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла.

Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. Доныне стихотворения Архипа-Лысого сохранились в памяти потомства.

В нежности не уступят они эклогам известного Виргилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостью и остроумием.

Приведем в пример сие сатирическое стихотворение:

Ко боярскому двору
Антон староста идет, (2)
Бирки в пазухе несет, (2)
Боярину подает,
А боярин смотрит,
Ничего не смыслит.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Ах ты, староста Антон,
Обокрал бояр кругом,
Село по миру пустил,
Старостиху надарил.

Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию.

Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властью старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиками, и наконец непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования.

БАСНОСЛОВНЫЕ ВРЕМЕНА—СТАРОСТА ТРИФОН

Основание Горюхина и первоначальное население оного покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оного были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких возах. В то время всё покупали дешево, и дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сапогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее время цветами своего воображения. Вот что достоверно:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемом.

Но в течение времени и родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек—и требовали прежнего полного дохода от имения, в десять крат уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их на вече; старшины витийствовали, мир волновался,—а господа, вместо двойного оброку, получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом.

Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В последний год властвования Трифона, последнего старосты, народом избранного, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание (кабаком в просторечии именуемое) или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа-Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, заложенная парою кляч, едва живых; на козлах сидел оборванный жид—а из брички высунулась голова в картузе и, казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. (NB. Свернув трубкою воскрия одежд, безумцы глумились над еврейским возницею и восклицали смехотворно; «Жид, жид, ешь свиное ухо!..» *Летопись горюхинского дьячка).* Но сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в

Пушкинский кабинет ИРЛИ

увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки.—Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли неподалеку, спящего в переулке под забором—и привели к незнакомцу по просыпе. Но или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы письма, четко написанного, показались ему отуманенными—и он не был в состоянии их разобрать.—Незнакомец, с ужасными проклятиями отослав старосту Трифона и земского Авдея спать, отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленький чемодан.

Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшествие; но вскоре бричка, жид и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело—и Горюхино заснуло, не предвидя, что ожидало его.

С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошки с призыванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служившей вечевою площадию. Глаза их были мутны и красны, лица опухлы; они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы,—и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста и земский Авдей стояли подле него без шапки с видом подобострастия и глубокой горести.—«Все ли здесь»?—спросил незнакомец.—«Все ли-ста здесь?»—повторил староста.—«Все-ста»,—отвечали граждане. Тогда староста объявил, что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание мира. Авдей выступил и громогласно прочел

Пушкинский кабинет ИРЛИ

следующее. (NB. «Грамоту грозновещую сию списах я у Трифона старосты, у него же хранилася она в кивоте вместе с другими памятниками владычества его над Горюхиным». Я не мог сам отыскать сего любопытного письма.)

Трифон Иванов!

Вручитель письма сего, поверенный мой **, едет в отчину мою село Горюхино для поступления в управление оного. Немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно: Приказаний поверенного моего ** им, мужикам, слушаться как моих собственных. А всё, чего он ни потребует, исполнять беспрекословно, в противном случае имеет он ** поступать с ними со всевозможною строгостию. К сему понудило меня их бессовестное непослушание, и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство.

Подписано NN.

Тогда **, растопыря ноги на подобие буквы хера и подбочась на подобие ферта, произнес следующую краткую и выразительную речь: «Смотрите ж вы у меня, не очень умничайте—вы, я знаю, народ избалованный; да я выбью дурь из ваших голов, небось, скорее вчерашнего хмеля». Хмеля ни в одной голове уже не было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы—и с ужасом разошлись по домам.

ПРАВЛЕНИЕ ПРИКАЗЧИКА **

** принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы, она заслуживает особенного рассмотрения.

Главным основанием оной была следующая аксиома: Чем мужик богаче, тем он избалованнее—чем беднее, тем смирнее. Вследствие сего ** старался

Пушкинский кабинет ИРЛИ

о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. 1) Недоимки были разложены на самых зажиточных мужиков и взыскаемы с них со всевозможною строгостию.—2) Недостаточные и праздполюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню—если же по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатив сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю; ибо от оного по очереди откупались все богатые мужики, пока наконец выбор не падал на негодяя или раззоренного [1]. Мирские сходки были уничтожены.—Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того, завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В 3 года Горюхино совершенно обнищало.

Горюхино приуныло, базар запустел, песни Архипа-Лысого умолкли. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках; ребятишки пошли по миру—и день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.

<1830—1831>

---

[1] «Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в железы—старик Тимофей сына откупил за 100 рублей; а приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того откупил отец за 68 р. и хотел окаянный сковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес—и приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах,—а отвезли в город и отдали в рекруты Ваньку пьяницу».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

<«РОСЛАВЛЕВ»>

Отрывок из неизданных записок дамы.

Читая «Рославлева», с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном. Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести. Он вновь обратил внимание публики на происшествие забытое, разбудил чувства негодования, усыпленные временем, и возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницею тени,— и читатель извинит слабость пера моего, уважив сердечные мои побуждения. Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги.

Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не стану описывать первых моих впечатлений. Легко можно себе вообразить, что должна была чувствовать шестнадцатилетняя девушка, променяв антрсоли и учителей на беспрерывные балы. Я предавалась вихрю веселия со всею живостию моих лет и еще не размышляла... Жаль: тогдашнее время стоило наблюдения.

Между девицами, выехавшими вместе со мною, отличалась княжна ** (г. Загоскин назвал ее Полиною, оставлю ей это имя). Мы скоро подружились вот по какому случаю.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Брат мой, двадцатидвухлетний малой, принадлежал сословию тогдашних франтов; он считался в Иностранной Коллегии и жил в Москве, танцуя и повесничая. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизить наши домы. Брат был идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что хотел.

Сблизясь с Полиною из угождения к нему, вскоре я искренне к ней привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще не понимала ее, а уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями.

Отец Полины был заслуженный человек, т. е. ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем был ветрен и прост. Мать ее была, напротив, женщина степенная и отличалась важностию и здравым смыслом.

Полина являлась везде; она окружена была поклонниками; с нею любезничали,—но она скучала, и скука придавала ей вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это правильное и скучающее лицо.

Полина чрезвычайно много читала, и без всякого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был у ней. Библиотека большею частью состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность, от Монтескьё до романов Кребильйона, была ей знакома. Руссо она знала наизусть. В библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую печать, и вероятно ничего по-русски не читала, не исключая и стишков, поднесенных ей московскими стихотворцами.—

Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже, слава богу, лет тридцать как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем, и не умеем

Пушкинский кабинет ИРЛИ

(будто бы) изъясняться на отечественном языке. (NB Автору «Юрия Милославского» грех повторять пошлые обвинения. Мы все прочли его, и, кажется, одной из нас обязан он и переводом своего романа на французский язык.) Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша кажется нестарее Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только «Историю Карамзина»; первые два или три романа появились два или три года назад: между тем как во Франции, Англии и Германии книги, одна другой замечательнее, следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговок, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток. Обращаюсь к моему предмету.

Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху историческую. Однако ж появление в Москве одной путешественницы оставило во мне глубокое впечатление. Эта путешественница— M-me de Staël. Она приехала летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нее, и были по большей части недовольны ею. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший M-me de Staël еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Тут увидела я сочинительницу Корины. Она сидела на первом месте облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою меру, и, казалось, были гораздо более довольны ухою князя, нежели беседою M-me de Staël. Дамы чинились. Те и другие только изредка прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской знаменитости. Во всё время обеда Полина сидела как на иголках. Внимание гостей разделено было между осетром и M-me de Staël. Ждали от нее поминутно bon mot [1]; наконец вырвалось у ней двусмыслие, и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, поднялся шопот удивления; князь был вне себя от радости. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. Гости встали из-за стола, совершенно примиренные с M-me de Staël: она сказала каламбур, который они поскакали развозить по городу.

«Что́ с тобою сделалось, ma chére? [2]—спросила я Полину,—неужели шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя смутить?»—Ах, милая,—отвечала Полина,—я в отчаянии! Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестя-

[1] <острое слово>
[2] <моя дорогая>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

щее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к увлекательному разговору высшей образованности. А здесь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течение трех часов! Тупые лица, тупая важность—и только! Как ей было скучно! Как она казалась утомленною! Она увидела, чего им было надобно, что̀ могли понять эти обезьяны просвещения, и кинула им каламбур. А они так и бросились! Я сгорела со стыда, я готова была заплакать... Но пускай,—с жаром продолжала Полина,—пускай она вывезет об нашей светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый простой народ и понимает его. Ты слышала, что̀ сказала она этому старому, несносному шуту, который, из угождения к иностраке, вздумал было смеяться над русскими бородами: «Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову». Как она мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее гонителя!

Не я одна заметила смущение Полины. Другие проницательные глаза остановились на ней в ту же самую минуту: черные глаза самой M-me de Staël. Не знаю, что подумала она, но только она подошла после обеда к моей подруге и с нею разговорилась. Через несколько дней M-me de Staël написала ей следующую записку:

Ma chère enfant, je suis toute malade. Il serait bien aimable à vous de venir me ranimer. Tâchez de l'obtenir de M-me votre mère et veuillez lui présenter les respects de votre amie.

de S. [1]

[1] <Мое дитя, я совсем больна. С вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы приехали оживить меня. Постарайтесь получить на то позволение вашей матушки и будьте так добры—засвидетельствуйте ей почтение подруги вашей де С.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объясняла мне своих сношений с M-me de Staël, несмотря на всё мое любопытство. Она была без памяти от славной женщины, столь же добродушной, как и гениальной.

До чего доводит охота к злословию! Недавно рассказывала я всё это в одном очень порядочном обществе. «Может быть, — заметили мне. — M-me de Staël была не что иное как шпион Наполеона, а княжна** доставляла ей нужные сведения». — Помилуйте,—сказала я,—M-me de Staël, десять лет гонимая Наполеоном, благородная, добрая M-me de Staël, насилу убежавшая под покровительство русского императора, M-me de Staël, друг Шатобриана и Байрона, M-me de Staël будет шпионом у Наполеона!..—«Очень, очень может статься,—возразила востроносая графиня Б. — Наполеон был такая бестия, а M-me de Staël претонкая штука!»

Все говорили о близкой войне, и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами.. К несчастию, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого Моста и тому подобным. Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко.

Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились про-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

стонародные листки графа Растопчина; народ ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули.

Гонители французского языка и Кузнецкого Моста взяли в обществах решительный верх и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок, кто отказался от лафита, а принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедывать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.

Полина не могла скрыть свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования. Такая проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. На бульваре, на Пресненских прудах, она нарочно говорила по-французски; за столом в присутствии слуг нарочно оспоривала патриотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности Наполеоновых войск, о его военном гении. Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее в приверженности ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай бог,—говорила она,—чтобы все русские любили свое отечество, как я его люблю». Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у ней такая смелость. «Помилуй, — сказала я однажды:— охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта». Глаза ее засверкали.—«Стыдись,—сказала она,—разве женщины не имеют отечества? Разве нет у них отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтоб нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет! Я знаю, какое влияние женщина может иметь на

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому присуждают нас. Посмотри на M-me de Staël. Наполеон боролся с нею, как с неприятельскою силой... И дядюшка смеет еще насмехаться над ее робостию при приближении французской армии! «Будьте спокойны, сударыня: Наполеон воюет против России, а не противу вас»... Да! если б дядюшка попался в руки французам, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но M-me de Staël в таком случае умерла бы в государственной темнице. А Шарлот Кордэ? А наша Марфа Посадница? А княгиня Д ** <ашкова>? Чем я ниже их? Уж верно не смелостию души и решительностию».—Я слушала Полину с изумлением. Никогда не подозревала я в ней такого жара, такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: «Il n'est de bonheur que dans les voies communes» [1].

Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел наконец и высшим обществом. Гостиные превратились в палаты прений. Все толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уж не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении. Полина бредила им. «Вы чем пожертвуете?» спросила она раз у моего брата.—«Я не владею еще моим имением,—отвечал мой повеса.—У меня всего на всё 30 000 долгу: приношу их в жертву на алтарь отечества». Полина рассердилась. «Для некоторых

---

[1] <Счастье только на путях обыкновенных.> Кажется, слова Шатобриана. *Примеч. Изд.*

Пушкинский кабинет ИРЛИ

людей,—сказала она,—и честь, и отечество, всё безделица. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низкая, чтоб позволить таким фиглярам притворяться перед нею в любви». Брат мой вспыхнул.—«Вы слишком взыскательны, княжна,— возразил он.—Вы требуете, чтобы все видели в вас M-me de Staël и говорили бы вам тирады из Корины. Знайте, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом отечества и его неприятелем».— С этим словом он отвернулся. Я думала, что они навсегда поссорились, но ошиблась: Полине понравилась дерзость моего брата, она простила ему неуместную шутку за благородный порыв негодования и, узнав через неделю, что он вступил в Мамоновской полк, сама просила, чтоб я их помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свою свадьбу до конца войны. На другой день брат мой отправился в армию.

Наполеон шел на Москву; наши отступали, Москва тревожилась; жители ее выбирались один за другим. Князь и княгиня уговорили матушку вместе ехать в их ** скую деревню.

Мы приехали в **, огромное село в 20-ти верстах от губернского города. Около нас было множество соседей, большею частию приезжих из Москвы. Всякой день все бывали вместе; наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма из армии приходили почти каждый день. Старушки искали на карте местечка *Бивак* и сердились, не находя его. Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме газет, Растопчинских афишек, и не открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коих понятия были ограничены, слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она

Пушкинский кабинет ИРЛИ

впала в глубокое уныние; томление овладело ее душой. Она отчаявалась в спасении отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла ее безнадежность, полиц<ейские> объявления графа Растопчина выводили ее из терпения.—Шутливый слог их казался ей верхом неприличия, а меры им принимаемые варварством нестерпимым. Она не постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своем ужасе, мысли, которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты и следуя за быстрыми движениями войск. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться во французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук. Мне не трудно было убедить ее в безумстве такого предприятия—но мысль о Шарлоте Кордэ долго ее не оставляла.

Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный; он только и думал, чтоб жить в деревне как можно более по московскому. Давал обеды, завел théâtre de société [1], где разыгрывались французские proverbes[2], и всячески старался разнообразить наши удовольствия. В город прибыло несколько пленных офицеров. Князь обрадовался новым лицам и выпросил у губернатора позволение поместить их у себя.

Их было четверо—трое довольно незначущие люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны, правда, выкупающие свою хвастливость почтенными своими ранами. Но четвертый был человек чрезвычайно примечательный.

Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему

---

[1] <домашний любительский театр]>
[2] <пословицы>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дому. Лицо его было приятно. Тон очень хороший. Мы тотчас отличили его. Ласки принимал он с благородной скромностию. Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег, и столько же беспокоило [французов], как ожесточало русских. «Но вы,—спросила его Полина:—разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора?»—Синекур (назову ж и его именем, данным ему г-м Загоскиным), Синекур, несколько помолчав, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа. Синекур признался, что устремление французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. «Кончен!—возразила Полина:—а Наполеон всё еще идет вперед, а мы всё еще отступаем!»—«Тем хуже для нас», отвечал Синекур, и заговорил о другом предмете.

Полина, которой надоели и трусливые предсказания, и глупое хвастовство соседей, жадно слушала суждения, основанные на знании дела и беспристрастии. От брата получала я письма, в которых толку невозможно было добиться. Они были наполнены шутками умными и плохими, вопросами о Полине, пошлыми уверениями в любви и проч. Полина, читая их, досадовала и пожимала плечами. «Признайся,—говорила она,—что твой Алексей препустой человек. Даже в нынешних обстоятельствах, с полей сражений, находит он способ писать ничего не значущие письма, какова же будет мне его беседа в течение тихой семейственной жизни?» Она ошибалась. Пустота братниных писем происходила не от его собственного ничтожества, но от предрассудка, впро-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чем, самого оскорбительного для нас. Он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются. Таковое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем.

Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем, у всякого было самое верное известие, всякой имел список убитым и раненым. Брат нам не писал. Мы чрезвычайно были встревожены. Наконец один из развозителей всякой всячины приехал нас известить о его взятии в плен, а между тем, пошепту объявил Полине о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена в брата моего и часто на него досадовала, но в эту минуту видела она в нем мученика, героя, и оплакивала втайне от меня. Несколько раз я заставала ее в слезах. Это меня не удивляло, я знала, какое болезненное участие принимала она в судьбе страждущего нашего отечества. Я не подозревала, что было еще причиной ее горести.

Однажды утром гуляла я в саду; подле меня шел Синекур; мы разговаривали о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества, и что ее красота сделала на него сильное впечатление. Я, смеясь, дала ему заметить, что положение его самое романическое...—В плену у неприятеля раненый рыцарь влюбляется в благородную владетельницу замка, трогает ее сердце и наконец получает ее руку.—«Нет,—сказал мне Синекур:—к яжна видит во мне врага России и никогда не согла ится оставить свое отечество». В эту минуту По ина показалась в конце аллеи, мы пошли к ней на встречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Москва взята», сказала <она> мне, не отвечая на поклон Синекура; сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Синекур молчал, потупя глаза.— «Благородные, просвещенные французы,—продолжала она голосом, дрожащим от негодования,— ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву—Москва горит уже два дня».—«Что вы говорите,—закричал Синекур,—не может быть».—«Дождитесь ночи,—отвечала она сухо:—может быть, увидите зарево».—«Боже мой! Он погиб,—сказал Синекур,—как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону нигде, нечем будет держаться, что он принужден будет скорее отступить сквозь разоренную, опустелую сторону, с войском расстроенным и недовольным при приближении зимы. И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад: нет, нет,—русские, русские зажгли Москву! Ужасное, варварское великодушие! Теперь всё решено: ваше отечество вышло из опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором!»

Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. «Неужели,—сказала она,—Синекур прав, и пожар Москвы дело наших рук? Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу!»

Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга и жаркие моления за отечество. «Ты не знаешь?— сказала мне Полина с видом вдохновенным.—Твой брат... он счастлив, он не в плену—радуйся: он убит за спасение России».

Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия.

<1831>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

<ДУБРОВСКИЙ>

ТОМ ПЕРВЫЙ

Глава I

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения, или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, [он] раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал наве-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

селе. [В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы, в положеные часы, сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал некоторых из них замуж и новые поступали на их место.]

С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; [несмотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседам, надеясь на сильное покровительство].

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах, и в проказах, ежедневно притом изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. [Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору.] Дубровский, с расстроенным состоянием, принужден был выдти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в

Пушкинский кабинет ИРЛИ

свое поместие, они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, от роду неудостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишка своего старого товарища. [Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах и в наклонностях.] В некоторых отношениях [и] судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку— сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и он часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головою и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки».

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать, и выдти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай всё расстроил и переменил.

Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъезжее поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак [и богадельня], под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением, и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровии больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые—то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностию восхищаться псарнею Кирила Петровича—один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзую; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения.

— Что же ты хмуришься брат,—спросил его Кирила Петрович,—или псарня моя тебе не нравится?

— Нет,—отвечал он сурово,—псарня чудная,—вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам.

Один из псарей обиделся.

— Мы на свое житье,—сказал он,—благодаря бога и барина, не жалуемся—а что правда—то правда, иному (голому) и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку.—Ему было б и сытнее и теплее.

Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря мог-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ла отнестися и к ним. Дубровский побледнел, и не сказал ни слова.

В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят—он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирила Петрович сел ужинать и только тогда, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. От роду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что дескать Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал. Кирила Петрович, встав изо стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух—и услышал следующее:

Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю—потому что я не шут, а старинный дворянин.—За сим остаюсь покорным ко услугам

Андрей Дубровский.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только своей сущностью:

— Как.—загремел Троекуров, вскочив с постели босой,—высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать—да что он в самом деле задумал; да знает ли он с кем связывается! Вот я ж его... Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!

Кирила Петрович оделся, и выехал на охоту, с обыкновенной своею пышностию,—но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца, и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался, или по крайней мере не был по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбранил гостей и на возвратном пути со всею своей охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседами не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское—Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое свое владение; приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора, и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда

Пушкинский кабинет ИРЛИ

люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом—и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее до-тла, и осадить самого помещика в его усадьбе—таковые подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку—маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинеле вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику—Троекуров узнал заседателя Шабашкина, и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном, и с благоговением ожидая его приказаний.

— Здорово, как бишь тебя зовут,—сказал ему Троекуров,—зачем пожаловал?

— Я ехал в город, ваше превосходительство,—отвечал Шабашкин,—и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.

— Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут; мне до тебя нужда, выпей водки, да выслушай.

Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя.—Он отказался от водки <и> стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

— У меня сосед есть,—сказал Троекуров,—мел-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

копоместный грубиян; я хочу взять у него имение—как ты про то думаешь?

— Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы, или...

— Врешь—братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына, и продано потом отцу Дубровского.—Нельзя ли к этому придраться?

— Мудрено, ваше превосходительство; вероятно, сия продажа совершена законным порядком.

— Подумай, братец, поищи хорошенько.

— Если бы, например, ваше превосходительство могли как ни есть образом достать от вашего соседа запись, в силу которой владеет он своим имением, то конечно———

— Понимаю, да вот беда—у него все бумаги сгорели во время пожара.

— Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! Чего ж вам лучше—в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

— Ты думаешь? Ну, смотри же.—Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и благодаря его проворству, ровно через две недели, Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою.

Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Троекурову до него дела никакого нет, и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во 1) что Дубровский мало знает толку в делах, во 2) что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение.

Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной.

Дело стало тянуться—уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвою ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела—Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей и толкуя вкрив и вприям всевозможные указы. Как бы то ни было, 18... года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к ** земскому судье для выслушания решения оного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генералом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава II

Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович, писаря встали и заложили перья за ухо, члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях,—Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке—настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда.

Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право.

18... года <февраля>* дня К** уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну Троекурову, состоящим ** губернии в сельце Кистеневке, мужеска пола ** душами, да земли с лугами и угодьями ** десятин. Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18... года июня 9-го дня взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец [коллежский ассесор] и кавалер [Петр Ефимов] сын Троекурова в 17... году августа 14-го дня, служивший в то время в ** наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицина имение, состоящее ** округи в помянутом сельце Кистеневке, которое селение тогда по ревизии называлось Кистеневскими выселками, всего значущихся по 4-й ревизии мужеска пола ** душ со всем их крестьянским имуществом, усадь-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

бою, с пашенною и непашенною землею, лесами сенными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневке, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом всё без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единыя души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2500 р., на что и купчая в тот же день в ** палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же августа в 26-й день К** земским судом введен был во владение и учинен за него отказ.—А наконец 17... года сентября 6-го дня отец его волею божиею помер, а между тем он проситель генерал-аншеф Троекуров с 17... года почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения, как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имения отца его, состоящие ** и ** губерниях в К**, П** и Р** уездах, в разных селениях, всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными** ими** душами (коих по нынешней... ревизии значится в том сельце всего** душ) с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его, Троекурова, распоряжение, а за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, Дубровского, следующее по законам взыскание и оным его, Троекурова, удовлетворить.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

По учинении ж ** земским судом по сему прошению исследований открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневке,** душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского ассесора Троекурова, по доверенности, данной от него в 17... году августа 30 дня, засвидетельствованной в ** уездном суде, титулярному советнику Григорью Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, всё доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение, ** душ с землею, продал отцу его, Дубровского, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил оного доверителя Соболева выдать отцу его указную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему продавцу Троекурову впредь и никому в то имение уже не вступаться.

Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу,—ему Андрею Дубровскому неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17... году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением—со дня продажи Троекуровым

Пушкинский кабинет ИРЛИ

или выдачи Соболеву доверенности, т. е. с 17... года, а по смерти отца его с 17... и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей—которые, всего 52 человека, на опрос под присягою показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые г.г. Дубровские назад сему лет с 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно.—Упомянутый же по сему делу прежний покупчик сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же г.г. Дубровских назад сему лет 30-ть от случившегося в их имении в ночное время <пожара> сгорел, причем сторонние люди доказали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 рублей.

Напротив же сего генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров 3-го генваря сего года взошел в сей суд в прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу сему выданную покойным его отцом Гаврилою Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинной купчей, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне, за смертию самого дателя оной, отца его, по указу 1818 года маия... дня, совершенно уничтожается.—А сверх сего—

велено спорные имения отдавать во владения—крепостные по крепостям, а не крепостные по розыску. На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепост-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобрав, отдать ему по праву наследства. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащее им имение и без всякого укрепления, и пользовались с оного неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться по силе... с помещика Дубровского и его Троекурова оными удовлетворить.—По рассмотрении какового дела и учиненной из оного и из законов выписки в ** уездном суде определено:

Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневке, по нынешней... ревизии всего мужеска пола** душ, с землею и угодьями, представил подлинную купчую на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским ассесором, в 17... году из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупщик, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году*** земским судом введен во владение, которое имение уже и за него отказано, и хотя напротив сего со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена <доверенность>, данная тем умершим покупщиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его, Дубровского: но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу... воспрещено, к тому ж и самая доверенность смертию дателя оной совершенно уничтожается.—Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда на означенное спорное имение купчая, со

Пушкинский кабинет ИРЛИ

стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, т. е. с 18... года, и по сие время не представлено. А потому сей суд и полагает: означенное имение,** душ, с землею и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на оное купчей за генерал-аншефа Троекурова; о удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него, г. Троекурова, и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству предписать ** земскому суду.—А хотя сверх сего генерал-аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправое владение наследственным его имением воспользовавшихся с оного доходов.—Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у г.г. Дубровских несколько лет в бесспорном владении, и из дела сего не видно, чтоб со стороны г. Троекурова были какие-либо до сего времени прошении о таковом неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложенью

велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бити челом, и про то сыщется допрямо, тогда правому отдавать тую землю и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением, а посему генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика Дубровского иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение, не изъемля из оного ничего. А что при вводе за него оказаться может всё без остатка, предоставя между тем генерал-аншефу Троекурову, буде он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательствы, может просить где следует особо.—Каковое решение напред объявить как истцу, равно и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслу-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

шивания сего решения и подписи удовольствия или неудовольствия чрез полицию.

Каковое решение подписали все присутствующие того суда—.

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под *решением* суда совершенное свое удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами время просить апелляции куда следует. Дубровский молчал———Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не почитать церковь божию! прочь, хамово племя!» Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство,— продолжал он,—псари вводят собак в божию церковь! собаки бегают по церкви. Я вас ужо проучу———». Сторожа сбежались на шум, и насилу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество. Судии, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский между тем лежал в постеле; уездный

Пушкинский кабинет ИРЛИ

лекарь, по счастию не совершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи—к вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.

Глава III

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского всё еще было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты, и задумывался по целым суткам.—Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей, и кроме ее не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардии пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. И так, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти; играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем, и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

предвидя себе рано или поздно богатую невесту мечту бедной молодости.

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал, и прочел следующее:

Государь ты наш, Владимир Андреевич,—я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровьи папенькином. Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит как дитя глупое—а в животе и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное—слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову — потому что мы-дескать ихние, а мы искони Ваши,—и от роду того не слыхивали.—Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду.—Остаюсь твоя верная раба, нянька

Орина Егоровна Бузырева.

Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит?—У нас дожди идут вот ужо друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня.

Владимир Дубровский несколько раз сряду прочитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на 8-м году своего возраста—со всем тем он романически был к нему привязан, и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца никакого известия и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выдти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске—закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске [и через два дня пустился в дорогу на перекладных с верным своим Гришей].

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне: глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне, и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земи, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запря-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

гать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами—и между ими завязался разговор.

— Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?

— А бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич——барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд—хотя по часту он сам себе судия. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибешь.

— Так видно этот Кирила Петрович—у вас делает что хочет?

— И вестимо, барин—заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках—господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

— Правда ли, что отымает он у нас имение?

— Ох, барин, слышали так и мы—на днях покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо приберет вас к рукам Кирила Петрович. Микита кузнец и сказал ему: и полно, Савелич, не печаль кума, не мути гостей—Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе—а все мы божии да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь.

— Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

— Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави—у него там и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет.—Нет, дай бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

При сих словах Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

Тронутый преданностию старого кучера, Дубровский замолчал—и предался своим размышлениям. Прошло более часа—вдруг Гриша пробудил его восклицанием: *Вот Покровское*! Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами—на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома—на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня——около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Дубровский узнал сии места—он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.

Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию, общему и деревенским кучерам как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу, и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нем забилось. Перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца.

Через 10 минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в неко-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тзный луг, на котором паслась спутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб, окружила молодого барина шумными изъявлениями радости. Насилу мог он продраться сквозь их усердную толпу, и взбежал на ветхое крыльцо. В сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника.

— Здорово, здорово, няня,—повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху,— что батюшка, где он? каков он?

В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке.

— Здравствуй, Володька!—сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего.

Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его.

— Зачем вы встали с постели,—говорила ему Егоровна,—на ногах не стоит, а туда же норовит, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне—и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Гришке, и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.

Глава IV

Где стол был яств, там гроб стоит.

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец

Пушкинский кабинет ИРЛИ

его был не в состоянии дать ему нужные объяснения— у Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное—из коего не мог он получить ясное понятие о тяжбе, и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела.

Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство.

Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его превосходительству вступить во владение новоприобретенным имением—самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости — и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтоб его выбранить,—но не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито:

— Пошел вон, не до тебя.

Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая: *Гром победы раздавайся*, что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей.

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до

Пушкинский кабинет ИРЛИ

некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали.—Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа—и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальней у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его—багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся——и вдруг упал.——Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания—паралич его ударил.

— Скорей, скорей в город за лекарем!—кричал Владимир.

— Кирила Петрович спрашивает вас,—сказал вошедший слуга.

Владимир бросил на него ужасный взгляд.

— Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора—пошел.

Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина—Егоровна всплеснула руками.

— Батюшка ты наш,—сказала она пискливым голосом,—погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас.

— Молчи, няня,—сказал с сердцем Владимир,—сейчас пошли Антона в город за лекарем.

Егоровна вышла. В передней никого не было—все люди сбежались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо—и услышала ответ

Пушкинский кабинет ИРЛИ

слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его, сидя на дрожках—лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина.

Дворня с шумом толковала о сем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал:—Не надобно лекаря, батюшка скончался.

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь—не было уж и признака жизни в сем теле еще не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла—слуги окружили труп, оставленный на их попечение,—вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.

Глава V

Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед. Дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев.

При выходе из рощи, увидели кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

там подле могилы ее накануне вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему.

Молодой Дубровский стал у клироса; он не плакал и не молился—но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир первый пошел прощаться с телом—за ним и все дворовые—принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли; мужики нередко утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище—в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу—все присутствующие бросили в нее по горсти песку—яму засыпали, поклонились ей, и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередив, и скрылся в Кистеневскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед—объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать—и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, повидимому, ожидало его наследника. (Приезд Троекурова и прием, ему оказанный, были уже известны всему околодку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия.)

— Что будет — то будет, — сказала попадья, — а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать.

— А кому же, как не ему, и быть у нас господином,—прервала Егоровна,—напрасно Кирила Петрович и горячится—не на робкого напал—мой соколик и сам за себя постоит—да и, бог даст, благодетель его не оставит. Больно спесив Кирила Петрович: а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: Вон, старый пес!—Долой со двора!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Ахти, Егоровна,—сказал дьячок,—да как у Григорья-то язык повернулся, я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и клонят ниц, а спина-то сама так и гнется, так и гнется— — —.

— Суета сует,—сказал священник,—и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче, да гостей созовут побольше—а богу не всё ли равно!——

— Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околодок, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно,— есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.

Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пир ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.

Между <тем> Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостию стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги—сучья поминутно задевали и царапали его—ноги его поминутно вязли в болоте — он ничего не замечал. Наконец достиг он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его— —Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала новые несчастия. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки—в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев—и живо представлялось ему горное подобие жизни—

Пушкинский кабинет ИРЛИ

подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться—он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом.

Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову.——Он невольно пошел стороною и скрылся за деревами. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.

— Удались от зла и сотвори благо,—говорил поп попадье,—нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось— —

Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать.

Приближаясь увидел он множество народа—крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали.

— Что это значит,—спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу.—Это кто такие, и что им надобно?

— Ах, батюшка Владимир Андреевич,—отвечал старик, задыхаясь.—Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили—несчастного своего господина.

— Отец ты наш,—кричали они, целуя ему руки,—не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим... Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали <его>.

— Стойте смирно,—сказал он им,—а я с приказными переговорю.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Переговори, батюшка,—закричали ему из толпы,—да усовести окаянных.

Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя——Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул, и произнес охриплым голосом:

— И так, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь г. Шабашкин.— Слушайтесь его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник.

При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования.

— Позвольте узнать, что это значит,—спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника.

— А это то значит,— отвечал замысловатый чиновник,—что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить *иных прочих* убираться по-добру по-здорову.

— Но вы могли бы, кажется, отнестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам и объявить помещику отрешение от власти——

— А ты кто такой,—сказал Шабашкин с дерзким взором,—бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помре,—мы вас не знаем, да и знать не хотим.

— Ваше благородие, наш молодой барин,—сказал голос из толпы,—Владимир Андреевич.

— Кто там смел рот разинуть,—сказал грозно исправник,—какой барин, какой Владимир Андреевич—барин ваш Кирила Петрович Троекуров—слышите ли, олухи.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Как не так,—сказал тот же голос.

— Да это бунт!—закричал исправник.—Гей, староста, сюда!

Староста выступил вперед.

— Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!

Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил? Но все молчали, вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать——

— Да что на него смотреть,—закричали дворовые,—ребята! долой их!—и толпа двинулась.

Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени—и заперли за собою дверь.

— Ребята, вязать,—закричал тот же голос,—и толпа стала напирать.

— Стойте,—крикнул Дубровский,—дураки, что вы это? вы губите и себя и меня—ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его—он нас не обидит—мы все его дети—а как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать.

Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желанное действие. Народ утих, разошелся—двор опустел, члены сидели в доме. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление.

Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал.

— Мы решили,—продолжал заседатель,—с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся во-свояси.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Делайте, что хотите,—ответил им сухо Дубровский,—я здесь уже не хозяин.

С этим словом он удалился в комнату отца своего, и запер за собою дверь.

Глава VI

«Итак, все кончено,—сказал он сам себе;—еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился, где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченною на перилы, в белом утреннем платье с одною розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства,—подумал Владимир,—он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями, или повешен в передней, предмет насмешек и замечаний его псарей—а в ее спальней, в комнате—где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы—страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него—они хозяйничали, требовали то того, то другого; и неприятно развлекали его среди его печальных размышлений. Наконец всё утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: *Письма моей жены.* С сильным движением чувства, Владимир принялся за них: они писаны были во время Т. похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностию сетовала на разлуку и призывала

Пушкинский кабинет ИРЛИ

его домой, в объятия доброй подруги. В одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался, и позабыл всё на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастия, и не заметил, как прошло время, стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. Двери были заперты—не нашед ключа, Владимир возвратился в залу—ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол—топор блестел у него. И обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца.

— Зачем ты здесь?—спросил он.

— Ах, Владимир Андреич, это вы,—отвечал Архип пошепту,—господь помилуй и спаси! Хорошо, что вы шли со свечою!—Владимир глядел на него с изумлением.

— Что ты здесь притаился?—спросил он кузнеца.

— Я хотел... я пришел... было проведать, все ли дома,—тихо отвечал Архип запинаясь.

— А зачем с тобою топор?

— Топор-то зачем?—Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники—того и гляди—.

— Ты пьян, брось топор, поди выспись.

— Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было — —да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело—подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора— —Эк они храпят, окаянные—всех бы разом, так и концы в воду.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Дубровский нахмурился.

— Послушай, Архип,—сказал он, немного помолчав,—не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ко фонарь ты, ступай за мною.

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора, сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли.

— Кто на сторожах?—спросил Дубровский.

— Мы, батюшка,—отвечал тонкий голос,—Василиса да Лукерья.

— Подите по дворам,—сказал им Дубровский,—вас не нужно.

— Шабаш,—промолвил Архип.

— Спасибо, кормилец,—отвечали бабы—и тотчас отправились домой.

Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликнули — Дубровский узнал голос Антона и Гриши.

— Зачем вы не спите?—спросил он их.

— До сна ли нам,—отвечал Антон,—до чего мы дожили, кто бы подумал— —

— Тише!—перервал Дубровский,— где Егоровна?

— В барском доме в своей светелке,—отвечал Гриша.

— Поди, приведи ее сюда, да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось—кроме приказных—а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных никто в доме не смыкал глаза.

— Все ли здесь?—спросил Дубровский,—не осталось ли никого в доме?

— Никого, кроме подьячих,—отвечал Гриша.

— Давайте сюда сена или соломы,—сказал Дубровский.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

— Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!—

Архип открыл фонарь —Дубровский зажег лучину.

— Постой,—сказал он Архипу,—кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени—двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: *как не так, отопри!* и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось—и осветило весь двор.

— Ахти,—жалобно закричала Егоровна,—Владимир Андреевич, что ты делаешь.

— Молчи,—сказал Дубровский.—Ну, дети, прощайте, иду, куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.

— Отец наш, кормилец,—отвечали люди,—умрем, не оставим тебя, идем с тобою.

Лошади были поданы—Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им место свидания—Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стеклы трещали, сыпались, пылающие бревны стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «горим, помогите, помогите».

— *Как не так*,—сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар.

— Архипушка,—говорила ему Егоровна,—спаси их, окаянных, бог тебя наградит.

— Как не так,—отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной мятелью, избы загорелись.

— Теперь всё ладно,—сказал Архип,—каково горит,—а? Чай, из Покровского славно смотреть.

В сию минуту новое явление привлекло его внимание; кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть—во всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканием призывало на помощь, мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние.

— Чему смеетеся, бесенята,—сказал им сердито кузнец,—бога вы не боитесь—божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь—и поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с свой добычей полез вниз.

— Ну, ребята, прощайте,—сказал он смущенной дворне,—мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом.

Кузнец ушел, пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи и около них бродили погорелые жители Кистеневки.

Глава VII

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околодку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми, некоторые догадывались об истине и утвержда-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ли, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда— —Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отрыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец-Архип, по всеобщему показанию, был жив и вероятно главный, если не единственный виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору ** подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В ** появились разбойники, и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые противу них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии—останавливали путешественников и почту, приезжали в селы, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а не кто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному—поместия Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностию Троекуров приписывал сие исклю-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый <день> ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение— —Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1-е октября—день храмового праздника в селе Троекурова.——Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами, для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

Глава VIII

Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседей редко езживали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товари-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

щества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирила Петровича. Огромная <библиотека>, составленная большею частию из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме *Совершенной Поварихи*, не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирила Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность, и которую принужден он был наконец выслать тихонько в другое поместие, когда следствия сего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка, и никогда во зло не употребляла влияния, которое видимо имела над Кирилом Петровичем—в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет 9-ти, напоминающий полуденные черты m-lle Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.

Сей учитель понравился Кирилу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кирилу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого 4 года жил он гувернером. Кирила Петрович всё это пересмотрел и был недоволен одною моло-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

достью своего француза—не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностию, столь нужными в несчастном звании учителя—но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком).

— Подойди сюда, Маша: скажи ты этому мусье, что так и быть—принимаю его; только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына——переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился, и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

Маша слово в слово перевела его ответ.

— Хорошо, хорошо,—сказал Кирила Петрович,— не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга иль мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления, ею произведенного на М-г Дефоржа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь, в ожидании настоящей травли. Изредко выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрогивался, колол себе лапы, осердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей, и пускали их скакать на волю божию. Но лучшею штукою почиталась у Кирила Петровича следующая.

Прогладавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противуположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к двери этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою, и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

призвав его однажды утром, повел он его с<собою> темными коридорами—вдруг боковая дверь отворилась—двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него— — Француз не смутился, не побежал, и ждал нападения. Медведь приближился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбежалось—двери отворились—Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки.

Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу—кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженый пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

— Я не слыхивал о медведе,—отвечал Дефорж,— но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением, и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь к своим людям, сказал:—Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил. С той минуты он Дефоржа полюбил, и не думал уж его пробовать.

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кириловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию—и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось

Пушкинский кабинет ИРЛИ

внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности, Деформ вызвался давать ей уроки. После того, читателю уже нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.

ТОМ ВТОРОЙ

Глава IX

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчиков, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян—конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и всё потянулось к новой каменной церкве, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкве, и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась—ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернею—и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Мариею Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее—первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул *и о зиждителе храма сего.*

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать—сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица, и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах, мужчины толпились около икры и водки—с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляли бутылки и графины, и прилаживали скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: кушанье поставлено—и Кирила Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы, и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между собою как робкое стадо козочек и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь Лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастием хлебосола.——В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми.

— Это кто?—спросил хозяин.

— Антон Пафнутьич,—отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутьич Спицын, толстый мужчина, лет 50, с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь, и уже собираясь извиниться.

— Прибор сюда,—закричал Кирила Петрович,—милости просим, Антон Пафнутьич, садись, да скажи нам, что это значит: не был у моей обедни и к обеду

Пушкинский кабинет ИРЛИ

опоздал. Это на тебя не похоже, ты и богомолен, и покушать любишь.

— Виноват,—отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана,—виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у переднего колеса пополам—что прикажешь? К счастию, недалеко было от деревни—пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да всё коекак уладили, прошли ровно три часа—делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд——

— Эге!—прервал Кирила Петрович,—да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься.

— Как, чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского то—того и гляди попадешься ему в лапы—он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет.

— За что же, братец, такое отличие?

— Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, т. е. по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкою безо всякого на то права. а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе бог миловал.—Всего-на-все разграбили у меня один анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся.

— А в усадьбе-то будет им раздолье,—заметил Кирила Петрович,—я чай красная шкатулочка полным-полна——

— Куда, батюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче совсем опустела! —

— Полно врать, Антон Пафнутьич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь да и только.

— Вы всё изволите шутить, батюшка Кирила Петрович,—пробормотал с улыбкою Антон Пафнутьич,— а мы, ей-богу, разорились,—и Антон Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки.

Кирила Петрович оставил его и обратился в новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему, и сидящему на другом конце стола, подле учителя.

— А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец:

— Постараемся, ваше превосходительство.

— Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку все-таки нет. Да правда, зачем и ловить его. Разбои Дубровского благодать для исправников— разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман— как такого благодетеля извести? Не правда ли, г-н исправник?

— Сущая правда, ваше превосходительство,— отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

— Люблю молодца за искренность,—сказал Кирила Петрович.—А жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича—кабы не сожгли его, так в околодке было бы тише. А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?

— У меня Кирила Петрович,—пропищал толстый дамский голос,—в прошлый вторник обедал он у меня——

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела: однако, сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь как могу своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего 7 верст, авось бог пронесет. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается бледен, оборван и пеш— я так и ахнула—что такое? что с тобою сделалось? Он мне: матушка Анна Савишна—разбойники ограбили; самого чуть не убили—сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил—за то всего обобрал—отнял и лошадь и телегу. Я обмерла; царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала всё и послала ему свое благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая—вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича; он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том, о сем, наконец и о Дубровском— я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился.—Это странно,—сказал он,—я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста. А в убийствах никто его не обвиняет, нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика.— Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил, и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задро-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

жал и повалился генералу в ноги.—Батюшка, виноват — грех попутал — солгал.—«Коли так,—отвечал генерал,—так изволь же рассказать барыне, как всё дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же,—продолжал генерал,—рассказывай: где ты встретился с Дубровским?»—У двух сосен, батюшка, у двух сосен.—«Что же сказал он тебе?»—Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?—«Ну, а после?»—А после потребовал он письмо и деньги.—«Ну?»—Я отдал ему письмо и деньги.—«А он?—Ну, а он»—Батюшка, виноват.—«Ну, что ж он сделал?»—Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал: ступай себе с богом—отдай это на почту.—«Ну?»—Батюшка, виноват.—«Я с тобою, голубчик, управлюсь,—сказал грозный генерал,—а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника, и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски—деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического—особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф.

— И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский,—спросил Кирила Петрович.—Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

— Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Не знаю, а уж верно не Дубровский. Я помню его ребенком, не знаю почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик—но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следственно, ему не 35 лет, а около 23.

— Точно так, ваше превосходительство,—провозгласил исправник,—у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду 23-й год.

— А!—сказал Кирила Петрович,—кстати: прочтите-ка, а мы послушаем, не худо нам знать его приметы, авось в глаза попадется, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать на-распев.

«Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.

«От роду 22 года, *роста* середнего, *лицом* чист, *бороду* бреет, *глаза* имеет карие, *волосы* русые, *нос* прямой. *Приметы особые:* таковых не оказалось».

— И только,—сказал Кирила Петрович.

— Только,—отвечал исправник, складывая бумагу.

— Поздравляю, г-н исправник. Ай да бумаги! По этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные!

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой, между тем слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цымлянского громко были откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начи-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нали рдеть, разговоры становились звончее, несвязнее и веселее.

— Нет,—продолжал Кирила Петрович,—уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел— ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил—да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они очистят воровскую рощу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит—от разбойников не попятятся.

— Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович,—сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

— Миша приказал долго жить,—отвечал Кирила Петрович,—умер славною смертью, от руки неприятеля. Вон его победитель,—Кирила Петрович указывал на Деформа;—выменяй образ моего француза. Он отомстил за.твою — — с позволения сказать —— помнишь?

— Как не помнить,—сказал Антон Пафнутьич почесываясь,—очень помню. Так Миша умер—жаль Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?—

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти, и с изумлением посматривали на Деформа, который, не подозревая, что

Пушкинский кабинет ИРЛИ

разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около трех часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол—все встали, и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.

Глава X

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота, и объявил, что <до> следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом, и любуясь веселостию молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины годные на то были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцовал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кириловною—и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужин—а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости—кавалеры осмелились занять места подле дам—девицы смеялись и перешептывались со своими соседами; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали—словом, ужин был чрезвычайно весел—и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости—Антон Пафнутьич сидел пасмурен и молчалив

Пушкинский кабинет ИРЛИ

на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнутьич, призывая господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал—красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностию успокоивал он свою недоверчивость ко всем, и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надежного товарища и выбрал наконец Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутьич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали изо стола, Антон Пафнутьич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением.

— Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что извольте видеть— —

— Que désire monsieur[1],—спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.

— Эк, беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве, муа, ше ву куше[2], понимаешь ли?

— Monsieur, très volontiers,—отвечал Дефорж,— veuillez donner des ordres en conséquence[3].

Антон Пафнутьич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться.

---

[1] <Что вам угодно, сударь?>

[2] <Я хочу лечь спать в вашей комнате.>

[3] <Очень охотно, сударь, извольте дать соответствующие приказания.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнутьич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Деформ освещал дорогу фонарем, Антон Пафнутьич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную суму—дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнутьич похаживал по комнате, осматривая замки и окна—и качая головою при сем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкою, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Деформу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения—француз его не понял, и Антон Пафнутьич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше[1],—закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол *тушу* на французский лад.—Я не могу дормир[2] в потемках.

Деформ не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи.

— Проклятый басурман,—проворчал Спицын, закутываясь в одеяло,—нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня.—Мусье, мусье,—продолжал он,—же ве авек ву парле[3].—Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

«Храпит бестия француз,—подумал Антон Пафнутьич,—а мне так сон и в ум нейдет—того и гляди воры войдут в открытые двери или влезут в окно—а его, бестию, и пушками не добудишься».

---

[1] <Зачем *трогаете* вы, зачем *трогаете* вы?>

[2] <спать>

[3] <Я хочу с вами говорить.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Мусье! а, мусье!—дьявол тебя побери.

Антон Пафнутьич замолчал—усталость и винные пары мало-по-малу превозмогли его боязливость—он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал, сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьич открыл глаза—и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа: француз в одной руке держал карманный пистолет, а другою отстегивал заветную суму. Антон Пафнутьич обмер.

— Кесь ке се, мусье, кесь ке се[1]?—произнес он трепещущим голосом.

— Тише, молчать,—отвечал учитель чистым русским языком,—молчать или вы пропали. Я—Дубровский.

Глава XI

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать.

На станции ** в доме смотрителя, о коем уже мы упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым—обличающим разночинца или иностранца, т. е. человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.

---

[1] <Что такое, сударь, что это значит?>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Вот бог послал свистуна,—говорила она вполголоса,—эк посвистывает—чтоб он лопнул, окаянный басурман.

— А что?—сказал смотритель,—что за беда, пускай себе свищет.

— Что за беда?—возразила сердитая супруга,—а разве не знаешь приметы?

— Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахомовна, у нас что свисти, что нет: а денег всё нет как нет.

— Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к чорту.

— Подождет, Пахомовна; на конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу, так и есть! вон скачут. Эге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел—отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинеле и в белой фуражке вошел к смотрителю—вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.

— Лошадей,—сказал офицер повелительным голосом.

— Сейчас,—ответил смотритель.—Пожалуйте подорожную.

— Нет у меня подорожной. Я еду в сторону — — Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку, и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

— Бог его ведает,—отвечала смотрительша,—какой-то француз. Вот уж пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел, проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Куда изволите вы ехать?—спросил он его.

— В ближний город,—отвечал француз,—оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но г-н смотритель, кажется, судил иначе— в этой земле трудно достать лошадей, г-н офицер.

— А к кому из здешних помещиков определились вы,—спросил офицер.

— К г-ну Троекурову,—отвечал француз.

— К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?

— Ма foi, monsieur[1]... я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними—что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями (avec les outchitels) он не церемонится, и уж двух засек до смерти.

— Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

— Что ж делать, г-н офицер. Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 р. в год и всё готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал—достаточный для будущей моей независимости—и тогда bonsoir[2], еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.

— Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?— спросил он.

— Никто,—отвечал учитель,—меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондиторы—но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее — —

---

[1] <Право, сударь...>

[2] <прощайте,>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Офицер задумался.

— Послушайте,—прервал он, обращаясь к французу,—что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами, с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж.

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

— Лошади готовы,—сказал вошедший смотритель.

Слуга подтвердил то же самое.

— Сейчас,—отвечал офицер,—выдьте вон на минуту.—Смотритель и слуга вышли.—Я не шучу,—продолжал он по-французски,—10 000 могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги.

При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.

— Мое отсутствие — — мои бумаги,—повторял он с изумлением, — — вот мои бумаги— — но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

— Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, всё еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

— Ваш паспорт — — хорошо—письмо рекомендательное, посмотрим—свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте — —

Француз стоял как вкопанный.

Офицер воротился.

— Я было забыл самое важное: дайте мне честное слово, что всё это останется между нами—честное ваше слово.

— Честное мое слово,—отвечал француз.—Но мои бумаги, что мне делать без них.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят, и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровьи.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием:

— Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский.

Смотрительша опрометью кинулась в окошко, но было уж поздно—Дубровский был уж далеко. Она принялась бранить мужа:

— Бога ты не боишься, Сидорыч, зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, всё казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут у него в кармане и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой, вместо часового, стояла развалившаяся бутка—француз велел остановиться,—вылез из брички, и пошел пешком—объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном, и не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему<знаком (?)>. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тройке отправился во-свояси—без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.

Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать, и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы—зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы, и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учителя—Кирила Петрович за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша—за снисходительность к его шалостям, домашние за доброту и за щедрость, повидимому, несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник — коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во всё это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия,—Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки, и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В 9 часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна,—а Кирила Петрович в байковом сюртуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутьич; он был так бледен и казался так расстроен, что вид <его> всех поразил, и что Кирила Петрович осведомился о его здоровии. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова—Антон Пафнутьич спешил откланяться и несмотря на увещания хозяина вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и всё вошло в обыкновенный порядок.

Глава XII

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну—особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он с своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостию предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Деформа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может

Пушкинский кабинет ИРЛИ

быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкою записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегодня в семь часов в беседке у ручья.— Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась итти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками, или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смерклось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями; столовые часы пробили третью четверть седьмого и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо— огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами—в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по знакомым дорожкам, и через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Де-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

форжем с видом равнодушным и неторопливым. Но Деформ стоял уже перед нею.

— Благодарю вас,—сказал он ей тихим и печальным голосом,—что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если б вы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленной фразой:

— Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалось, собирался с духом.

— Обстоятельства требуют———я должен вас оставить,—сказал он наконец,——вы скоро, может быть, услышите——Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться——

Марья Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

— Я не то, что вы предполагаете,—продолжал он, потупя голову,—я не француз Деформ, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

— Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться—ни за себя, ни за него. Всё кончено.—Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству—в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось,—я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ва-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастия—их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни———Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня———сей же час———. Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда———

Тут раздался легкий свист — и Дубровский умолк.———Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.

— Простите,—сказал Дубровский,—меня зовут, минута может погубить меня.

Он отошел, Марья Кириловна стояла неподвижно—Дубровский воротился и снова взял ее руку.

— Если когда-нибудь,—сказал он ей нежным и трогательным голосом,—если когда-нибудь несчастие вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего—для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

— Вы меня губите!—закричал Дубровский.—Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа—обещаетесь ли вы или нет?

— Обещаюсь,—прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским Марья Кириловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались—дом был в движении,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка—издали услышала она голос Кирила Петровича—и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие <ее> не было замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, гости окружили исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.

— Где ты была, Маша?—спросил Кирила Петрович,—не встретила ли ты m-r Деформа.

Маша насилу могла ответить отрицательно?

— Вообрази, — продолжал Кирила Петрович,— исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

— Все приметы, ваше превосходительство,—сказал почтительно исправник.

— Эх, братец,—прервал Кирила Петрович,—убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, покаместь сам не разберу дела. Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну; ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?

— Француз застращал его, ваше превосходительство,—отвечал исправник,—и взял с него клятву молчать——

— Вранье,—решил Кирила Петрович,—сейчас я всё выведу на чистую воду. Где же учитель?— спросил он у вошедшего слуги.

— Нигде не найдут-с,—отвечал слуга.

— Так сыскать его,—закричал Троекуров, начинающий сумневаться.—Покажи мне твои хваленые приметы,—сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу.

— Гм, гм, двадцать три года... Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что ж учитель?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Не найдут-с,—был опять ответ.

Кирила Петрович начинал беспокоиться, Марья Кириловна была ни жива, ни мертва.

— Ты бледна, Маша,—заметил ей отец,—тебя перепугали.

— Нет, папенька,—отвечала Маша,—у меня голова болит.

— Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся.— Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее насилу, насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами—ее уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая *Гром победы раздавайся.* Гости шептались между собою, исправник казался в дураках—француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било 11, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

— Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка во-своясси, да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой,—продолжал он, обращаясь к гостям.—Велите закладывать—а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!—

Глава XIII

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В 30-ти верстах от него находилось богатое поместие князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях—всем имением его управлял отставной маиор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой от роду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения, и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровие и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере, и спешил выдти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался; слуга пришел доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки, и уже раскаиваясь в своем посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее—князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги—и шутя над своею подагрой—он предпочел прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою своей соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение, и ему ли оно принадлежит?——Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.

— Дубровскому,—повторил Верейский,—как, этому славному разбойнику?—

— Отцу его,—отвечал Троекуров,—да и отец-то был порядочный разбойник.

— Куда же девался наш Ринальдо? жив ли он, схвачен ли он?

— И жив и на воле—и покаместь у нас будут исправники за одно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?

— Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил——Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

— Чего любопытно!—сказал Троекуров,—она знакома с ним—он целые три недели учил ее музыке, да слава богу не взял ничего за уроки.

Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках, Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел всё это очень странным и переменил разговор. Возвратясь он велел подавать свою карету, и несмотря на усильные просьбы Кирила Пет-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной—и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом—выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густозеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца, и подал руку молодой красавице; они вошли в великолепную залу—где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галлерей картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кириловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки, он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего Амфитриона и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз от роду. После

Пушкинский кабинет ИРЛИ

обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов—посещали некоторые из них—на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя—время прошло незаметно—начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы поспешил возвратиться домой—самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай—слушая неистощимые рассказы любезного говоруна—вдруг раздался выстрел—и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали, и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Верейский радовался ее восхищению—а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал tous les frais [1] князя, как знаки уважения и желания ему угодить.

Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

Глава XIV

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не

[1] <все траты>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то ее мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука— кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку, и поспешила к отцу—в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.

— Подойди сюда, Маша,—сказал Кирила Петрович,—скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастие. Маша молчала.

— Согласна, конечно, согласна,—сказал Кирила Петрович,—но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал ее руку, вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

— Пошла, пошла, пошла,—сказал Кирила Петрович,—осуши свои слезы, и воротись к нам веселешенька. Они все плачут при помолвке,—продолжал он, обратясь к Верейскому,—это у них уже так заведено——Теперь, князь, поговорим о деле—т. е. о приданом.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным——брак пугал ее как плаха, как могила——«Нет, нет,—повторяла она в отчаянии,—лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме, и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им—и заключало только следующие слова:

«Вечером в 10 часов на прежнем месте».

Глава XV

Луна сияла—июльская ночь была тиха—изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду.

Как легкая тень молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

— Я всё знаю,—сказал он ей тихим и печальным голосом.—Вспомните ваше обещание.

— Вы предлагаете мне свое покровительство,—отвечала Маша,—но не сердитесь—оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помочь?

— Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

— Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите—я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса— — —

— Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

— Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его

Пушкинский кабинет ИРЛИ

моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

— Не надейтесь по пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что, если возьмет он себе в голову сделать счастие ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа...

— Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною— я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал—бледное лицо покрылось багровым румянцем, и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал—потупя голову.

— Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам: представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика—решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим,—то— — —то вы найдете ужасную защиту— — —скажите, что богатство не доставит вам и одной минуты счастия; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз— пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался—Маша плакала— —

— Бедная, бедная моя участь,—сказал он, горько вздохнув.— —За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упсением. И когда открывается для меня возможность прижать <вас> к волнуемому сердцу и сказать: Ангел, умрем! бедный, я должен остерегаться от блаженства—я должен отдалять его всеми силами— — Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо

Пушкинский кабинет ИРЛИ

за непонятную незаслуженную награду. О как должен я ненавидеть того—но чувствую—теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело.

— Пора,—сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

— Если решитесь прибегнуть ко мне,—сказал он,—то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба—я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.

Глава XVI

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства—Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать—и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностию своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился: насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он

Пушкинский кабинет ИРЛИ

уведомлен о ее письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется современем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. Засим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел, и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.

— Папенька,—закричала она жалобным голосом,—папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою——

— Это что значит,—сказал грозно Кирила Петрович,—до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться; этим ты со мной ничего не выиграешь.

— Не губите меня,—повторяла бедная Маша,—за что гоните меня от себя прочь, и отдаете человеку нелюбимому, разве я вам надоела, я хочу остаться с вами попрежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, я не хочу итти замуж———

Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово:

— Всё это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастия. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

— Послезавтра,—вскрикнула Маша,—боже мой!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.

— Что? что?—сказал Троекуров,—угрозы! мне, угрозы,—дерзкая девчонка!—Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

— Владимир Дубровский,—отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением.

— Добро,—сказал он ей после некоторого молчания,—жди себе кого хочешь в избавители, а покаместь сиди в этой комнате, ты из нее не выдешь до самой свадьбы.—С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою дверь.

Долго плакала бедная девушка, воображая всё, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки; она решилась пойти ожидать его там—как только станет смеркаться. Смерклось—Маша приготовилась—но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко, и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На

Пушкинский кабинет ИРЛИ

рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

Глава XVII

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно—что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил—что впрочем не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Ее слова ожесточили молодую затворницу—голова ее кипела—кровь волновалась—она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба. В это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело—и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

— Здравствуй Саша,—сказала она,—зачем ты меня зовешь?

— Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас всё сделаю.

— Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

— Знаю, сестрица.

— Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорее, и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видел.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

С этими словами она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать—и в 3 минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, он хотел тот же час донести о том Марье Кириловне, как вдруг рыжий и косой оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.

— Что ты здесь делаешь?—сказал он грозно.

— Тебе како дело?—отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

— Оставь это кольцо, рыжий заяц,—кричал Саша,—или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил—и закричал во всё горло:

— Воры, воры—сюда, сюда——

Мальчишка силился от него отделаться. Он был повидимому двумя годами старее Саши, и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу на земь, и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли——

— Ах, ты, рыжая бестия,—говорил садовник,—да как ты смеешь бить маленького барина——

Саша успел вскочить и оправиться.

— Ты меня схватил под-силки,—сказал он,—а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо, и убирайся.

— Как не так,—отвечал рыжий, и вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой.

Тут он пустился было бежать, но Саша догнал

Пушкинский кабинет ИРЛИ

его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног—садовник снова его схватил и связал кушаком.

— Отдай кольцо!—кричал Саша.

— Погоди, барин,—сказал Степан,—мы сведем его на расправу к приказчику.

Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

— Это что?—спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал всё происшествие.

Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

— Ты, повеса,—сказал он, обратясь к Саше,—за что ты с ним связался?

— Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

— Какое кольцо, из какого дупла?

— Да мне Марья Кириловна... да то кольцо...

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился—и сказал, качая головою:

— Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

— Ей-богу, папенька, я, папенька——Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

— Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую березовую розгу——

— Постойте, папенька—я всё вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко—и я подбежал—и сестрица не нарочно уронила кольцо, а я спрятал его в дупло, и—и——этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть.

— Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать—— Степан, ступай за розгами.

— Папенька, погодите, я всё расскажу. Сестрица

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Марья Кириловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбегал и положил— а этот скверный мальчик——

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику—и спросил его грозно:

— Чей ты?

— Я дворовый человек господ Дубровских,— отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

— Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро,—отвечал он.—А что ты делал в моем саду?

— Малину крал,—отвечал мальчик с большим равнодушием.

— Ага,—заметил Кирила Петрович,—слуга в барина: каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо,— сказал Саша.

— Молчи, Александр,—отвечал Кирила Петрович,—не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты—косой—ты мне кажешься малый не промах—Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то, я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

— Добро,—сказал Кирила Петрович,—запереть его куда-нибудь, да смотреть, чтоб он не убежал— или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там, и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Сейчас ехать в город за исправником,—сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами,— да как можно скорее.

— Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь?—думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая: *Гром победы*—Может быть, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник.

— Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.

— Славная весть,—сказал Кирила Петрович,— я поймал Дубровского.

— Слава богу, ваше превосходительство,—сказал исправник с видом обрадованным,—где ж он?

— То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая однакож о Марье Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на всё, что делалось около него.

— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине,—сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.

— Барин хотел,—сказал ему исправник,—посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение—но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение, развязать его.

Мальчика развязали.

— Благодари же барина,—сказал исправник.

Мальчик подошел к Кирилу Петровичу и поцеловал у него руку.

— Ступай себе домой,—сказал ему Кирила Петрович,—да впредь не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел—весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом не оглядываясь через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко — — Окошко поднялось, и старуха показалась.

— Бабушка, хлеба,—сказал мальчик,—я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

— Ах, это ты, Митя, да где ж пропадал, бесенок,—отвечала старуха.

— После расскажу, бабушка, ради бога хлеба.

— Да войди ж в избу.

— Некогда, бабушка—мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба.

— Экой непосед,—проворчала старуха,—на, вот тебе ломтик,—и сунула в окошко ломоть черного хлеба.

Мальчик жадно его прикусил и жуя мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать; легкий и продолжительный свист послышался ему

Пушкинский кабинет ИРЛИ

в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

Глава XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню. Весь дом был в движении—слуги бегали, девки суетились—в сарае кучера закладывали карету. На дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.

— Скоро ли?—раздался у двери голос Кирила Петровича.

— Сию минуту,—отвечала дама,—Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь; хорошо ли?

Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились.

— Невеста готова,—сказала дама Кирилу Петровичу,—прикажите садиться в карету.

— С богом,—отвечал Кирила Петрович, и—взяв со стола образ,—подойди ко мне, Маша,—сказал он ей тронутым голосом,—благословляю тебя——

Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.

— Папенька — — папенька — — — говорила она в слезах, и голос ее замирал.

Кирила Петрович спешил ее благословить—ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженая мать—и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты, и был поражен ее бледностию и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь—за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычным вопросом, она содрогнулась и обмерла—но еще медлила, еще ожидала; священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова.

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и всё еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обежал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово, туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты, и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее—и человек в полумаске, отворив дверцы, со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей:

— Вы свободны, выходите.

— Что это значит,—закричал князь,—кто ты такой——

— Это Дубровский,—сказала княгиня.

Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула, и с ужасом закрыла лицо обеими руками, Дубровский

Пушкинский кабинет ИРЛИ

был ранен в плечо, кровь показалась, князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет. Но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных <рук> вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.

— Не трогать его!—закричал Дубровский,—и мрачные его сообщники отступили.

— Вы свободны,—продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.

— Нет,—отвечала она.—Поздно—я обвенчана, я жена князя Верейского.

— Что вы говорите,—закричал с отчаяния Дубровский,—нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться——

— Я согласилась, я дала клятву,—возразила она с твердостию,—князь мой муж, прикажите освободить его, и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты——но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души—лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови, в отмщение за кровь своего атамана.

Глава XIX

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление—состоящее из вала и рва—за коими находилось несколько шалашей и землянок.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою с искусством, обличающим опытного портного—и поминутно посматривал во все стороны.

Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе—разбойники отобедали, один после другого вставал и молился богу, некоторые разошлись по шалашам,—а другие разбрелись по лесу—или прилегли соснуть, по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку—сел на пушку верхом и запел во всё горло меланхолическую старую песню:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне молодцу думу думати.

В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога.

— Полно тебе, Степка,—сказала она сердито,—барин почивает, а ты знай горланишь—нет у вас ни совести, ни жалости.

— Виноват, Егоровна,—отвечал Степка,—ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает.

Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу.

В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою, раненый Дубровский лежал на походной кровате. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женский серебряный туалет—и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул—в укреплении сделалась тревога—и Степка просунул к нему голову в окошко.

— Батюшка, Владимир Андреевич,—закричал он, наши знак подают, нас ищут.

Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие, и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе, при его появлении настало глубокое молчание.

— Все ли здесь?—спросил Дубровский.

— Все, кроме дозорных,—ответили.

— По местам!—закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определенное место.

В сие время трое дозорных прибежали к воротам—Дубровский пошел к ним навстречу.

— Что такое?—спросил он их.

— Солдаты в лесу,—отвечали они,—нас окружают.

Дубровский велел запереть вороты—и сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов—и стали приближаться—разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу—и тотчас подались назад—выстрелами дав знать товарищам.

— Готовиться к бою,—сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох—снова всё утихло.

Тогда услышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями, человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое

Пушкинский кабинет ИРЛИ

были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали в ров; разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты—оставя во рву человек двадцать раненых товарищей—рукопашный бой завязался—солдаты уже были на валу—разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь, несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали—разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велев отлучаться.

Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его—мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни.

— Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники, и вероятно, не захотите оставить ваше ремесло.

После сей речи он оставил их, взяв с собою од-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ного **. Никто не знал, куда он девался. Сначала сумневались в истине сих показаний—приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении—но последствия их оправдали—грозные посещения, пожары и грабежи прекратились—дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.

<1832—1833>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПИКОВАЯ ДАМА

I

Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.

Новейшая гадательная книга.

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули—бог их прости!—
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом; прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

— Что ты сделал, Сурин?—спросил хозяин.

— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а всё проигрываюсь!

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на *руте?*.. Твердость твоя для меня удивительна.

— А каков Германн!—сказал один из гостей, указывая на молодого инженера,—отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

— Игра занимает меня сильно,—сказал Германн,—но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

— Германн—немец: он расчетлив, вот и всё!—заметил Томский.—А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна.

— Как? что?—закричали гости.

— Не могу постигнуть,—продолжал Томский:—каким образом бабушка моя не понтирует!

— Да что ж тут удивительного,—сказал Нарумов,—что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!..

— О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж, и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть la Vénus moscovite [1]; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он

[1] <московскую Венеру.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу розь, и что есть разница между принцем и каретником.—Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.—«Я могу вам услужить этой суммою,—сказал он,—но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не

Пушкинский кабинет ИРЛИ

желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться».

«Но, любезный граф,—отвечала бабушка,—я говорю вам, что у нас денег вовсе нет».—«Деньги тут не нужны,—возразил Сен-Жермен,—извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякой из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал:

— В тот же самый вечер бабушка явилась в Версали, au jeu de la Reine [1]. Герцог Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.

— Случай!—сказал один из гостей.

— Сказка!—заметил Германн.

— Может статься, порошковые карты?—подхватил третий.

— Не думаю,—отвечал важно Томский.

— Как!—сказал Нарумов,—у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики?

— Да, чорта с два!—ответил Томский:—у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец; все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них, и даже для меня. Но вот, что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл—помнится, Зоричу,—около трех сот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то

[1] <на карточный вечер у королевы.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтоб он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе,—отыгрался, и остался еще в выигрыше...

Однако пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уже рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.

II

— Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.

— Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches [1].

Светский разговор.

Старая графиня *** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохранила все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов, и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman [2],—сказал, вошедши, молодой офицер.—Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman, я к вам с просьбою.

— Что такое, Paul?

— Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

---

[1] <— Вы, кажется, определенно предпочитаете служанок?
— Что прикажете, сударыня? Они более свежи.>

[2] <бабушка>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у ***?

— Как же! очень было весело; танцовали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я, чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна?

— Как, постарела?—отвечал рассеянно Томский:—она лет семь как умерла.

Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

— Умерла!—сказала она:—а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

— Ну, Paul,—сказала она потом,—теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

— Кого это вы хотите представить?—тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный, или статский?

— Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась, и не отвечала ни слова.

— Paul!—закричала графиня из-за ширмов,—пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Как это, grand'maman?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!

— Простите, grand'maman: я спешу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.

— Прикажи, Лизанька,—сказала она,—карету закладывать и поедем прогуляться.

Лизанька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли!—закричала графиня.—Вели скорей закладывать карету.

— Сейчас!—отвечала тихо барышня, и побежала в переднюю.

Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить,—сказала графиня.— Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

— Одеваться.

— Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

— Громче!—сказала графиня.—Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. Погоди: подвинь мне скамеечку; ближе... ну!—

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу,—сказала она:—что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить... Да что ж карета?..

— Карета готова,—сказала Лизавета Ивановна, выглянув на улицу.

— Что ж ты не одета?—сказала графиня,—всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

— Что это вас не докличешься?—сказала им графиня.—Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

— Наконец, мать моя!—сказала графиня.—Что за наряды: Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода?—кажется, ветер.

— Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с!—отвечал камердинер.

— Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку! Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

— И вот моя жизнь!—подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня ***, конечно, не имела злой души; но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света; таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все, то есть, как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали и никто не замечал; на балах она танцовала только тогда, как не доставало vis-à-vis и дамы брали ее под руку всякой раз, как им нужно было итти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя,—с нетерпением ожидала избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклееные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале!

Однажды,—это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились,—однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова за-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нялась работой; через пять минут взглянула опять,— молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы, и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было,—и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником; черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку,— офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение,—подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякой раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась...

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в не-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

обходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее*,—а между тем, целые ночи просиживал за карточными столами, и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. —Что, если,—думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу,—что, если старая графиня откроет мне свою тайну!—или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастия? Представиться ей, подбиться в ее милость,—пожалуй, сделаться ее любовником,—но на всё это требуется время—а ей восемьдесят семь лет,—она может умереть через неделю,—через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!—

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Чей это дом?—спросил он у углового будочника.

— Графини ***,—отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини ***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

III

> Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire [1].
>
> *Переписка.*

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек

---

[1] <Вы пишете мне, мой ангел, письма на четырех страницах скорее, чем я могу их прочесть.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку, и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился?—как зовут этот мост?—что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад, и рассердила графиню.

—Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю, и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было незапечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово-в-слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка, и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям?—отослать ли ему письмо?—отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться: у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу,—и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо,—и рвала его: то выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена,—писала она,—что вы имеете честные намерения, и что вы не

Пушкинский кабинет ИРЛИ

хотели оскорбить меня необдуманным поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение».

На другой день, увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку, и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германн подбежал, поднял его, и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал, и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня после того, Лизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки.

Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись,—сказала она:—эта записка не ко мне.

— Нет, точно к вам!—отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки.—Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германн требовал свидания.

— Не может быть!—сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу, им употребленному.—Это письмо верно не ко мне!— И разорвала письмо на мелкие кусочки.

— Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали?—сказала мамзель:—я бы возвратила его тому, кто его послал.

— Пожалуйста, душенька!—сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания:—вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно...

Но Германн не унялся: Лизавета Ивановна каж-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать,—и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо:

— «Сегодня бал у ***ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет,—и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите всё прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока.—Германн стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще с головою,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

убранною свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы,—было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн вступил на графинино крыльцо и взошел в яркоосвещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симетрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже M-me Lebrun. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою; другой—молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева—другая, в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Всё было тихо. В гостиной

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать—и всё умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра—и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в Вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести, и снова умолкло. Он окаменел.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в Вольтеровы кресла, и отослала горничных. Свечи внесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь!—сказал он внятным и тихим голосом.—Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала попрежнему.

— Вы можете,—продолжал Германн,—составить счастие моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка,—сказала она наконец,—клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить,—возразил сердито Германн.—Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы,—продолжал Германн,—назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того; они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот всё-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился, и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

— Если когда-нибудь,—сказал он,—сердце ваше

Пушкинский кабинет ИРЛИ

знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери,—всем, что ни есть святого в жизни,—не откажите мне в моей просьбе!—откройте мне вашу тайну!—что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго,—я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастие человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма!—сказал он, стиснув зубы:—так я ж заставлю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою, и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатилась навзничь... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться,—сказал Герман, взяв ее руку.—Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты?—да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.

IV

7 Mai 18*.
Homme sans moeurs et sans religion! [1]
Переписка.

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие

[1] <7 мая 18*. Человек без нравственности и без религии.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу—сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека,—и уже она была с ним в переписке,—и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцовал с нею бесконечную мазурку. Во всё время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы всё это знаете?—спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы,—отвечал Томский:—человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги похолодели...

— Этот Германн,—продолжал Томский,—лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а

Пушкинский кабинет ИРЛИ

душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Как вы побледнели!..

— У меня голова болит... Что же говорил вам Германн,—или как бишь его?..

— Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

— Да где ж он меня видел?

— В церкви, может быть,—на гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами—oubli ou regret?[1]—прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна ***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом.— Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это, уже пошлое лицо, пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову еще убранную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

— Где же вы были?—спросила она испуганным шопотом.

---

[1] <забвение или сожаление?>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— В спальне у старой графини,—отвечал Германн,—я сейчас от нее. Графиня умерла.

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется,—продолжал Германн,—я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!* Германн сел на окошко подле нее и всё рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. И так, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, всё это было не любовь! Деньги,—вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она, в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее, молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

— Вы чудовище!—сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти,—отвечал Германн:—пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Как вам выйти из дому?—сказала наконец Ли-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

завета Ивановна.—Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно итти мимо спальни, а я боюсь.

— Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную, безответную руку, поцаловал ее наклоненную голову и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице, и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключем, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

V

> В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон-В***. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»
>
> *Шведенборг.*

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в*** монастырь, где должны

[1] <журавлем>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь,—и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре,—дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы—une affectation[1]. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее», сказал оратор, «бодрствующую в помышлениях благих, и в ожидании жениха полунощного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли—и одна пролила несколько слез, поцало-

[1] <притворством.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вав холодную руку госпожи своей. После нее Германн решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об земь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: Oh?

Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать, и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко,—и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Чрез минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним,—и Герман узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли,—сказала она твердым голосом,—но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду,—но с тем, чтоб ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку, и записал свое видение.

VI

— *Атáнде!*
— Как вы смели мне сказать *атáнде?*
— Ваше превосходительство, я сказал *атáнде-с!*

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз—скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз—не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил:—Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная. У него спрашивали: который час, он отвечал:—без пяти минут семерка.—Всякой пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз—преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного

Пушкинский кабинет ИРЛИ

грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну,—воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова была покрыта серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.

Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец

Пушкинский кабинет ИРЛИ

талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту,—сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.

— Идет!—сказал Германн, надписав мелом куш над своею картою.

— Сколько-с?—спросил, прищуриваясь, банкомет:—извините-с, я не разгляжу.

— Сорок семь тысяч,—отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германна.—Он с ума сошел!—подумал Нарумов.

— Позвольте заметить вам,—сказал Чекалинский с неизменною своею улыбкою,—что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем здесь еще не ставил.

— Что ж?—возразил Германн:—бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

— Я хотел только вам доложить,—сказал он,—что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

— Выиграла!—сказал Германн, показывая свою карту.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Между игроками поднялся шопот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

— Изволите получить?—спросил он Германна.

— Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером, он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но всё улыбающегося, Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл!—сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита,—сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза, у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха!—закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор.—Славно спонтировал!—говорили игроки.—Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

Заключение

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро:—Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!...

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.

<1834>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

КИРДЖАЛИ

Повесть

Кирджали был родом булгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю.

Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Чтоб дать о нем некоторое понятие, расскажу один из его подвигов. Однажды ночью он и арнаут Михайлаки напали вдвоем на булгарское селение. Они зажгли его с двух концов, и стали переходить из хижины в хижину. Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу. Оба кричали: Кирджали! Кирджали! Всё селение разбежалось.

Когда Александр Ипсиланти обнародовал возмущение и начал набирать себе войско, Кирджали привел к нему несколько старых своих товарищей. Настоящая цель этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться на счет турок, а может быть и молдаван—и это казалось им очевидно.

Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб

Пушкинский кабинет ИРЛИ

цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться, и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодяями. Эти трусы и негодяи, большею частию, погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля вдесятеро сильнейшего.

Кирджали находился в отряде Георгия Кантакузина, о котором можно повторить то же самое, что сказано о Ипсиланти. Накануне сражения под Скулянами, Кантакузин просил у русского начальства позволение вступить в наш карантин. Отряд остался без предводителя; но Кирджали, Сафьянос, Кантагони и другие не находили никакой нужды в предводителе.

Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албанцев, греков, булгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута и выставил перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря, и из которых, бывало, палили во время именинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился, и разбранил за то маиора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Маиор, не зная, что делать, побежал к реке, за которой гарцовали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и весь турецкий отряд. Маиор, погрозивший пальцем, назывался Хорчевский. Не знаю, что с ним сделалось.

На другой день, однако ж, турки атаковали этеристов. Не смея употреблять ни картечи, ни ядер, они решились, вопреки своему обыкновению, действовать холодным оружием. Сражение было жестоко. Резались атаганами. Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые: эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах. Этеристы, с разрешения нашего государя, могли перейти Прут, и скрыться в нашем карантине. Они начали переправляться. Кантагони и Сафьянос остались последние на турецком берегу. Кирджали, раненый накануне, лежал уже в карантине. Сафьянос был убит. Кантагони, человек очень толстый, ранен был копьем в брюхо. Он одной рукой поднял саблю, другою схватился за вражеское копье, всадил его в себя глубже, и таким образом мог достать саблею своего убийцу, с которым вместе и повалился.

Всё было кончено. Турки остались победителями. Молдавия была очищена. Около шести сот арнаутов рассыпались по Бессарабии; не ведая, чем себя прокормить, они всё ж были благодарны России за ее покровительство. Они вели жизнь праздную, но не беспутную. Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашечек. Их узорные куртки и красные востроносые туфли начинали уж изнашиваться, но хохлатая скуфейка всё же еще надета была на бекрень, а атаганы и пистолеты всё еще торчали из-за широких поясов. Никто на них не жаловался. Нельзя было и подумать, чтоб эти мирные бедняки были известнейшие клефты Молдавии, товарищи грозного Кирджали, и чтоб он сам находился между ими.

Паша, начальствовавший в Яссах, о том узнал, и,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

на основании мирных договоров, потребовал от русского начальства выдачи разбойника.

Полиция стала доискиваться. Узнали, что Кирджали в самом деле находится в Кишиневе. Его поймали в доме беглого монаха, вечером, когда он ужинал, сидя в потемках с семью товарищами.

Кирджали засадили под караул. Он не стал скрывать истины, и признался, что он Кирджали. «Но,— прибавил он,—с тех пор, как я перешел за Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для валахов я конечно разбойник, но для русских я гость. Когда Сафьянос, расстреляв всю свою картечь, пришел к нам в карантин, отбирая у раненых для последних зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники с атаганов, я отдал ему двадцать бешлыков и остался без денег. Бог видит, что я, Кирджали, жил подаянием! За что же теперь русские выдают меня моим врагам?» После того Кирджали замолчал и спокойно стал ожидать разрешения своей участи.

Он дожидался не долго. Начальство, не обязанное смотреть на разбойников с их романтической стороны и убежденное в справедливости требования, повелело отправить Кирджали в Яссы.

Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место, живо описывал мне его отъезд.

У ворот острога стояла почтовая каруца... (Может быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая плетеная тележка, в которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть или восемь клячонок. Молдаван в усах и в бараньей шапке, сидя верхом на одной из них, поминутно кричал и хлопал бичом, и клячонки его бежали рысью довольно крупной. Если одна из них начинала приставать, то он отпрягал ее с ужасными проклятиями, и бросал на дороге, не

Пушкинский кабинет ИРЛИ

заботясь об ее участи. На обратном пути он уверен был найти ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нередко случалось, что путешественник, выехавший из одной станции на осьми лошадях, приезжал на другую на паре. Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в обрусевшей Бессарабии переняли русскую упряжь и русскую телегу.)

Таковая каруца стояла у ворот острога в 1821 году, в одно из последних чисел сентября месяца. Жидовки, спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты в своем оборванном и живописном наряде, стройные молдаванки с черноглазыми ребятами на руках окружали каруцу. Мужчины хранили молчание, женщины с жаром чего-то ожидали.

Ворота отворились, и несколько полицейских офицеров вышли на улицу; за ними двое солдат вывели скованного Кирджали.

Он казался лет тридцати. Черты смуглого лица его были правильны и суровы. Он был высокого росту, широкоплеч, и вообще в нем изображалась необыкновенная физическая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкий пояс обхватывал тонкую поясницу; долиман из толстого синего сукна, широкие складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальной его наряд. Вид его был горд и спокоен.

Один из чиновников, краснорожий старичок, в полинялом мундире, на котором болтались три пуговицы, прищемил оловянными очками багровую шишку, заменявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, начал читать на молдавском языке. Время от времени он надменно взглядывал на скованного Кирджали, к которому, повидимому, относилась бумага. Кирджали слушал его со вниманием. Чиновник кончил свое чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ, приказав ему раздаться—и велел подвезти каруцу. Тогда Кирджали обратился к не-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

му, и сказал ему несколько слов на молдавском языке; голос его дрожал, лицо изменилось; он заплакал и повалился в ноги полицейского чиновника, загремев своими цепями. Полицейский чиновник, испугавшись, отскочил; солдаты хотели было приподнять Кирджали, но он встал сам, подобрал свои кандалы, шагнул в каруцу и закричал: *гайда!* Жандарм сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и каруца покатилась.

— Что это говорил вам Кирджали?—спросил молодой чиновник у полицейского.

— Он (видите-с) просил меня,—отвечал, смеясь, полицейский,—чтоб я позаботился о его жене и ребенке, которые живут недалече от Килии в болгарской деревне—он боится, чтоб и они *из-за него* не пострадали. Народ глупый-с.

Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль бедного Кирджали. Долго не знал я ничего об его участи. Несколько лет уж спустя, встретился я с молодым чиновником. Мы разговорились о прошедшем.

— А что ваш приятель Кирджали?—спросил я,— не знаете ли, что с ним сделалось?

— Как не знать,—отвечал он, и рассказал мне следующее:

Кирджали, привезенный в Яссы, представлен был паше, который присудил его быть посажену на кол. Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покамест заключили его в тюрьму.

Невольника стерегли семеро турок (люди простые и в душе такие же разбойники, как и Кирджали); они уважали его, и с жадностию, общею всему Востоку, слушали его чудные рассказы.

Между стражами и невольником завелась тесная связь. Однажды Кирджали сказал им: Братья! час мой близок. Никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Турки развесили уши.

— Братья,—продолжал Кирджали,—три года тому назад, как я разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече от Ясс котел с *гальбинами*. Видно ни мне, ни ему не владеть этим кладом. Так и быть: возьмите его себе и разделите его полюбовно.

Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место? Думали, думали и положили, чтобы Кирджали сам их повел.

Настала ночь. Турки сняли оковы с ног невольника, связали ему руки веревкою, и с ним отправились из города в степь.

Кирджали их повел, держась одного направления, от одного кургана к другому. Они шли долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил двенадцать шагов на полдень, топнул и сказал: *здесь*.

Турки распорядились. Четверо вынули свои атаганы и начали копать землю. Трое остались на страже. Кирджали сел на камень, и стал смотреть на их работу.

— Ну что, скоро ли?—спрашивал он,—дорылись ли?

— Нет еще,—отвечали турки, и работали так, что пот лил с них градом.

Кирджали стал оказывать нетерпение.

— Экой народ,—говорил он.—И землю-то копать порядочно не умеют. Да у меня дело было бы кончено в две минуты. Дети! развяжите мне руки, дайте атаган.

Турки призадумались, и стали советоваться.—Что же? (решили они) развяжем ему руки, дадим атаган. Что за беда? Он один, нас семеро.—И турки развязали ему руки и дали ему атаган.

Наконец Кирджали был свободен и вооружен. Что-то должен он был почувствовать!.. Он стал про-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ворно копать, сторожа ему помогали... Вдруг он в одного из них вонзил свой атаган и, оставя булат в его груди, выхватил из-за его пояса два пистолета.

Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженного двумя пистолетами, резбежались.

Кирджали ныне разбойничает около Ясс. Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч *левов* и грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь Яссы, и добраться до самого господаря. Пять тысяч левов были ему доставлены.

Каков Кирджали?

<1834>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

Глава I

— Quel est cet homme?
— Ha, c'est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut.
— Il devroit bien, madame, s'en faire une culotte [1].

Чарский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати лет; он не был женат; служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший виц-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень приятна; но он имел несчастие писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинителем.

Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться, кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кой-каких, так называемых, поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем)—как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвер-

[1] <Кто этот человек?—О, это большой талант; он делает из своего голоса всё, что захочет.—Ему бы следовало, сударыня, сделать себе из него штаны.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

жены большим невыгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него, как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее *пользы и удовольствия*. Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека, тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он—красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии. Приедет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла! Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что привествия, запросы, альбомы и мальчишки так ему надоедали, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости.

Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьи литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостию и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя; книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было того беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставал его с пером в руках. Трудно по-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

верить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный впрочем талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах, и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое. Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастие. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новенького?

Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли.—Чарский погружен был душою в сладостное забвение... и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали.—Он писал стихи.

Вдруг дверь его кабинета скрыпнула, и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился.

— *Кто там?*—спросил он с досадою, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней.

Незнакомец вошел. Он был высокого росту, худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкаю-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

щие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желтосмуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым черным галстуком на его желтоватой манишке блестел фальшивй алмаз; шершавая шляпа, казалось, видала и вёдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе—за политического заговорщика; в передней—за шарлатана, торгующего элексирами и мышьяком.

— Что вам надобно?—спросил его Чарский на французском языке.

— Signor,—отвечал иностранец с низкими поклонами,—Lei voglia perdonarmi si...[1]

Чарский не предложил ему стула и встал сам, разговор продолжался на италианском языке.

— Я неаполитанский художник,—говорил незнакомый,—обстоятельства принудили меня оставить отечество; я приехал в Россию в надежде на свой талант.

Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончеле и развозит по домам свои билеты. Он уж хотел вручить ему свои двадцать пять рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил:

— Надеюсь, signor, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ.

Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскорбления более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом.

— Позвольте спросить, кто вы такой, и за кого вы меня принимаете?—спросил он, с трудом удерживая свое негодование.

---

[1] <Сударь, простите пожалуйста, если...>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Неаполитанец заметил его досаду.

— Signor,—отвечал он запинаясь...—Но creduto... Но sentito... la vostra eccelenza mi perdonera[1]....

— Что вам угодно?—повторил сухо Чарский.

— Я много слыхал о вашем удивительном таланте; я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту,—отвечал итальянец,—и потому осмелился к вам явиться...

— Вы ошибаетесь, signor,—прервал его Чарский,—звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ: наши поэты сами господа, и если наши меценаты (чорт их побери!) этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения libretto. У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения. Впрочем, вероятно, вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава богу, с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.

Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках,— поразили его. Он понял, что между надменным dandy[2], стоящим перед ним в хохлатой парчевой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстуке и поношенном фраке—ничего не было общего. Он проговорил несколько несвязных извинений, поклонился и хотел выти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия.

[1] <Сударь... я полагал... Мне казалось... что ваше сиятельство простит меня...>

[2] <дэнди, щеголь>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Куда же вы?—сказал он итальянцу.—Постойте... Я должен был отклонить от себя незаслуженное титло и признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?

— Нет, eccelenza![1]—ответил итальянец,—я бедный импровизатор.

— Импровизатор! — вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения.—Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор?—и Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния.

Дружеский вид его ободрил италиянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях. Наружность его не была обманчива. Ему деньги были нужны; он надеялся в России коё-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием.

— Я надеюсь,—сказал он бедному художнику,— что вы будете иметь успех: здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено; правда, итальянский язык у нас не в употреблении; вас не поймут; но это не беда; главное—чтоб вы были в моде.

— Но если у вас никто не понимает итальянского языка,—сказал призадумавшись импровизатор,—кто ж поедет меня слушать?

— Поедут, не опасайтесь: иные из любопытства, другие, чтоб провести вечер как-нибудь, третьи, чтоб показать, что понимают итальянский язык; повторяю, надобно только, чтоб вы были в моде; а вы уж будете в моде, вот вам моя рука.

Чарский ласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и———

В тот же вечер он поехал за него хлопотать.

---

[1] <ваше сиятельство>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава II

Я царь, я раб, я червь, я бог.
Державин.

На другой день Чарский в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-ый номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний италиянец отворил ее.

— Победа!—сказал ему Чарский,—ваше дело в шляпе. Княгиня** дает вам свою залу—вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга; печатайте билеты и объявления. Ручаюсь вам, если не за триумф, то по крайней мере за барыш...

— А это главное!—вскричал италиянец, изъявляя свою радость живыми движениями, свойственными южной его породе.—Я знал, что вы мне поможете. Corpo di Bacco![1] Вы поэт, так же, как и я; а что ни говори, поэты славные ребята! Как изъявлю вам мою благодарность? Постойте.... хотите ли выслушать импровизацию?

— Импровизацию!.. разве вы можете обойтиться и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий?

— Пустое, пустое! где найти мне лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне целой бури рукоплесканий... Садитесь где-нибудь и задайте мне тему.

Чарский сел на чемодане (из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем). Импровизатор взял со стола гитару—и стал перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа.

— Вот вам тема,—сказал ему Чарский,—*поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением.*

---

[1] <Чорт возьми!>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глаза итальянца засверкали—он взял несколько аккордов—гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его... Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памяти Чарского.

. . . . . .

Италиянец умолк... Чарский молчал, изумленный и растроганный.

— Ну что?—спросил импровизатор.

Чарский схватил его руку и сжал ее крепко.

— Что?—спросил импровизатор,—каково?

— Удивительно, — отвечал поэт. — Как? чужая мысль чуть коснулась вашего слуха, и уже стала вашею собственностию, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Итак, для вас не существует ни труда, ни охлажденія, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?.. Удивительно, удивительно!..

Импровизатор отвечал:

— Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными, однообразными стопами?— Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею—тщетно я сам захотел бы это изъяснять. Однако... надобно подумать о моем первом вечере. Как вы полагаете? Какую цену можно будет назначить за билет, чтобы публике не слишком было тяжело, и чтобы я между тем не остался в накладе? Говорят, la signora Catalani брала по 25 рублей? Цена хорошая...

Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень хорошо

Пушкинский кабинет ИРЛИ

понимал житейскую необходимость и пустился с италиянцем в меркантильные расчеты. Италиянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведенное в нем блестящим импровизатором. Озабоченный италиянец не заметил этой перемены и проводил <его> по коридору и по лестнице с глубокими поклонами и увереньями в вечной благодарности.

Глава III

Цена за билет 10 рублей;
начало в 7 часов.
Афишка.

Зала княгини ** отдана была в распоряжение импровизатору. Подмостки были сооружены; стулья расставлены в двенадцать рядов; в назначенный день, с семи часов вечера, зала была освещена, у дверей перед столиком для продажи и приема билетов сидела старая долгоносая женщина в серой шляпке с надломленными перьями и с перстнями на всех пальцах. У подъезда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарский приехал из первых. Он принимал большое участие в успехе представления и хотел видеть импровизатора, чтоб узнать, всем ли он доволен. Он нашел итальянца в боковой комнатке, с нетерпением посматривающего на часы. Итальянец одет был театрально; он был в черном с ног до головы; кружевной воротник его рубашки был откинут, голая шея своею странной белизною ярко отделялась от густой и черной бороды, волоса опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Все это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра. Он после короткого раз-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

говора возвратился в залу, которая более и более наполнялась.

Вскоре все ряды кресел были заняты блестящими дамами; мужчины стесненной рамою стали у подмостков, вдоль стен и за последними стульями. Музыканты с своими пульпитрами занимали обе стороны подмостков. Посредине стояла на столе фарфоровая ваза. Публика была многочисленна. Все с нетерпением ожидали начала; наконец в половине осьмого музыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли увертюру из «Танкреда».———Всё уселось и примолкло—последние звуки увертюры прогремели... И импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон, с низкими поклонами приближился к самому краю подмостков.

Чарский с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута, но он заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику: сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках, с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей. Плеск утих; говор умолк.

...Италиянец, изъясняясь на плохом французском языке, просил господ посетителей назначить несколько тем, написав их на особых бумажках. При этом неожиданном приглашении все молча поглядели друг на друга, и никто ничего не отвечал. Италиянец, подождав немного, повторил свою просьбу робким и смиренным голосом. Чарский стоял под самыми подмостками, им овладело беспокойство; он предчувствовал, что дело без него не обойдется и что принужден он будет написать свою тему. В самом деле, несколько дамских головок обратились к нему и стали вызывать его сперва вполголоса, потом громче и громче. Услыша имя его, импровизатор отыскал его глазами у своих ног и подал ему карандаш и клочок бумаги с дружескою улыбкою. Играть роль

Пушкинский кабинет ИРЛИ

в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно, но делать было нечего; он взял карандаш и бумагу из рук италиянца, написал несколько слов; италиянец, взяв со стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чарскому, который бросил в нее свою тему. Его пример подействовал; два журналиста, в качестве литераторов, почли обязанностию написать каждый по теме; секретарь неаполитанского посольства и молодой <человек>, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции,—положили в урну свои свернутые бумажки; наконец, одна некрасивая девица, по приказанию своей матери, со слезами на глазах написала несколько строк по-италиянски и, покраснев по уши, отдала их импровизатору, между тем как дамы смотрели на нее молча, с едва заметной усмешкою.—Возвратясь на свои подмостки, импровизатор поставил урну на стол и стал вынимать бумажки одну за другой, читая каждую вслух:

— Семейство Ченчи (La famiglia dei Cenci).

L'ultimo giorno di Pompeia.

Cleopatra e i suoi amanti.

La primavera veduta da una prigione.

Il trionfo di Tasso[1].

— Что прикажет почтенная публика?—спросил смиренный италиянец, назначит ли мне сама один из предложенных предметов, или предоставит решить это жребию?..

— Жребий!..—сказал один голос из толпы.—Жребий, жребий!—повторила публика.

Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил, кому угодно будет вынуть тему? Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к

---

[1] <Последний день Помпеи.—Клеопатра и ее любовники.—Весна в темнице.—Торжество Тассо.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

северному равнодушию, казалось, страдал... вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке—он с живостию оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток.

— Извольте развернуть и прочитать,—сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух: Cleopatra e i suoi amanti.—Эти слова были произнесены тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки.

— Господа,—сказал он, обратясь к публике,— жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовников. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою мысль: о каких любовниках здесь идет речь, perchè la grande regina aveva molto[1]...

При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился.

— Я желал бы знать,—продолжал он,—на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему... Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться.

Никто не торопился отвечать. Несколько дам оборотили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию своей матери. Бедная девушка заметила это неблагосклонное внимание и так смутилась, что слёзы повисли на ее ресницах... Чарский не мог этого вынести и, обратясь к импровизатору, сказал ему на итальянском языке:

— Тема предложена мною. Я имел в виду показание Аврелия Виктора, который пишет, будто бы

[1] <потому что великая царица имела много...>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Клеопатра назначила смерть ценою своей любви, и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило... мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен... не выберете ли вы другого?..

Но уже импровизатор чувствовал приближение бога... он дал знак музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась.

. . . . . .

Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир;
Сердца неслись к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...

И пышный пир как будто дремлет.
Безмолвны гости. Хор молчит.
Но вновь она чело подъемлет
И с видом ясным говорит:
В моей любви для вас блаженство.
Блаженство можно вам купить...
Внемлите ж мне: могу равенство
Меж нами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?—

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Рекла—и ужас всех объемлет,
И страстью дрогнули сердца...
Она смущенный ропот внемлет
С холодной дерзостью лица,
И взор презрительный обводит
Кругом поклонников своих...
Вдруг из толпы один выходит,
Вослед за ним и два других.
Смела их поступь; ясны очи;
Навстречу им она встает;
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовет.

.

Благословенные жрецами,
Теперь из урны роковой
Пред неподвижными гостями
Выходят жребии чредой.
И первый—Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседелый;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья;
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.
За ним Критон, младой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура,
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура.
Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты
Пух первый нежно отенял;
Восторг в очах его сиял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

И грустный взор остановила
Царица гордая на нем.

— Клянусь...—о матерь наслаждений,
Тебе неслыханно служу,
На ложе страстных искушений
Простой наемницей всхожу.
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
О боги грозного Аида,
Клянусь—до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утолю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утомлю.
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь—под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет—.
. . . . . .
И вот уже сокрылся день,
Восходит месяц златорогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампады,
Курится легкий фимиам,
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам.
В роскошном сумрачном покое
Средь обольстительных чудес
Под сенью пурпурных завес
Блистает ложе золотое...
. . . . . .

<1835>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Береги честь смолоду.

Пословица.

Глава I

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

Был бы гвардии он завтра ж капитан.
— Того не надобно: пусть в армии послужит.
Изрядно сказано! Пускай его потужит...
. . . . . .
Да кто его отец?

Княжнин.

Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минихе, и вышел в отставку премьер-маиором в 17.. году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости маиора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по нынешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором, на двенадца-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

том году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу»—ворчал он про себя—«кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel[1], не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малой, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; не редко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили: то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке, и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски—и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила,

[1] <чтобы сделаться учителем>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей, и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно, и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей, и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный Календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный Календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

то бывало по целым часам не выпускал уж из своих рук. И так батюшка читал Придворный Календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы?».. Наконец батюшка швырнул календарь на диван, и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок—отвечала матушка.—Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...

«Добро»—прервал батюшка,—«пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим, да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что по мнению моему было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

«Не забудь, Андрей Петрович»—сказала матушка—«поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями».

— Что за вздор!—отвечал батюшка нахмурясь.— К какой стати стану я писать к князю Б.?

«Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Ну, а там что?

«Да ведь начальник Петрушин—князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк».

— Записан! А мне какое дело, что он записан! Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он служа в Петербурге? Мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его паспорт? Подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол, и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило. Куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

И так, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего! На другой день по утру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников: за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кабитку с Савельичем, и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четвериньках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четвериньках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова, и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, повидимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр** гусарского полка и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе, чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать к службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это»—говорил он—«необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко. Чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в

Пушкинский кабинет ИРЛИ

трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден, и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко одобрял меня, дивился моим быстрым успехам; и после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу, что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом,—вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий, и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось?»—сказал он жалким голосом.—«Где ты это нагрузился? Ахти, господи! отроду такого греха не бывало!»—Молчи, хрыч!—отвечал я ему, запинаясь;—ты верно пьян, пошел спать... и уложи меня.

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич»,—сказал он мне, качая головою—«рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего; отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволила брать. А кто всему виноват? Проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, водки». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать; добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне стало стыдно. Я отвернулся и сказал ему:Поди вон, Савельич; я чаю не хочу. Но Савельича мудрено было унять, когда бывало примется за проповедь. «Вод видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что негоден... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел, и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам

Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный, и обратясь к Савельичу, который был и *денег и белья и дел моих рачитель*, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как? зачем?»—спросил изумленный Савельич.—Я их ему должен—отвечал я со всевозможной холодностию.—«Должен!»—возразил Савельич,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

час от часу приведенный в большее изумление;— «да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и взглянув на него гордо, сказал: Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать, и делать то, что тебе приказывают.

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. Что же ты стоишь!— закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич»,—произнес он дрожащим голосом— «не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика, напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко на крепко заказали не играть, окроме как в орехи»...

— Полно врать—прервал я строго—подавай сюда деньги, или я тебя в зашей прогоню.

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава II

ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая,
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня.

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой по тогдашним ценам был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик сидел угрюмо на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал, с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват: вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх! батюшка Петр Андреич!—отвечал он с глубоким вздохом.—Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только! Как покажусь я на глаза господам? Что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-по-малу успокоился, хотя всё еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал: «Барин, не прикажешь ли воротиться?»

— Это зачем?

«Время ненадежно: ветер слегка подымается;— вишь, как он сметает порошу».

— Что ж за беда!

«А видишь там что?» (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

«А вон—вон: это облачко».

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно с мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег—и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин»,—закричал ямщик— «беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что

Пушкинский кабинет ИРЛИ

казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом—и скоро стали.

«Что же ты не едешь?»—спросил я ямщика с нетерпением.—Да что ехать?—отвечал он, слезая с облучка;—невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом.—Я стал было его бранить. Савельич за него заступился: «И охота было не слушаться»—говорил он сердито—«воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!»—Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик!»—закричал я—«смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться.—А бог знает, барин,—сказал он, садясь на свое место;—воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк или человек.

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый человек!»—закричал ему ямщик.—«Скажи, не знаешь ли где дорога?»

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе,—отвечал дорожный,—да что толку?

— Послушай, мужичок,—сказал я ему—знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— «Сторона мне знакомая»—отвечал дорожный—«слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да вишь какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться, да переждать, авось буран

Пушкинский кабинет ИРЛИ

утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам».

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо, да поезжай».—А почему ехать мне вправо?—спросил ямщик с неудовольствием.—Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой.—Ямщик казался мне прав. «В самом деле»—сказал я:—«почему думаешь ты, что жило не далече?»—А потому, что ветер оттоле потянул—отвечал дорожный,—и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко.—Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил цыновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть, и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтоб батюшка не прогневался

Пушкинский кабинет ИРЛИ

на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки, и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише»,—говорит она мне—«отец болен, при смерти, и желает с тобою проститься».— Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели; матушка приподнимает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал: он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего, вижу в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей:—Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?—«Всё равно, Петруша»,— отвечала мне матушка—«это твой посаженный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит»... Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение»... Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич держал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

— Куда приехали?—спросил я, протирая глаза. «На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее, да обогрейся».

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но

Пушкинский кабинет ИРЛИ

довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый?—спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие»,—отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза.—Что, брат, прозяб?—«Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость,—прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье. Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе»—сказал он—«опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?»—Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огороде летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком—да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши!—отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор.—Стали было к вечерни звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.—«Молчи, дядя»;—возразил мой бродяга—«будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, бу-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!»—При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне, и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул, как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь, и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку!»—сказал он,—«за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из

Пушкинский кабинет ИРЛИ

беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. Хорошо—сказал я хладнокровно;—если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп.

«Помилуй, батюшка Петр Андреич!»—сказал Савельич.—«Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке».

— Это, старинушка, уж не твоя печаль—сказал мой бродяга,—пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу с своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

«Бога ты не боишься, разбойник!»—отвечал ему Савельич сердитым голосом.—«Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища».

— Прошу не умничать,—сказал я своему дядьке;—сейчас неси сюда тулуп.

«Господи владыко!»—простонал мой Савельич.—«Заячий тулуп почти новешенький! И добро бы кому, а то пьянице оголелому!»

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился, и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». — Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину роста высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем

Пушкинский кабинет ИРЛИ

белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкй выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой!»—сказал он.—«Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет; а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!»—Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания: «Милостивый государь Иван Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»..... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?..... «ваше превосходительство не забыло»... гм... и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку»... Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... гм.... «держать в ежевых рукавицах». .. Что такое ешевы рукавиц? Это должно быть русска поговорк... Что такое «держать в ешевых рукавицах»? повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит,—отвечал я ему с видом как можно более невинным,—обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежевых рукавицах.

«Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно ешевы рукавицы значит не то... «При сем... его паспорт»... Где ж он? А, вот... «отписать в Семеновский»... Хорошо, хорошо: всё будет сделано... «Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом»—а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка,—сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт—всё будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим отобедать у меня».

Час от часу не легче! подумал я про себя; к чему послужило мне то, что почти в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей!.. Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

Глава III

КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку.
Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня.

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль.

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня

Пушкинский кабинет ИРЛИ

привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро.—Далече ли до крепости?—спросил я у своего ямщика.—«Недалече»—отвечал он.—«Вон уж видна».—Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными.—Где же крепость?—спросил я с удивлением.—«Да вот она»—отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка»,—отвечал инвалид;—«наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?»—спросила

Пушкинский кабинет ИРЛИ

она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет»—сказала она;—«он пошел в гости к отцу Герасиму; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить»—сказал он;—«вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить»—продолжал он,—«зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки»—продолжал неутомимый вопрошатель.—«Полно врать пустяки»—сказала ему капитанша;—«ты видишь, молодой человек с дороги устал: ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...) А ты, мой батюшка»,—продолжала она, обращаясь ко мне—«не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч!»—сказала ему капитанша.—«Отведи г. офицеру квартиру, да почище».—«Слушаю, Василиса Егоровна»,—отвечал урядник.—«Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?»—«Врешь, Максимыч»,—сказал капитанша:—«у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его

Пушкинский кабинет ИРЛИ

начальники. Отведи г. офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка?»—Петр Андреич.—«Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну что, Максимыч, всё ли благополучно?»

— Всё, славу богу, тихо,—отвечал казак;—только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

«Иван Игнатьич!»—сказала капитанша кривому старичку.—«Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру».

Я откланялся, Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день по утру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня»—сказал он мне по-французски—«что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец че-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ловéчéское лицо так овладéло мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени».—Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень неглуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался итти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас итти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь»—прибавил он—«нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился!»—сказала комендантша.—Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?»—Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочку, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи

Пушкинский кабинет ИРЛИ

барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться».—Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка?»—сказала ему жена.—«Кушанье давным давно подано, а тебя не дозовешься».—А слышь ты, Василиса Егоровна,—отвечал Иван Кузмич,—я был занят службой: солдатушек учил.

«И, полно!»—возразила капитанша.—«Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома, да богу молился, так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли!»—сказала она;—«ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да славу богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою».—Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор.—Я слышал,—сказал я довольно некстати,—что на вашу крепость собираются напасть башкирцы.—«От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» спросил Иван Кузмич.—Мне так сказывали в Оренбурге,—отвечал я. «Пустяки!»—сказал комендант.—«У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы—народ напуганный, да и киргизцы проучены. Не бось, на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню».—И вам не страшно,—продолжал я, обращаясь к капитанше,—оставаться в крепости, подверженной таким опаснос-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тям?—«Привычка, мой батюшка»,— отвечала она.— «Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама—заметил важно Швабрин.—Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

«Да, слышь ты»,—сказал Иван Кузмич;—«баба-то не робкого десятка».

— А Марья Ивановна?—спросил я;—так же ли смела, как и вы?

«Смела ли Маша?»—отвечала ее мать.—«Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки».

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

Глава IV

ПОЕДИНОК

— Ин изволь и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру.

Княжнин.

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я при-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня, и куда вечером иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околодке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей кре-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пости. Но мир был прерван незапным междоусобием.

Я уж сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. И так, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведение стихотворца. После маленького предисловия, вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть.
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной;
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь?—спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следующей. Но к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так?—спросил я его, скрывая свою досаду.

«Потому»—отвечал он,—«что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою.—«Посмотрим»—сказал он—«сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело,—отвечал я нахмурясь,—кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

«Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник!»—продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня;—«но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками».

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

«С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег».

Кровь моя закипела.—А почему ты об ней такого мнения?—спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

«А потому»,—отвечал он с адской усмешкою, — «что знаю по опыту ее нрав и обычай».

— Ты лжешь, мерзавец!—вскричал я в бешенстве,—ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменился в лице. «Это тебе так не пройдет»—сказал он, стиснув мне руку.—«Вы мне дадите сатисфакцию».

— Изволь; когда хочешь!—отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендант-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ши, он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич!»—сказал он увидя меня;—«добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить»—сказал он мне,—«что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

«Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье—и разойдитесь: а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?»

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно»—сказал Иван Игнатьич;—«делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся; что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша»—сказал он,—«Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодейство противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры»...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты?»—сказал он мне сухо:—«без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, повидимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так»—сказал он мне с довольным видом;—«худой мир лучше доброй ссоры, а и не честен, так здоров».

«Что, что, Иван Игнатьич?»—сказала комендантша, которая в углу гадала в карты:—«я не вслушалась».

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

«Иван Игнатьич»—сказал он—«одобряет нашу мировую».

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

«Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем».

— За что так?

«За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

«Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь.

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось».

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать»,—сказал он мне;—«надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюш-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам»—сказал он ей хладнокровно—«не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело».— Ах, мой батюшка! — возразила комендантша; — да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения, да каялись перед людьми.

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-по-малу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта, повидимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал.—Как вам не стыдно было—сказал я ему сердито—доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?—«Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил»—отвечал он;—«Василиса Егоровна выведала всё от меня. Она всем и распорядилась без

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что всё так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине.—Наше дело этим кончиться не может—сказал я ему. «Конечно»—отвечал Швабрин;—«вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами вероятно станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!»—И мы расстались, как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностию выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла»—сказала она—«когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно виноват Алексей Иваныч».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

«Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх».

— А как вы думаете, Марья Ивановна? нравитесь ли вы ему, или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела. «Мне кажется»—сказала она,—«я думаю, что нравлюсь».

— Почему же вам так кажется?

«Потому что он за меня сватался».

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

«В прошлом году. Месяца два до вашего приезда».

— И вы не пошли?

«Как изволите видеть, Алексей Иваныч конечно

Пушкинский кабинет ИРЛИ

человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!»

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался не долго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать?»—сказал мне Швабрин;—«за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся, и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава V.

ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца матери.
Отца матери, роду племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная.

Буде лучше меня найдешь, позабудешь,
Если хуже меня найдешь, воспомянешь.

То же.

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-по-малу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрыпнула дверь. «Что? каков?»—произнес по шепту голос, от которого я затрепетал.—Всё в одном положении,—отвечал Савельич со вздохом;—всё без памяти, вот уже пятые сутки.—Я хотел оборотиться, но не мог.—Где я? кто здесь?—сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?»—сказала она. Слава богу—отвечал я слабым голосом. —Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...—я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнился! опомнился!»—повторял он.—«Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич»,—сказала она.—«Он

Пушкинский кабинет ИРЛИ

еще слаб».Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. И так я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее.... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна,—сказал я ей—будь моею женою, согласись на мое счастие».—Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь»—сказала она, отняв у меня свою руку.—«Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастие воскресило меня. Она будет моя! Она меня любит! Эта мысль наполняла всё мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цырюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Всё семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители конечно рады будут ее счастию. «Но подумай хорошенько»—прибавила она:—«со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомне-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вался, но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть, как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился однако писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его, и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

С Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается, да раскается».—Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы незлопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться, и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснился; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что все дело пошло к чорту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной, дочерью Мироновой, мы получили 15 сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться, да за проказы твои проучить тебя путем, как мальчишку, не смотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоем поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой А. Г.»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала, но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно:—Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба; ты и мать мою хочешь уморить.—Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь»,—сказал он чуть не зарыдав,—«что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?»—Что ты сделал?—отвечал я.—Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?—«Я? писал на тебя доносы?»—отвечал Савельич со слезами.—«Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что̀ пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, не взирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего, приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был не-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

утешен. «Вот до чего я дожил»—повторял он;—«вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами, да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье, да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось?»—сказала она, увидев меня.—«Как вы бледны!»—Всё кончено!—отвечал я, и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что̀ нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...»—Этому не бывать!—вскричал я, схватив ее за руку;—ты меня любишь; я готов на всё. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, современем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит... «Нет, Петр Андреич»,—отвечала Маша—«я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую—бог с тобою, Петр Андреич; а я за

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь»,—сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги;—«посмотри, доносчик ли я на своего барина, и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович, отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что де стыдно мне не исполнять господских приказаний;— а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровье бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь, под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цырюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него кроме хорошего нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. И изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш

Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в

Пушкинский кабинет ИРЛИ

состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-по-малу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичем виделся я только, когда того требовала служба. С Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важные влияния на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

Глава VI.

ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывати.

Песня.

Прежде, нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их по-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

минутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, и заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-маиором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и наконец усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Всё было уже тихо, или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали в тайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Господину коменданту Белогорской крепости капитану Миронову.

«По секрету.

«Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

«Принять надлежащие меры!»—сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу.—«Слышь ты, легко сказать. Злодей-то видно силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы, да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота, да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть, да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите всё это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно».

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе с Швабриным, рассуждая о том, что̀ мы слышали.—Как ты думаешь, чем это кончится?—спросил я его. «Бог знает»—отвечал он;—«посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастие, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником».—А для чего ж было тебе запирать Палашку?—спросила комендантша.—За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?—Иван Кузмич не был приготовлен к таковому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камешки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что́ бы значили эти военные приготовления?»—думала комендантша;—«уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубо́ко вздохнула и сказала качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие ново́сти! Что из э́того будет?»

— И, матушка!—отвечал Иван Игнатьич.—Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

«А что за человек этот Пугачев?»—спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

что идет неведомая сила. Впрочем не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать далее побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Подосланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны; по возвращении своем, лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот ужò тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна»,—сказал он ей покашливая.—«Отец Герасим получил, говорят, из города...»—Полно врать, Иван Кузмич,—перервала комендантша;—ты, знать, хочешь собрать совещание, да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь»,—Иван Кузмич вытаращил глаза.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Ну матушка»,—сказал он—«коли ты уже всё знаешь, так пожалуй оставайся; мы потолкуем и при тебе».—То-то, батька мой,—отвечала она;—не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами.

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедлено итти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

«Каков мошенник!»—воскликнула комендантша.—«Что смеет еще нам предлагать! Вытти к нему на встречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?»

— Кажется, не должно бы—отвечал Иван Кузмич.—А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

«Видно он в самом деле силен»—заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу—сказал комендант.—Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

«Постой, Иван Кузмич»,—сказала комендантша, вставая с места.—«Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться».

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого дей-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ствия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения,— мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. И так приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе!»— сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году.— «Да ты видно старый волк, побывал в наших капканах. Ты знать не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь?»—продолжал Иван Кузмич:—«али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

«Якши»—сказал комендант;—«ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат, да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!»

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся: тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну»,—сказал комендант:—«видно нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

«Что́ это с тобою сделалось?»—спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда!—отвечала Василиса Егоровна.—Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Все солдаты взяты в полон. Того и гляди злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич!—сказал я коменданту.—Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей:

«А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?»

— И, пустое!—сказала комендантша.—Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

«Ну, матушка»,—возразил Иван Кузмич—«оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?»

— Ну, тогда...—Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

«Нет, Василиса Егоровна»,—продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может

Пушкинский кабинет ИРЛИ

быть, в первый раз в его жизни.—«Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри, что́ с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом».

— Добро,—сказала комендантша,—так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою, да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

«И то дело»—сказал комендант.—«Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?»

— У Акулины Памфиловны,—отвечала комендантша.—Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину, бледная и заплаканная. Мы отужинали молча, и встали изо стола скорее обыкновенного; простясь со всеми семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич!»—сказала она мне со слезами;—«меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее.—Прощай, ангел мой,—сказал я,—прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!—Маша рыдала, прильнув к

Пушкинский кабинет ИРЛИ

моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

Глава VII

ПРИСТУП

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня.

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже вытти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений, и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

что зовут меня. Я остановился. «Куда вы?»—сказал Иван Игнатьич, догоняя меня,—«Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел».—Уехала ли Марья Ивановна?—спросил я с сердечным трепетом.—«Не успела»—отвечал Иван Игнатьич:—«дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалося, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу, и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее.—«Ну, что?»—сказала комендантша.—«Каково идет баталья? Где же неприятель?»—Неприятель недалече,—отвечал Иван Кузмич.—Бог даст все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?—«Нет, папенька»,—отвечала Марья Ивановна;—«дома одной страшнее». Тут она взгля-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ними на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили и, как видно по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал над шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали:

«Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас!»—закричал Иван Кузмич.—«Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники видимо приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна!»—сказал комендант.—«Здесь не

Пушкинский кабинет ИРЛИ

бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива, ни мертва».

Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен; благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее». (Маша кинулась ему на шею, и зарыдала.)—Поцелуемся ж и мы,—сказала заплакав комендантша.—Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!—«Прощай, прощай, матушка!»—сказал комендант, обняв свою старуху.—«Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел во след Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и всё внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко»—сказал комендант;—«будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние, и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую средину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята»,—сказал комендант:—«теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите?»—закричал Иван Кузмич.—«Умирать, так умирать; дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненый в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот ужо вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красивый казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча, умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приближились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?»—спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел про-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тивиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай»—сказал ему Пугачев—«государю Петру Федоровичу!»—«Ты нам не государь»,—отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана.—Ты, дядюшка, вор и самозванец!—Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!»—сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось»,—повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной!»—говорил бедный дядька.—«Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради, вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует»—говорили

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!»—говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич!»—шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня.—«Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил, сказав с усмешкою: «Его благородие знать одурел от радости. Подымите его!»—Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Всё это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои!»—кричала бедная старушка.—«Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи!»—закричала она в исступле-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нии.—«Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!»—Унять старую ведьму!—сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

Глава VIII

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Незванный гость хуже татарина.

Пословица.

Площадь опустела. Я всё стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Всё было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; всё растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной. В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Ах, Петр Андреич!»—сказала она, сплеснув руками.—«Какой денёк! какие страсти!..»

— А Марья Ивановна?—спросил я нетерпеливо.—Что Марья Ивановна?

«Барышня жива»—отвечала Палаша.—«Она спрятана у Акулины Памфиловны».

— У попадьи!—вскричал я с ужасом.—Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Чрез минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради бога! где Марья Ивановна?—спросил я с неизъяснимым волнением.

«Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою»—отвечала попадья.—«Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да слава богу, всё прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: племянница моя, государь, захворала, лежит, вот уж другая неделя.—«А молода твоя племянница?»—Молода, государь.—«А покажика мне, старуха, свою племянницу».—У меня сердце так и йокнуло, да нечего было делать.—Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и притти к твоей милости.—«Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами—и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастию, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дожда-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

лись мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать! А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то».—В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. «Ступайте себе домой, Петр Андреич»,—сказала она;—«теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что̀ будет, то будет; авось бог не оставит!»

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу!»—вскричал он увидя меня.—«Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? всё у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду—ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто ж он такой?

«Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новёшенький, а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!»

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

«Не изволишь ли покушать?»—спросил Савельич, неизменный в своих привычках.—«Дома ничего нет; пойду, пошарю, да что-нибудь тебе изготовлю».

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтоб я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих, затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но всё же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, «что-де великий государь требует тебя к себе».—Где же он?—спросил я, готовясь повиноваться.

«В комендантском»—отвечал казак.—«После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву, да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его».

Я не почел нужным оспоривать мнения казака и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

с ним вместе отправился в комендантский дом, заране воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась. За столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников. «А, ваше благородие!»—сказал Пугачев, увидя меня.— «Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было итти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы»,—сказал Пугачев—«затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! начинай!»—Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.
Что заутра мне доброму молодцу в допрос итти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всее правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий мой товарищ, то мой добрый конь,
А четвертой мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным,—всё потрясало меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали изо стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последо-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить».—Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

«Что ваше благородие?»—сказал он мне.—«Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко пре́до мною виноват»—продолжал он;—«но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?»

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

«Чему ты усмехаешься?»—спросил он меня нахмурясь.—«Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо».

Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии, это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком—было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человече-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

скою. Я отвечал Пугачеву: Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленный: ты сам увидел бы, что я лукавствую.

«Кто же я таков, по твоему разумению?»

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь»,—сказал он,—«чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет,—отвечал я с твердостию.—Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу»—сказал он,—«так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться?—отвечал я.—Сам знаешь, не моя воля: велят итти против тебя—пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня—спасибо; казнишь—бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева; «Так и быть»—сказал он, ударя меня по плечу.—«Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости всё было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось всё в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру, и нашел Савельича, горюющего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко!»— сказал он перекрестившись.—«Чем свет оставим крепость и пойдем, куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

Глава IX

РАЗЛУКА

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.

Херасков.

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где всё еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тело коменданши. Оно было отнесено немного в сторону и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросался их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружили главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай»—сказал он мне.—«Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детскою любовию и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!» Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина.—«Вот вам, детушки, новый командир. Слушайте его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его.

В это время, из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» спросил важно Пугачев.

— Прочитай, так изволишь увидеть—отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь?»—сказал он наконец.—«Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малой в капральском мундире проворно

Пушкинский кабинет ИРЛИ

подбежал к Пугачеву. «Читай вслух»—сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит?—сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее—отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

«Мундир из тонкого зеленого сукна, на семь рублей.

«Штаны белые суконые, на пять рублей.

«Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами, на десять рублей.

«Погребец с чайною посудою, на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье?—прервал Пугачев.—Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться. «Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...»

— Какими злодеями?—спросил грозно Пугачев.

«Виноват: обмолвился»—отвечал Савельич.—«Злодей не злодеи, а твои ребята таки пошарили, да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать».

— Дочитывай,—сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

«Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге, четыре рубля.

«Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

«Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще!—вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками?»—вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу.— Глупый старик! их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят, за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... Заячий тулуп! Я-те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь,—отвечал Савельич;—а я человек подневольный, и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был видно в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие, и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь»,—отвечал Савельич;—«смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали ме-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властию от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка—невинный предмет его ненависти, он мог решиться на всё. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился в тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости, и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами: «Прощайте»—говорила мне попадья, провожая меня;—«прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился, и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще»—примолвил запинаясь урядник—«жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою: простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пазухой? Бессовестный!»—«Что у меня за пазухой-то побрякивает?»—возразил урядник, нимало не смутясь.—«Бог с тобою, старинушка. Это бренчит уздечка, а не полтина».—Добро,—сказал я,—прерывая спор.—Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути, и возьми себе на водку.—«Очень благодарен, ваше благородие»—отвечал он, поворачивая свою лошадь;—«вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и чрез минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь»,—сказал старик,—«что я не даром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да всё же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

Глава X

ОСАДА ГОРОДА

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом повелел соорудить раскат,
И в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град.

Херасков.

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений, под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали

Пушкинский кабинет ИРЛИ

наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и, с помощию старого садовника, бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался, и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему всё. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов!»—сказал он, когда кончил я свою печальную повесть.—«Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама, и какая майстерица грибы солить! А что Маша! капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай!»—заметил генерал.—«Это плохо, очень плохо. На дисциплину разобойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что вероятно его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим»—сказал он.—«Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного

Пушкинский кабинет ИРЛИ

старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело: «Теперь, господа»,—продолжан он,—«надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно, или оборонительно?* Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... И так, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть, начиная с младших по чину. Г. прапорщик!»—продолжал он, обращаясь ко мне.—«Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово: молокосос, произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Г. прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных: это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Г. коллежский советник! скажите нам ваше мнение?»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ро-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

«Как же так, господин коллежский советник?»— возразил изумленный генерал.—«Других способов тактика не представляет: движение оборонительное, или наступательное...»

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

«Э-хе,хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...»

— И тогда,—прервал таможенный директор,— будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

«Мы еще об этом подумаем и потолкуем»—отвечал генерал.—«Однако, надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку».

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеною нежели на открытом поле испытывать счастие оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

«Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен: ибо мнение сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает».

Тут он остановился и стал набивать свою трубку.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

«Но, государи мои»,—продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму—«я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. И так я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллериии (буде окажется возможным) вылазками—отражать».

Чиновники в свою очередь насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решился следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета, узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближался к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, кото-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

рая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею, и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностию и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?»

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.—Здравствуй, Максимыч,—сказал я ему.—Давно ли из Белогорской?

«Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо».

— Где ж оно?—вскричал я, весь так и вспыхнув.

«Со мною»—отвечал Максимыч, положив руку за пазуху.—«Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить». Тут он подал мне сложенную бумажку

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня вытти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу, да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.—Ваше превосходительство,— сказал я ему — прибегаю к вам, как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе; дело идет о счастии всей моей жизни.

«Что такое, батюшка?»—спросил изумленный старик.—«Что я могу для тебя сделать? Говори».

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

«Как это? Очистить Белогорскую крепость?»—сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех,—отвечал я с жаром.— Только отпустите меня.

«Нет, молодой человек»,—сказал он качая головою.—«На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...»

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.—Дочь капитана Миронова,—сказал я ему,—пишет ко мне письмо; она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.

«Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покамест надобно взять терпение!..»

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Взять терпение!—вскричал я вне себя.— А он между тем женится на Марье Ивановне!..

«О!»—возразил генерал.—«Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина; он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица».

— Скорее соглашусь умереть,—сказал я в бешенстве,—нежели уступить ее Швабрину!

«Ба, ба, ба, ба!»—сказал, старик.—«Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но всё же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою ответственность».

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем оная состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

Глава XI

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

> В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп. «За чем пожаловать изволил в мой вертеп?» Спросил он ласково.
>
> А. Сумароков.

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не равён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-на-всё денег? «Будет с тебя»—отвечал он с доволь-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ным видом.—«Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек полный серебра.—Ну, Савельич,—сказал я ему,—отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость.

«Батюшка Петр Андреич!»—сказал добрый дядька дрожащим голосом.—«Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны».

Но намерение мое было твердо принято.—Поздно рассуждать,—отвечал я старику.—Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть в три-дорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

«Что ты это, сударь?»—прервал меня Савельич.—«Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною? Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану».

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны

Пушкинский кабинет ИРЛИ

были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один их них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутою, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, повидимому

Пушкинский кабинет ИРЛИ

главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка»—прибавил он—«волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дождаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец»—сказал один из мужиков;—«сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай; наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками,—всё было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство, и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие!»—сказал он мне с живостию.—«Как поживаешь? За чем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

полагая, что я не хочу объясниться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им вытти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них»—сказал мне Пугачев:— «от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту?»—закричал он.—«Будь он семи пядей во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый,—отвечал я.—Он держит

Пушкинский кабинет ИРЛИ

в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

«Я проучу Швабрина»—сказал грозно Пугачев».—«Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу».

«Прикажи слово молвить»—сказал Хлопуша хриплым голосом.—«Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору».

«Нечего их ни жалеть, ни жаловать!»—сказал старичок в голубой ленте.—«Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную, да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров».

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу, при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие?»—сказал он мне подмигивая.—«Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

«Добро»—сказал Пугачев.—«Теперь скажи,—в каком состоянии ваш город».

— Слава богу,—отвечал я;—всё благополучно.

«Благополучно?»—повторил Пугачев.—«А народ мрет с голоду!»

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяг-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ги стал уверять, что всё это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

«Ты видишь»—подхватил старичок,—«что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь: а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно».

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастию Хлопуша стал противоречить своему товарищу. «Полно, Наумыч»,—сказал он ему.—«Тебе бы всё душить, да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?»

— Да ты что за угодник?—возразил Белобородов.—У тебя-то откуда жалость взялась?

«Конечно»—отвечал Хлопушка,—«и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутьи да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором».

Старик отворотился и проворчал слова: «рваные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч?—закричал Хлопуша.—Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал!

«Господа енаралы!»—провозгласил важно Пугачев.—«Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь».

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом:—Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге.

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен»,—сказал он, мигая и прищуриваясь.—«Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя,—отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

«Твоя невеста!»—закричал Пугачев.—«Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим, и на свадьбе твоей попируем!»—Потом обращаясь к Белобородову:—«Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем».

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, ко-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

торые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противоречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!»—сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» раздался голос, слишком мне знакомый,—и я увидел Савельича, бежавшего нам на встречу. Пугачев велел остановиться: «Батюшка, Петр Андреич!»—кричал дядька.—«Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...»—А, старый хрыч,—сказал ему Пугачев.—Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок.

«Спасибо, государь, спасибо, отец родной!»—говорил Савельич усаживаясь.—«Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану».

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастию, самозванец или не расслыхал или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что̀ чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был

Пушкинский кабинет ИРЛИ

увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему всё; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что́ станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

«О чем, ваше благородие, изволил задуматься?»

— Как не задуматься,—отвечал я ему.—Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.

«Что ж?»—спросил Пугачев.—«Страшно тебе?»

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

«И ты прав, ей богу прав!»—сказал самозванец.—«Ты видел, что́ мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион, и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился»,—прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать—«помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья».

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать и не отвечал ни слова.

«Что говорят обо мне в Оренбурге?»—спросил Пугачев, помолчав немного.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да!»—сказал он с веселым видом.—«Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енералов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?»

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.—Сам как ты думаешь?—сказал я ему,—управился ли бы ты с Фридериком?

«С Федором Федоровичем? А как же нет? С вашими енералами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву».

— А ты полагаешь итти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: «Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою».

— То-то!—сказал я Пугачеву.—Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев громко усмехнулся. «Нет»,—отвечал он;—«поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою».

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

«Слушай»—сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением.—«Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я

Пушкинский кабинет ИРЛИ

всего-на-всё только тридцать три года?—От того, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать, да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!—Какова калмыцкая сказка?»

— Затейлива—отвечал я ему.—Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней—и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

Глава XII

СИРОТА

Как у нашей у яблоньки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня.

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усер-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дие. Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!»—Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давнознакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом, но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно: «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажика мне ее».

Швабрин побледнел, как мертвый.—Государь,—сказал он дрожащим голосом...—Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.

«Веди ж меня к ней»—сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице. «Государь!»—сказал он.—«Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей».

Я затрепетал. «Так ты женат!»—сказал я Швабрину, готовясь его расстрелять.

«Тише!»—прервал меня Пугачев.—«Это мое дело. А ты»—продолжал он, обращаясь к Швабрину,—«не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не

Пушкинский кабинет ИРЛИ

жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною».

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом: «Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке, и третий день как бредит без умолку».

— Отворяй!—сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах, и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье, сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало—не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою: «Хорош у тебя лазарет!»—Потом, подошед к Марье Ивановне:—«Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?»

— Мой муж!—повторила она.—Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина: «И ты смел меня обманывать!»—сказал он ему.—«Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?»

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился. «Милую тебя на сей раз»—сказал он Швабрину;—«но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта». Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково: «Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней, но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

«Что, ваше благородие?»—сказал смеясь Пугачев.—«Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем—и ворота запрем!»

Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя. «Государь!»—закричал он в исступлении.—«Я виноват, я вам солгал, но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости».

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду,—отвечал я с твердостию.

«Ты мне этого не сказал»—заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди,—отвечал я ему,—можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

«И то правда»—сказал смеясь Пугачев.—«Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их».

— Слушай,—продолжал я, видя его доброе расположение.—Как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему!»—сказал он.—«Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне; я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреевич»,—говорила попадья.—«Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А-мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то».—Полно, старуха,—прервал отец Герасим.—Не всё то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреевич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались.

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная!»—говорила Акулина Памфиловна.—«Промчи бог тучу мимо. Ай-да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!»—В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему, просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Всё было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне всё, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастие и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество.—Милая Марья Ивановна!—сказал я наконец.—Я почитаю тебя своею

Пушкинский кабинет ИРЛИ

женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить.— Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противоречил. Мы поцеловались горячо, искренно— и таким образом всё было между нами решено.

Чрез час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать всё, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь».—Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Всё было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше всё было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный!»—говорила добрая попадья.—«Счастливый путь, и дай бог вам обоим счастия!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

Глава XIII

АРЕСТ

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин.

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что всё со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу, и, казалось, не успела еще опомниться и притти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближились к городку, где по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум!»—сказал мне усатый вахмистр.—«Вот ужо тебе будет баня, и с твоею хозяюшкою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера,солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к маиору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это всё кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяюшку к себе привести.

— Что это значит?—закричал я в бешенстве.—Да разве он с ума сошел?

«Не могу знать, ваше благородие»,—отвечал вахмистр.—«Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!»

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где

Пушкинский кабинет ИРЛИ

человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Маиор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в симбирском трактире!

— Возможно ли?—вскричал я.—Иван Иваныч! ты ли?

«Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?»

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

«Какую тебе квартиру? Оставайся у меня».

— Не могу: я не один.

«Ну, подавай сюда и товарища».

— Я не с товарищем; я...— с дамою.

«С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат!» (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

«Ну»—продолжал Зурин;—«так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попировали по-старинному... Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею».

— Что ты это?—сказал я Зурину.—Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю ее.

«Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?»

— После всё расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении, и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Мы отужинали, и когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Всё это, брат, хорошо; одно не хорошо: зачем тебя чорт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать; поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да няньчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе не за чем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и всё будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж я чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию.—Друг ты мой, Архип Савельич!—сказал я ему.—Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней.

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного. «Жениться!»—повторил он.—«Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?»

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Согласятся, верно согласятся,—отвечал я,— когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич!»—отвечал он.—«Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-по-малу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич!»—сказала она тихим голосом.—«Придется ли нам увидеться или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружили. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно, и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы

Пушкинский кабинет ИРЛИ

готовились к дружному содействию. Пугачев всё еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и всё предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург, и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и снова начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться чрез Волгу.

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Правление было повсюду прекращено; помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном

Пушкинский кабинет ИРЛИ

его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе не сдобровать! Женишься— ни за что пропадешь!»

Но между тем страннoе чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: Емеля, Емеля!—думал я с досадою;—зачем не наткнулся ты на штык, или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать. Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Чрез несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом, чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. Что такое?—спросил я с беспокойством.—«Маленькая неприятность»—отвечал он, подавая мне бумагу.— «Прочитай, что̀ сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего!»—сказал Зурин.—«Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев— устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо̀, и я поехал по большой дороге.

Глава XIV

СУД

Мирская молва—
Морская волна.

Пословица.

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закопте́лые стены без крыш и окон. Таков был

Пушкинский кабинет ИРЛИ

след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее нáглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решоткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что̀ со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил, с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер»—сказал он мне нахмурясь; «но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому

Пушкинский кабинет ИРЛИ

случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать не мог и никаких поручений от него принять не мог.

«Каким же образом»—возразил мой допросчик,— «дворянин и офицер один пошажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене, или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?»

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я против злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

«На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился, и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу....» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и всё прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку—эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея*. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел—Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца.—Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать,—как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слыхал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил всё мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельи-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ча. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербуга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявил ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков к несчастию оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как!»—повторял он, выходя из себя.—«Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, остаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только за-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

хотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастия. Она скрывала от всех свои слезы и страдания, и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного Календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург?» сказала она.—«Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка!»—сказал он ей со вздохом.—«Мы твоему счастию помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию

Пушкинский кабинет ИРЛИ

и, узнав, что двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофе, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, с своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей, казалось, лет сорок.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая прервала молчание.

«Вы верно не здешние?»—сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

«Вы приехали с вашими родными?»

— Никак нет-с. Я приехала одна.

«Одна! Но вы так еще молоды».

— У меня нет ни отца, ни матери.

«Вы здесь конечно по каким-нибудь делам?»

— Точно так с. Я приехала подать просьбу государыне.

«Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?»

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

«Позвольте спросить, кто вы таковы?»

— Я дочь капитана Миронова.

«Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?»

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня»— сказала она голосом еще более ласковым,—«если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе, изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Всё в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось,—и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее

Пушкинский кабинет ИРЛИ

движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

«Вы просите за Гринева?»—сказала дама с холодным видом.—«Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй».

— Ах, неправда!—вскрикнула Марья Ивановна.

«Как неправда!»—возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей богу, неправда! Я знаю всё, я всё вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня.—Тут она с жаром рассказала всё, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием.—«Где вы остановились?» спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вышла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, господи!» — закричала она. — «Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Всё-таки я вас хоть в чем-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нибудь да могу предостречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым робороном?»—Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна, и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых, великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Чрез минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты»—сказала она;— «но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не

Пушкинский кабинет ИРЛИ

беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии.— В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решили, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

19 окт. 1836 г.

Издатель.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ

1

НАДИНЬКА

Несколько молодых людей, по бо́льшей части военных, проигрывали свое именье поляку Ясунскому, который держал маленький банк для препровождения времени и важно передергивал, подре<зая> карты. Тузы, тройки, разорванные короли, загнутые валеты сыпались как град—и облака стираемого мела смешались с дымом турецкого табаку.

— Неужто два часа ночи? Боже мой, как мы засиделись, — сказал Виктор N молодым своим товарищам.—Не пора ли оставить игру?

Все бросили карты, встали изо стола. Всякой, докуривая трубку, [стал] считать свой или чужой выигрыш. Поспорили, согласились и разъехались.

Поедем вместе—сказал Виктору ветренный Вельверов[1]. Я познакомлю тебя с очень милой девочкой; ты будешь меня благодарить.

Оба сели в дрожки и полетели по мертвым улицам Петербурга.

Виктор N...

<1819 г.>[2]

---

[1] Зачеркнуто: Я без ужина никак не могу обходиться, а ужинать могу только у наших известных пр<елестниц>.— Виктор одобрил эту похвальную привычку.

[2] Первоначальное название этой повести, оставшееся в рукописи незачеркнутым, *Эльвина*. Зачеркнутый вариант первых строк: У гусара К [В] было дружеское собрание.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

2

<ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ...>

<1>

Гости съезжались на дачу г<рафини> ***. Зала наполнялась дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую италианскую оперу. Каждый гость, пробравшись до круглого стола, где разливали чай, спешил поклониться хозяйке и потом исчезнуть в толпе. Мало-по-малу порядок установился. Дамы заняли свои места по диванам. Около их составился кружок мужчин. Висты учредились. Осталось на ногах несколько молодых людей, и смотр парижских литографий заменил общий разговор.

На балконе сидело двое мужчин. Один из них, путешествующий испанец, казалось, живо наслаждался прелестью северной ночи. С восхищением глядел он на ясное, бледное небо, на величавую Неву, озаренную светом неизъяснимым, и на окрестные дачи, рисующиеся в прозрачном сумраке. «Как хороша ваша северная ночь»,—сказал он, наконец:— «и как не пожалеть об ее прелести, даже под небом моего отечества?»—«Один из наших поэтов,—отвечал ему другой,—сравнивал ее с русской белобрысой красавицей; признаюсь, что смуглая, черноглазая италианка или испанка, исполненная живости и полуденной неги, более пленяет мое воображение. Впрочем, давнишний спор между la brune et la blonde[1] еще не решен. Но кстати: знаете ли вы, как одна иностранка изъясняла мне строгость и чистоту петербургских нравов? Она уверила, что для любовных приключений наши зимние ночи слишком холодны, а летние слишком светлы».—Испанец улыбнулся.

---

[1] <брюнеткой и блондинкой>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Итак, благодаря влиянию климата»,—сказал он:—«Петербург есть обетованная земля красоты, любезности и беспорочности».—«Красота дело вкуса»,—отвечал русской,—«но нечего говорить об нашей любезности. Она не в моде, никто об ней и не думает. Женщины боятся прослыть кокетками, мужчины уронить свое достоинство. Все стараются быть ничтожными со вкусом и приличием. Что же касается до чистоты нравов, то дабы не употребить во зло доверчивости иностранца, я расскажу вам...» И разговор принял самое сатирическое направление.

В сие время двери в залу отворились, и Вольская взошла. Она была в первом цвете молодости. Правильные черты, большие черные глаза, живость движений, самая странность наряда, всё поневоле привлекало внимание. Мужчины встретили ее с какой-то шутливой приветливостью, дамы с заметным недоброжелательством; но Вольская ничего не замечала; отвечая кратко на общие вопросы, она рассеянно глядела во все стороны; лицо ее, изменчивое как облако, изобразило досаду; она села подле важной княгини Г. и, как говорится, se mit à bouder[1].

Вдруг она вздрогнула и обернулась к балкону. Беспокойство овладело ею. Она встала, пошла около кресел и столов, остановилась на минуту за стулом старого генерала Р., ничего не отвечала на его тонкий мадригал, и вдруг скользнула на балкон.

Испанец и русской оба встали. Она подошла к ним и с замешательством сказала несколько слов по-русски. Испанец, полагая себя лишним, оставил ее и возвратился в залу.

Важная княгиня Г. проводила Вольскую глазами и в полголоса сказала своему соседу: «Это ни на что не похоже».

— Она ужасно ветрена,—отвечал он.

---

[1] <принялась дуться.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«Ветрена? этого мало. Она ведет себя непростительно. Она может не уважать себя, сколько ей угодно, но свет еще не заслуживает от нее такого пренебрежения. Минский мог бы ей это заметить».

— Il n'en fera rien, trop heureux de pouvoir la compromettre[1]. Между тем, я бьюсь об заклад, что разговор их самый невинный.

«Я в том уверена... Давно ли вы стали так добродушны?»

— Признаюсь: я принимаю участие в судьбе этой молодой женщины. В ней много хорошего и гораздо менее дурного, нежели думают. Но страсти ее погубят.

«Страсти! какое громкое слово! Что такое страсти? Не воображали ли вы, что у ней пылкое сердце, романическая голова? Просто она дурно воспитана... Что это за литография? Портрет Гуссейн-паши? покажите мне его».

Гости разъезжались; ни одной дамы не оставалось уже в гостиной; лишь хозяйка с явным неудовольствием стояла у стола, за которым два дипломата доигрывали последнюю игру в экарте.

Вольская вдруг заметила зарю и поспешно оставила балкон, где она около трех часов сряду находилась наедине с Минским. Хозяйка простилась с нею холодно, а Минского не удостоила взгляда.

У подъезда несколько гостей ожидали своих экипажей. Минский посадил Вольскую в ее карету.

«Кажется, твоя очередь», сказал ему молодой офицер.

— Вовсе нет,—отвечал он.—Она занята; я просто ее наперсник, или что вам угодно. Но я люблю ее от души—она уморительно смешна.

---

[1] <Он этого не сделает, так как слишком рад случаю ее компрометировать.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Зинаида Вольская лишилась матери на шестом году от рождения. Отец ее, человек деловой и рассеянный, отдал ее на руки француженки, нанял учителей всякого рода и после уж об ней не заботился. Четырнадцати лет она была прекрасна, и писала любовные записки своему танцмейстеру. Отец об этом узнал, отказал танцмейстеру, и вывез ее в свет, полагая, что воспитание ее кончено. Появление Зинаиды наделало шуму. Вольский, богатый молодой человек, привыкший подчинять свои чувства мнению других, влюбился в нее без памяти, потому что генерал-адъютант ** на одном придворном бале решительно объявил, что Zénéida первая в Петербурге красавица, и что Г**<государь>, встретив ее на Английской набережной, целый час с нею разговаривал. Он стал свататься. Отец обрадовался случаю сбыть с рук молодую невесту. Зинаида горела нетерпением быть замужем, чтоб видеть у себя весь город. К тому же Вольский ей не был противен, и таким образом участь ее была решена.

Ее искренность, неожиданные проказы, детское легкомыслие производили сначала приятное впечатление, и даже свет был благодарен той, которая поминутно прерывала важное однообразие аристократического круга. Смеялись ее шалостям, повторяли ее странные выходки. Но годы шли, а душе Зинаиды всё еще было четырнадцать лет. Стали роптать. Нашли, что Вольская не имеет никакого чувства приличия, свойственного ее полу. Женщины стали от нее удаляться, а мужчины приблизились. Зинаида подумала, что она не в проигрыше, и утешилась.

Молва стала приписывать ей любовников. Злословие даже без доказательств оставляет почти вечные следы. В светском уложении правдоподобие равняется правде, а быть предметом клеветы унижает нас в собственном мнении. Вольская, в слезах негодования, решилась возмутиться противу вла-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сти несправедливого света. Случай скоро представился.

Между молодыми людьми, ее окружающими, Зинаида отличила Минского. Повидимому, некоторое сходство в характерах и обстоятельствах жизни должно было их сблизить. В первой молодости Минский порочным своим поведением заслужил также порицание света, который наказал его клеветою. Минский оставил его, притворясь равнодушным. Страсти на время заглушили в его сердце угрызения самолюбия; но усмиренный опытами, явился он вновь на сцену общества и принес ему уже не пылкость неосторожной своей юности, но снисходительность и благопристойность эгоизма. Он не любил света, но не презирал, ибо знал необходимость его одобрения. Со всем тем, уважая вообще, он не щадил его в особенности, и каждого члена его готов был принести в жертву своему злопамятному самолюбию. Вольская нравилась ему за то, что она осмеливалась явно презирать ему ненавистные условия. Он подстрекал ее одобрением и советами, сделался ее наперсником и вскоре стал ей необходим.

Б** несколько времени занимал ее воображение. «Он слишком для вас ничтожен», сказал ей Минский. «Весь ум его почерпнут из «Liaisons dangereuses»[1],— так же как весь его гений выкраден из Жомини. Узнав его покороче, вы будете презирать его тяжелую безнравственность, как военные люди презирают его пошлые рассуждения».

— Мне хотелось бы влюбиться в Р.,—сказала ему Зинаида.

«Какой вздор»! отвечал он. «Охота вам связаться с человеком, который красит волоса и каждые пять минут повторяет с упоением: quand j'étais à Flo-

---

[1] <«Опасные связи»>
[2] <когда я был во Флоренции.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

rence[2]... Говорят, его несносная жена влюблена в него; оставьте их в покое, они созданы друг для друга».

— А барон W.?

«Это девочка в мундире, но знаете ли что? Влюбитесь в Л. Он займет ваше воображение: он так же необыкновенно умен, как необыкновенно дурен, et puis c'est un homme à grands sentiments[1], он будет ревнив и страстен, он будет вас мучить и смешить—чего вам более?»

Однакож Вольская его не послушалась. Минский угадывал ее сердце; самолюбие его было тронуто; не полагая, чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связь безо всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц, и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, если б он мог вообразить бури, его ожидающие, то отказался бы от своего торжества, ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием—лени и благоприличию.

<1828 г.>

<II>

Минский лежал еще в постеле, когда подали ему письмо. Он распечатал его, зевая, пожал плечами, развернул два листа, вдоль и поперек исписанные самым мелким женским почерком. Письмо начиналось таким образом:

«Я намерена тебе высказать всё, что имею на сердце. В твоем присутствии я не нахожу мыслей, которые теперь так сильно меня преследуют. Твои софизмы не убеждают моих подозрений, но заставляют меня молчать. Это доказывает твое всегдашнее

---

[1] <а кроме того, это человек, способный к сильным чувствам>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

превосходство надо мною, но не довольно для счастия, для спокойствия моего сердца»—

Вольская упрекала его в холодности, недоверчивости и проч., жаловалась, умоляла, сама не зная о чем; рассыпалась в нежных, ласковых уверениях и назначила ему вечером свидание в своей ложе. Минский отвечал ей в двух словах, извиняясь скучными необходимыми делами и обещаясь быть непременно в театре.

<1829 г.>

<III>

— Вы так откровенны и снисходительны, сказал испанец, что осмелюсь просить вас разрешить мне одну задачу: я шатался по всему свету, представлялся во всех европейских дворах, везде посещал высшее общество, но нигде не чувствовал <себя> так связанным, так неловким, как в проклятом вашем аристократическом кругу. Всякой раз, когда я вхожу в залу княгини В. и вижу эти немые неподвижные мумии, напоминающие мне египетские кладбища, какой-то холод меня пронизывает. Меж ими нет ни одной моральной власти, ни одно имя не натвержено мне славою—пред чем же я робею?

— Перед недоброжелательством, — отвечал русский.—Это черта наших нравов: в народе выражается она насмешливостию, в высшем кругу невниманием и холодностию. [Аристократическое спокойствие наших дам происходит от их нравственного бездействия.] О мужчинах нечего и говорить. Наши дамы к тому же очень поверхностно образованы, ничто европейское не занимает их мыслей. Политика и литература для них не существует. Остроумие давно в опале, как признак легкомыслия. О чем же станут они говорить? О самих себе? Нет,—они слишком хорошо воспитаны. Остается им разговор какой-то домашний, мелочной, часто понятный только для немногих, для

Пушкинский кабинет ИРЛИ

избранных. И человек, не принадлежащий к этому малому стаду, принят, как чужой, не только иностранец, но и свой.

— Извините мне мои вопросы,—сказал испанец,— но вряд ли мне найти в другой раз удовлетворительных ответов, и я спешу вами пользоваться. Вы упомянули о вашей аристократии: что такое русская аристократия? Занимаясь вашими законами, я вижу, что наследственной аристократии, основанной на неделимости имений, у вас не существует.—Кажется, между вашим дворянством существует гражданское равенство,—и доступ к оному ничем не ограничен. На чем же основывается ваша так называемая аристократия? Разве на одной только древности родов русских замечательных <людей>?

— [Вы ошибаетесь], отвечал он.—Древнее русское [дворянство] вследствие причин, вами упомянутых, упало в неизвестность и составило род третьего состояния. Наша дворянская чернь, к которой и я принадлежу, считает своими родоначальниками Рюрика и Мономаха. Но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древность рода их восходит до Петра и до Елисаветы. Денщики, певчие, хохлы, вот их родоначальники. Говорю не в упрек: достоинство—всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения. Смешно только видеть в ничтожных внуках пирожника, денщика, певчего и беглого <солдата>—спесь [герцогов] Монморанси [и] Клермон Тоннера, первого христианского барона.

— Я сам, например,—продолжал русский с видом самодовольного небрежения,—хотя дворянство мое и теряется в отдаленной древности, и имена предков моих на всех страницах истории нашей, но если бы я подумал назвать себя аристократом, то, вероятно, насмешил бы многих. Мы так положительны, что стоим на коленах пред настоящим случаем и успе-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

хом, но <у нас нет> очарования древностию, благодарности к прошедшему и уважения к нравственному достоинству. Прошедшее для нас не существует. Карамзин недавно рассказал нам нашу историю, но едва ли мы вслушались <?>. Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди [дурака] или балом двоюродной сестры. Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности.

<1829—1830>

3

<НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ...>

Глава I

Votre coeur est l'éponge imbibée de fiel et de vinaigre.

Correspondance inédite [1].

На углу маленькой площади, перед деревянным домиком, стояла карета, явление редкое в сей отдаленной части города. Кучер спал лежа на козлах, а форейтор играл в снежки с дворовыми мальчишками.

В комнате, убранной со вкусом и роскошью, на диване, обложенная подушками, одетая с большой изысканностию, лежала бледная дама, уж не молодая, но еще прекрасная. Перед камином сидел молодой человек лет двадцати шести, перебирающий листы английского романа.

Бледная дама не спускала с него своих черных и впалых глаз, окруженных болезненной синевою. Начинало смеркаться; камин гаснул; молодой человек продолжал свое чтение. Наконец она сказала:

«Что с тобою сделалось, Валериан? Ты сегодня сердит».

[1] <Ваше сердце—губка, пропитанная желчью и уксусом. *Из неизданной переписки.*>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Сердит, отвечал он, не подымая глаз с своей книги.

«На кого?»

— На князя Горецкого. У него сегодня бал, а я не зван.

«А тебе очень хотелось быть на его бале?»

— Ни мало. Чорт его побери с его балом. Но если зовет он весь город, то должен звать и меня.

«Который это Горецкой? Не князь ли Яков?»

— Совсем нет. Князь Яков давно умер. Это брат его, князь Григорий, известная скотина[1].

«На ком он женат?».

— На дочери [какого-то целовальника, нажившего миллионы], того певчего, как бишь его?

«Я так давно не выезжала, что совсем раззнакомилась с вашим [высшим обществом]. Так ты очень дорожишь вниманием князя Григория, известного мерзавца, и благосклонностию жены его, дочери целовальника?»

— И конечно, с жаром отвечал молодой человек, бросая книгу на стол.—Я человек светский и не хочу быть в пренебрежении [у аристократии, из какой грязи, впрочем, ни была б она вылеплена], у светских аристократов. Мне дела нет ни до их родословной, ни до их нравственности.

«Кого ты называешь у нас аристократами?»

— Тех, которые протягивают руку графине Фуфлыгиной.

«А кто такая графиня Фуфлыгина?»

— [Взяточница, толстая], наглая дура.

[«Какие тонкие эпиграммы!»

— Я за остроумием, слава богу, не гоняюсь], сказала дама после некоторого молчания.

---

[1] <Зачеркнуто: А,—тот, который получил когда-то пощечину и не дрался?—Совсем нет. Его били палкою. А всё это штуки его жены; я не имел счастья ей понравиться.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«И пренебрежение людей, которых ты презираешь, может до такой степени тебя расстраивать!.. Признайся, тут есть и иная причина...»

— Так: опять подозрения! Опять ревность! Это, ей-богу, несносно.

С этим словом он встал и взял шляпу.

«Ты уж едешь?»—сказала дама с беспокойством.— «Ты не хочешь здесь отобедать?»

— Нет, я дал слово.

«Обедай со мною», продолжала она ласковым и робким голосом. «Я велела взять шампанского».

— Это зачем? Разве я московский банкомет? Разве я без шапманского обойтиться не могу?

«Но в последний раз ты нашел, что вино у меня дурно, ты сердился, что женщины в этом не знают толку. На тебя не угодишь».

— Не прошу и угождать.

Она не отвечала ничего. Молодой человек тотчас раскаялся в грубости сих последних слов. Он к ней подошел, взял ее за руку и сказал с нежностию:

— Зинаида! Прости меня; я сегодня сам не свой; сержусь на всех и за всё. В эти минуты надобно мне сидеть дома... Прости меня; не сердись.

«Я не сержусь, Валериан: но мне больно видеть, что с некоторого времени ты совсем переменился. Ты приезжаешь ко мне, как по обязанности, не по сердечному внушению. Тебе скучно со мною. Ты молчишь, не знаешь, чем заняться, перевертываешь книги, придираешься ко мне, чтоб со мною побраниться и уехать... Я не упрекаю тебя: сердце наше не в нашей воле; но я...»

Валериан уже ее не слушал. Он натягивал давно надетую перчатку и нетерпеливо поглядывал на улицу. Она замолчала с видом стесненной досады. Он пожал ее руку, сказал несколько незначущих слов и выбежал из комнаты, как резвый школьник выбегает из класса. Зинаида подошла к окошку; смотрела,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

как подали ему карету, как он сел и уехал. Долго стояла она на том же месте, опершись горячим лбом о оледенелое стекло.—Наконец она сказала вслух: Нет, он меня не любит. Она позвонила, велела зажечь лампу и села за письменный столик.

Глава II

Vous écrivez vos lettres de 4 pages plus vite que je ne puis les lire [1].

** скоро удостоверился в неверности своей жены. Это чрезвычайно его расстроило. Он не знал, на что решиться: притвориться ничего не замечающим казалось ему глупым; смеяться над несчастием столь обыкновенным—презрительным; сердиться не на шутку—слишком шумным; жаловаться с видом глубоко оскорбленного чувства—слишком смешным. К счастию, жена его явилась ему на помощь.

Полюбив Володского, она почувствовала отвращение от своего мужа, сродное одним женщинам и понятное только им.—Однажды вошла она к нему в кабинет, заперла за собою дверь и объявила, что она любит Володского, что не хочет обманывать мужа и втайне его бесчестить и что она решилась развестись. ** был встревожен таким чистосердечием, стремительностию; она не дала ему времени опомниться, в тот же день переехала с Английской набережной в Коломну и в короткой записочке уведомила обо всем В**, ничего тому подобного не ожидавшего.

Он был в отчаянии: никогда не думал он связать себя такими узами. Он не любил скуки, боялся всяких обязанностей и выше всего ценил свою себялюбивую независимость.—Но всё было кончено. Зинаида оставалась на его руках. Он притворился благодарным и приготовился на хлопоты любовной связи,

[1] <Вы пишете письма в четыре страницы скорее, чем я успеваю их прочитывать.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

как на занятие должностное или как на скучную обязанность поверять ежемесячные счеты своего дворецкого.—

<ПЛАН ПОВЕСТИ>

В Коломне avant soirée[1].—Она больная, капризная, нежная. Он [рассеянный, сатирический] лжет. Soirée[2] с хор. <?> явление в свет мол<одой >девушки.—Она влюбляется.—Утро молодого человека.—У них будут балы покамест не выйдет замуж.—Он представлен.—Сцены в Коломне.—Он ссорится.—

<1829>

4

<РОМАН В ПИСЬМАХ>

I. <ПИСЬМО ЛИЗЫ В ПЕТЕРБУРГ ИЗ ДЕРЕВНИ>

Ты, конечно, милая Сашенька, удивилась нечаянному моему отъезду в деревню. Спешу объясниться во всем откровенно. Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно, Авдотья Андреевна воспитывала меня на ровне со своею племянницею, но в ее доме я всё же была воспитанница, и ты не можешь вообразить, как много мелочных горестей неразлучны с этим званием. Многое должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня. Неужто

[1] <перед званым вечером.>
[2] <Званый вечер.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

предполагают во мне, думала я, зависть или что-нибудь похожее на такое детское малодушие? Поведение со мною мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало мое самолюбие. Холодность их или приветливость, всё казалось мне неуважением. Словом, я была создание пренесчастное, и сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц, дальних родственниц, demoiselles de compagnie[1] и тому подобное, обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца.

Тому ровно три недели получила я письмо от бедной моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и звала меня к себе в деревню. Я решилась воспользоваться этим случаем. Насилу могла выпросить у Авдотьи Андреевны позволение ехать и должна была обещать зимою возвратиться в Петербург. Но я не намерена сдержать свое слово.

Бабушка мне чрезвычайно обрадовалась; она никак меня не ожидала. Слезы ее меня тронули несказанно. Я сердечно ее полюбила. Она была некогда в большом свете и сохранила много тогдашней любезности.

Теперь я живу *дома*, я хозяйка—и ты не поверишь, какое это мне истинное наслаждение. Я тотчас привыкла к деревенской жизни, и мне вовсе не странно отсутствие роскоши.—Деревня наша очень мила. Старый дом на горе, сад, озеро, рощи сосновые, всё это осенью и зимой, конечно, немного печально, но зато весной и летом должно казаться земным раем. Соседей у нас мало, и я еще ни с кем не виделась. Уединение мне нравится на самом деле как в элегиях твоего Ламартина.

---

[1] <компаньонок>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Пиши ко мне, мой ангел, письма твои будут мне большим утешением. Что ваши балы, что наши общие знакомые? Хоть я и сделалась затворницей, однакож я не вовсе отказалась от суеты мира—вести об нем для меня занимательны.

С. Павловское.

2. <ПИСЬМО САШИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ДЕРЕВНЮ>

Милая Лиза!

Вообрази мое изумление, когда узнала твой отъезд в деревню. Увидев княжну Ольгу одну, я думала, что ты нездорова, и не хотела поверить ее словам. На другой день получаю твое письмо. Поздравляю тебя, мой ангел, с новым образом жизни. Радуюсь, что он тебе понравился. Твои жалобы о прежнем твоем положении меня тронули до слез, но показались мне слишком горькими. Как можешь ты сравнивать себя с воспитанницами и demoiselles de compagnie? Все знают, что Ольгин отец был всем обязан твоему и что дружба их была столь же священна, как самое близкое родство. Ты казалось была довольна своей судьбою. Никогда не предполагала я в тебе столько раздражительности. Признайся: нет ли другой, тайной причины твоему поспешному отъезду? Я подозреваю,————но ты со мною скрытничаешь,—и я боюсь рассердить тебя заочно своими догадками.

Что сказать тебе про Петербург? Мы еще на даче, но почти все уже разъехались. Балы начнутся недели через две. Погода прекрасная. Я гуляю очень много. На днях обедали у нас гости,—один из них спрашивал, имею ли о тебе известия? Он сказал, что твое отсутствие на балах заметно, как порванная струна в фортепиано—и я совершенно с ним согласна. Я всё надеюсь, что этот припадок мизантропии будет непродолжителен. Возвратись, мой ангел: а то нынешнею зимою мне не с кем будет разделять моих

Пушкинский кабинет ИРЛИ

невинных наблюдений, некому будет передавать эпиграммы моего сердца.—Прости, моя милая, подумай и одумайся.

Крестовский остров.

3. <ВТОРОЕ ПИСЬМО ЛИЗЫ>

Письмо твое меня чрезвычайно утешило—оно так живо напомнило мне Петербург. Мне казалось, я тебя слышу! Как смешны твои вечные предположения! Ты подозреваешь во мне какие-то глубокие, тайные чувства, какую-то несчастную любовь—не правда ли? Успокойся, милая, ты ошибаешься: я похожа на героиню только тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай, как Кларисса Гарлов.

Ты говоришь, что тебе некому будет нынешней зимою передавать своих сатирических наблюдений. А на что ж переписка? Пиши ко мне всё, что ты заметишь; повторяю тебе, что я вовсе не отказалась от света, что всё касающееся до него для меня занимательно. В доказательство того, прошу тебя написать, кому отсутствие мое кажется так заметным? Не Алексею П*, любезному нашему говоруну?—Я уверена, что угадала. Уши мои были всегда к его услугам, а ему только и надобно.

Я познакомилась с семейством ***. Отец [балагур] и хлебосол. Мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста. Дочка стройная, меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на чистом воздухе. Она целый день в саду или в поле с книгой в руках, окружена дворовыми собаками, говорит о погоде нараспев и с чувством подчует варением. У нее нашла я целый шкаф, наполненный старинными романами. Я намерена всё это прочесть и начала Ричардсоном. Надобно жить в деревне, чтоб иметь возможность прочитать хваленую Клариссу. Я, благословясь, начала с предисло-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вия переводчика и увидя в нем уверение, что хотя первые шесть частей скучненьки, за то последние шесть в полной мере вознаградят терпение читателя, храбро принялась за дело. Читаю том, другой, третий,—наконец, добралась до шестого,—скучно, мочи нет. Ну, думала я,—теперь буду я награждена за труд. Что же? Читаю смерть Клариссы, смерть Ловласа—и конец. Каждый том заключал в себе 2 части и я не заметила перехода от шести скучных к шести з<анимательным>.

Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек! Что есть общего между Ловласом и Адольфом? Между тем роль женщины не изменяется. Кларисса, за исключением церемонных приседаний, всё ж походит на героиню новейших романов. Потому ли, что [способы] нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения, а в женщинах они основаны на чувстве и природе, которые вечны?

Ты видишь, я с тобою болтлива по обыкновенному. Не будь же и ты скупа на заочные разговоры. Пиши ко мне как можно чаще и как можно более—ты не можешь вообразить, что значит ожидание почтового дня в деревне. Ожидание бала не может с ним равняться.

4. <ОТВЕТ САШИ>

Ты ошиблась, милая Лиза. Чтоб смирить твое самолюбие, объявляю, что Р* вовсе не замечает твоего отсутствия. Он привязался к леди Пелам, приезжей англичанке, и от нее не отходит. На его речи отвечает она видом невинного удивления и маленьким восклицанием: oho!——, а он в восхищении.—Знай: спрашивал меня о тебе, всем сердцем жалеет о тебе твой постоянный admirateur[1], Владимир **. Доволь-

[1] <поклонник>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

на ли ты? Думаю, очень довольна, и по своему обыкновению осмеливаюсь предполагать, что и без меня ты догадалась.

Шутки в сторону, ** очень занят тобою. На твоем месте я бы завела его далеко. Что ж, он прекрасный жених — —Зачем не выйти за него,—ты жила бы на Английской набережной, по субботам имела бы вечера, и всякое утро заезжала бы за мною.—Полно тебе дурачиться, мой ангел, приезжай к нам и выходи за **.—

Третьего дня был бал у князя **. Народу было пропасть. Танцовали до пяти часов.—Княгиня В. была одета очень просто; белое креповое платьице, даже без гирлянды, а на голове и шее на полмиллиона бриллиантов: только! Z* по своему обыкновению была одета уморительно.—Откуда берет она свои наряды?—На платье ее были нашиты не цветы, а какие-то сушеные грибы. Не ты ли ей, мой ангел, прислала их из деревни?—Владимир ** не танцовал: он едет в отпуск.—С. приехали (вероятно первые), просидели всю ночь, не танцуя, и уехали последние. Старшая, кажется, была нарумянена: пора!— —Бал очень удался.—Мужчины были недовольны ужином, но ведь они вечно должны быть чем-нибудь да недовольны. Мне было очень весело, хотя я и танцовала котильон с несносным дипломатом Ст., который к природной своей глупости присоединил еще рассеянность, вывезенную им из Мадрита.

Благодарю тебя, душа моя, за отчет о Ричардсоне. Теперь я имею об нем понятие—прочитать его не надеюсь с моим нетерпением; я и в Вальтер-Скотте нахожу лишние страницы. Кстати, кажется, роман Елены Н. и графа Л.—кончается, по крайней мере он так приуныл, а она так важничает, что, вероятно, свадьба решена.

Прости, моя прелесть!

Довольна ли ты моею сегодняшней болтовней?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

5. <ТРЕТЬЕ ПИСЬМО ЛИЗЫ>

Нет, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и приехать к вам на свадьбы. Откровенно признаюсь, что Владимир ** мне нравился, но никогда я не предполагала выйти за него. Он аристократ, а я—смиренная демократка. Спешу объясниться и заметить гордо, как истинная героиня романа, что родом принадлежу я к самому старинному русскому дворянству, а что мой рыцарь внук бородатого мильонщика—ты знаешь, что значит наша аристократия.—Как бы то ни было, ** человек светский; я могла ему понравиться, но он для меня не пожертвует [надеждами на знатное родство и] богатой невестою и выгодным родством. Если когда-нибудь и выйду замуж, то выберу здесь какого-нибудь сорокалетнего помещика. Он станет заниматься своим сахарным заводом, я хозяйством и буду счастлива, не танцуя на бале у гр. К. и не имея суббот у себя на Английской набережной.

У нас зима: в деревне c'est un événement[1].—Это вовсе переменяет образ жизни. Уединенные гуляния прекращаются, раздаются колокольчики, охотники выезжают с собаками,—всё делается светлее, веселее от первого снега.—Я никак этого не ожидала. Зима в деревне пугала меня.—Но всё на свете имеет свою хорошую сторону.

Я короче познакомилась с Машенькой *** и полюбила ее; у ней много хорошего, много оригинального. Нечаянно узнала я, что ** [их] близкий родня. Маша не видала его семь лет, но от него в восхищении. Он провел у них одно лето,—и Маша беспрестанно рассказывает все подробности тогдашней его жизни. Читая ее романы, нахожу на полях его замечания, бледно писанные карандашем—видно, что он был

---

[1] <это целое событие>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тогда ребенок.—Его поражали мысли и чувства, над которыми, конечно, стал бы он теперь смеяться; по крайней мере, видна душа свежая, чувствительная.— —Я читаю очень много. Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 году роман, писанный в 775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим около себя странные платья, однакож знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большею частию эти романы не имеют другого достоинства—происшествие занимательно, положение хорошо запутано, но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво.—Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки—и вышел бы прекрасный, оригинальный роман.—Скажи это от меня моему неблагодарному Р*. Полно ему тратить ум в разговорах с англичанками! Пусть он по старой канве вышьет новые узоры и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых он так хорошо знает.

Маша хорошо знает русскую литературу. Вообще здесь более занимаются словесностию, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно верят обеим сторонам, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, за что В*<яземский> и П*<ушкин> так любят уездных барышен—они их истинная публика. Я было заглянула в журналы и принялась за критики Вестника **, но их плоскость и лакейство показались мне отвратительны.—Смешно видеть, как семинарист важно упрекает в безнравственности и неблагопристойности сочинения, которые прочли мы все, мы—санкт-петербургские недотроги!..

Пушкинский кабинет ИРЛИ

6. <ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО ЛИЗЫ>

Милая! Мне невозможно до́лее притворяться, мне нужны помощь и советы дружбы. Тот, от которого я убежала, кого боюсь, как несчастия, **—здесь! Что мне делать? Голова моя кружится, я теряюсь, ради бога реши, что мне делать. Расскажу тебе всё.

Ты заметила прошедшею зимою, что он от меня не отходил. Напрасно вооружалась я холодностию, даже видом пренебрежения,—ничем не могла я от его избавиться. Он к нам не ездил, но мы виделись везде. На балах он вечно умел найти место возле меня, на гуляньи он вечно с нами встречался, в театре лорнет его был устремлен на нашу ложу.

С начала это льстило моему самолюбию. Я, может быть, слишком это ему дала заметить. По крайней мере он, присвоя себе новые права, вполголоса говорил мне каждый час о своих чувствах, то ревновал, то жаловался.

С ужасом думала: к чему всё это ведет и с отчаянием признавала я власть его над моей душою. Я уехала из Петербурга—думала тем прекратить зло в его начале. Моя решимость, уверенность в том, что исполнила я свой долг, успокоили было мое сердце. Я начинала думать о нем равнодушнее, с меньшею горестию.—Вдруг я его вижу.

Я его вижу: вчера были именины ***. Я приехала к обеду, вхожу в гостиную, нахожу толпу гостей, уланские мундиры. Дамы меня окружают. Я со всеми ими перецаловалась, не замечая никого, сажусь подле хозяйки,—гляжу: ** передо мной. Я остолбенела. Он сказал мне несколько слов с видом такой нежной, искренней радости, что и я не имела силы скрыть ни замешательства своего, ни удовольствия.

Пошли за стол.—Он сел против меня. Я не смела на него взглянуть, но заметила, что все глаза были устремлены на него. Он был молчалив и рассеян.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В другое время меня бы очень занимало общее желание привлечь внимание приезжего гвардейца, беспокойство барышен, неловкость мужчин, хохот их при собственных шутках, и между тем учтивая холодность и совершенное невнимание гостя.

После обеда он ко мне подошел. Чувствуя, что мне было надобно что-нибудь сказать, я спросила довольно не кстати, по делам ли заехал он в нашу сторону?—

«Я приехал по одному делу, от которого зависит счастие моей жизни», отвечал он вполголоса и отошел. Он сел играть в бостон с тремя старушками (в том числе с бабушкой), а я ушла на верх, к Маше, где пролежала до вечера, под предлогом головной боли. В самом деле, я была хуже, чем нездорова. Машенька от меня не отходила. Она в восторге от **.— <Он> пробудет у них месяц, или более.—Она целый день будет с ним.—Право, она влюблена в него. Дай бог, что и он влюбится. Она стройна и странна—мужчинам только того и надобно.

Что мне делать, милая? Здесь не будет мне возможности избегнуть его преследований. Он уж успел обворожить бабушку. Он будет ездить к нам. Опять пойдут признания, жалобы, клятвы—*и к чему?* Он добьется моей любви, моего признания, потом размыслит о невыгодах женитьбы, уедет под каким-нибудь предлогом, оставит меня—а я... Какая ужасная будущность! Ради бога, дай мне руку: я тону.

7. <ОТВЕТ САШИ>

То ли дело облегчить сердце полной исповедию! Давно бы так, мой ангел! Охота же тебе была не сознаваться в том, что я давно знала—**и ты—вы влюблены друг в друга. Что за беда? На здоровье.—Ты имеешь дар смотреть на вещи бог знает с какой стороны.—Ты напрашиваешься на несчастие—берегись накликать его.—Почему тебе не выйти за**: где тут

Пушкинский кабинет ИРЛИ

неодержимые препятствия? Он богат, а ты бедна—пустое!—Он богат за двух.—Чего ж вам более? Он аристократ, а ты именем, воспитанием разве не аристократка?

Недавно [спор зашел] о дамах высшего круга. Я узнала, что Р. объявил однажды себя решительно на стороне аристократок, потому что они лучше обуваются. И так, не явно ль, что ты с головы до ног аристократка?

Извини меня, мой ангел, но твое патетическое письмо рассмешило меня.** приехал в деревню для того, чтоб тебя видеть. Какой ужас! Ты гибнешь, ты требуешь моего совета. Уж не сделалась ли ты уездной героиней! Мой совет—обвенчаться как можно скорее в вашей деревенской церкви, и приезжать к нам, чтоб явиться Форнариной в картинах, которые затевают-ся у С**.

Поступок твоего рыцаря меня тронул, кроме шуток. Конечно, в старину любовник для благосклонного взгляда [уезжал на] три года сражаться в Палестину; но в наши времена уехать за пятьсот верст от Петербурга для того, чтоб увидеться с владычицею своего сердца—право много значит! ** достоин награды.

8. <ПИСЬМО ВЛАДИМИРА ** К ДРУГУ В ПЕТЕРБУРГ>

Сделай одолжение, распусти слух, что я при смерти болен. Я намерен просрочить и хочу соблюсти всевозможную благопристойность. Вот уже две недели, как я живу в деревне и не вижу, как время летит. Отдыхаю от петербургской жизни, которая мне ужасно надоела. Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да двадцатилетнему камер-юнкеру. Петербург—прихожая, Москва—девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через

Пушкинский кабинет ИРЛИ

переднюю, редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете. Тем и я кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою Саратовскую деревню. Звание помещика есть та же служба. Заниматься тремя тысячами душ, коих всё благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши.

Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы [оставляем] их на произвол плута приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает. Мы проживаем в долг наши будущие доходы—и разоряемся; старость нас застает в нужде и хлопотах. Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по-миру. Древние фамилии приходят в нищенство, новые поднимаются и в третьем поколении исчезают опять. К чему ведет такой политический материализм? Не знаю, но пора положить ему преграды[1].

Говоря в пользу аристократии, я не корчу английского лорда; мое происхождение, хоть я им и не стыжусь, не дает мне на то никакого права. Я согласен с Лабрюером: Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme[2].

Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижения наших исторических родов. Никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. И какой гордости воспоминаний ожидать от народа,

[1] К этому месту письма, возможно, относится заметка Пушкина: «Аристократия чина не заменит аристократии родовой. Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа. Но какие воспоминания у детей коллежского ассесора (или обер-офицера)?»

[2] <Подчеркивать пренебрежение к своему роду—черта смешная в выскочке и низкая в дворянине.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

у которого пишут на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольничий князь Дм<итрий Михайлович Пожарский> и м<ещанин> Козьма Минич Сухорукой, выборный человек от всего Г<осударства>. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!

Всё это надумал я, живучи в чужой деревне, глядя на управление мелкопоместных дворян. Эти господа не служат и сами занимаются управлением своих деревушек; но, признаюсь, дай бог им промотаться, как нашему брату! Какая дикость! Для них не прошли еще времена Фонвизина.—Между ими процветают Простаковы и Скотинины!

Это, впрочем, не относится к родственнику, у которого я в гостях. Он очень добрый человек, жена его очень добрая баба, дочь очень добрая девочка. Ты видишь, что я стал очень добр. В самом деле—с тех пор, как я в деревне, я стал отменно благосклонен и снисходителен—действие моей патриархальной жизни и присутствия Лизы***. Мне было скучно без нее не на шутку. Я приехал уговорить ее возвратиться в Петербург.—Наше первое свидание было великолепно. Тетка моя была именинница. Всё соседство съехалось,—явилась и Лиза—и едва поверила самой себе, увидев меня.—Она не могла ж не признаться, что я приехал сюда только для нее. По крайней мере, я постарался дать ей это почувствовать. Здесь мой успех превзошел мои ожидания (что много значит). Старушки от меня в восхищении, барыни ко мне так и льнут,

А потому что п<атриотки>...

Мужчины отменно недовольны моею fatuité indolente[1], которая здесь еще новость. Они бесятся тем

[1] <небрежным самодовольством>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

более, что я чрезвычайно учтив и благопристоен. Они никак не понимают, в чем именно состоит мое нахальство, хотя и чувствуют, что я нахал. Прощай, что делают наши?

Пиши ко мне в село **.

Servitor di tutti quanti [1].

9. <ОТВЕТ ВЛАДИМИРУ** ИЗ ПЕТЕРБУРГА>

Поручение твое мною исполнено. Вчера в театре объявил я, что ты занемог нервическою горячкою и что, вероятно, тебя уже нет на свете. Итак, пользуйся жизнию, покамест еще ты не воскрес.

Твои нравственные размышления на счет управления имений радуют меня за тебя. Назначение помещика, по-моему, самое завидное. То ли дело

Un homme sans peur<?>
Qui n'est vi <*неразбр.*> [2]

Конечно дворянство[3].

Чины в России необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьешься лошадей.

. . . . . .

Пустившись в важные рассуждения, я совсем забыл, что теперь тебе не до того. Ты занят своею Лизою. Охота тебе корчить г. Фобласа и вечно возиться с женщинами! В этом отношении ты отстал от своего века и сбиваешься на ci-devant[4] гвардии хрипуна 1807 г. Покамест это недостаток, скоро ты будешь смешон. Не лучше ли заранее привыкнуть к строгости зрелого возраста и добровольно отказаться от

---

[1] <Покорный слуга всех вместе взятых.>

[2] <Человек, ничего не боящийся, который не...>

[3] В подлиннике оставлено место для не сделанной вставки

[4] <бывшего>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

увядающей молодости? Знаю, что проповедую втуне, но таково мое назначение.

Все твои друзья тебе кланяются и очень жалеют о преждевременной твоей кончине. Между прочим— и прежняя твоя приятельница, которая возвратилась из Рима влюбленная в папу.—Как это на нее похоже и как это должно тебя восхитить! Не приедешь ли для соперничества cum servo servorum Dei?[1] Это было бы похоже на тебя. Я всякий день стану тебя ожидать.

10. <ВТОРОЕ ПИСЬМО ВЛАДИМИРА ** К ДРУГУ>

Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, но ты отстал от своего века—и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг: нам было неприлично танцовать, и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь это всё переменилось.—Французская кадриль заменила Адама Смита. Всякий волочится и веселится, как умеет. Я следую духу времени, но ты неподвижен, ты ci-devant un homme[2] стереотип. Охота тебе сиднем сидеть одному на оппозиционной скамеечке. Надеюсь, что Z* обратит тебя на истинный путь: поручаю тебя ее ватиканскому кокетству.

Что касается до меня—я совершенно предался патриархальной жизни: ложусь спать в десять часов вечера, езжу на порошу с здешними помещиками, играю со старухами в бостон по копеечке и сержусь, когда проигрываюсь.—С Лизою вижусь каждый день и час от часу более в нее влюбляюсь. В ней много

---

[1] <с рабом рабов божьих (один из титулов папы)?>
[2] <бывший человек>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

увлекательного. Эта тихая благородная стройность в обращении—прелесть высшего петербургского общества, а между тем, что-то живое, снисходительное, *доброродное* (как говорит ее бабушка). Ничего резкого, жестокого в ее суждениях, она не морщится перед впечатлениями, как ребенок перед принятием ревеню. Она слушает и понимает: редкое достоинство в наших женщинах. Часто удивляюсь я тупости понятия или нечистоте воображения дам, впрочем очень любезных. Часто самое тонкое поэтическое приветствие они принимают или за нахальную эпиграмму, или за неблагопристойную плоскость. В таком случае холодный вид, ими принимаемый, так убийственно отвратителен, что самая пылкая любовь против него не устоит.

Это испытал я с Еленой***, в которую был я влюблен без памяти. Я сказал ей какую-то нежность,— она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей приятельнице. Это меня вовсе разочаровало.

Кроме Лизы есть у меня для развлечения <Машенька***>. Эта девушка, выросшая под яблонями и между скирд, воспитанная природой и старыми нянюшками, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения матерей, а после—мнения своих мужьев.

Прощай, мой милый. Что нового в свете? Объяви всем, что наконец и я пустился в поэзию.—Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги (за что Лиза очень мило бранила меня): «*Глупа, как <неразбр.>, скучна, как <неразбр.>* etc. Не лучше ли *скучна, как* etc. То и другое похоже на мысль. Попроси В. прислать первый стих и отныне считать меня поэтом.

<1829 г.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

5

<В НАЧАЛЕ 1812 ГОДА ПОЛК НАШ СТОЯЛ...>

В начале 1812 года полк наш стоял в небольшом уездном городе, где мы проводили время очень весело. Помещики окрестных деревень обыкновенно приезжали туда на зиму, каждый день мы бывали вместе; по воскресениям танцовали у предводителя. Все мы, то есть двадцатилетние обер-офицеры, были влюблены, многие из моих товарищей нашли себе подругу на этих вечеринках—итак, не удивительно, что каждая безделица, относящаяся к тому времени, для меня памятна и любопытна.

Всего чаще посещали мы дом городничего. Он был взяточник, балагур и хлебосол, жена его свежая веселая баба, большая охотница до виста, а дочь стройная меланхолическая девушка лет семнадцати, воспитанная на романах и на бланманже...

<1829 г.>

6

<ПОВЕСТЬ О ПРАПОРЩИКЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА>

4 мая 1825 г. произведен я в офицеры [1], 6 <-го> получил повеление отправиться в полк в [Киевскую губернию] в местечко В<асильков>. 9 <-го> выехал из Петербурга.

Давно ли я был еще кадетом? Давно ли будили меня в 6 часов утра, давно ли я твердил немецкий урок при вечном шуме корпуса? Теперь я прапорщик, имею в сумке 475 р., делаю, что хочу, и скачу на перекладных в местечко В., где буду спать до 8 часов и где уж никогда не молвлю ни единого немецкого слова.

[1] Зачеркнуто: в Ч<ерниговский> полк.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

В ушах моих всё еще отзывает шум и крики играющих кадетов, и однообразное жужжание прилежных учеников, повторяющих вокабулы—le bluet, le bluet—василек, amarante—амарант, amarante, amarante... Теперь стук тележки да звон колокольчика одни нарушают окрестное безмолвие. Я всё еще не могу привыкнуть к этой тишине.

При мысли о моей свободе, об удовольствиях пути и приключениях, меня ожидающих, чувство несказанной сладости, доходящее до восторга, наполнило мою душу. Успокоивась мало-по-малу, наблюдал я движение передних колес и делал математические исчисления. Нечувствительным образом сие занятие меня утомило, и путешествие уже казалось мне не [столь] приятным как с начала.

Приехав на станцию, я отдал кривому смотрителю свою подорожную, и потребовал скорее лошадей. Но с неизъяснимым неудовольствием услышал я, что лошадей нет; я заглянул в почтовую книгу: от города * до Петербурга едущий 6 <-го> класса чиновник с будущим взял [двенадцать] лошадей, генеральша Б.—восемь, две тройки пошли с почтою, остальные две лошади взял наш брат прапорщик.

На станции стояла одна курьерская тройка и смотритель не мог ее мне дать—если паче чаяния наскачет курьер или фельдъегерь и не найдет лошадей, то что тогда будет, беда—он может лишиться места, пойти по миру. Я попытался подкупить его совесть, но он остался неколебим и решительно отвергнул мой двугривенник. Нечего делать! Я покорился необходимости.

— Угодно ли чаю или кофею, спросил меня смотритель.

Я благодарил и занялся рассмотрением картин, украшающих его смиренную обитель. В них изображена история блудного сына.—В первой почтенный старец в колпаке и в шлафроке отпускает беспокой-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ного юношу, который принимает поспешно его благословение и мешок с деньгами. В другой изображено яркими чертами дурное поведение молодого человека; он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в французском кафтане, в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу.—В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние, он вспоминает о доме отца своего, где *последний раб* etc. Наконец представлено возвращение его к отцу своему. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленях—вдали повар убивает упитанного тельца и старший брат с досадой вопрошает о причине таковой радости. Под картинками напечатаны немецкие стихи. Я прочел их с удовольствием и списал, чтобы на досуге перевести.

Прочие картины не имеют рам и прибиты на стене гвоздиками. Они изображают погребение кота, спор красного носа с сильным морозом и тому подобное,—и в нравственном как и художественном отношении не стоят внимания образованного человека.

Я сел под окно. Виду никакого. Тесный ряд однообразных изб, прислоненных одна к другой. Кое-где две-три яблони, две-три рябины, окруженные худым забором, отпряженная телега с моим чемоданом и погребцом.

День жаркой. Ямщики разбрелись. На улице играют в бабки златовласые, замаранные ребятишки. Против меня старуха сидит перед избою подгорюнившись. Изредка поют петухи. Собаки валяются на солнце, или бродят, высунув язык и опустя хвост, да поросята с визгом выбегают из-под ворот и мечутся в сторону безо всякой видимой причины.

Какая скука! Пойду гулять. В поле—развалившийся колодец. Около—мелкая лужица. В ней резвятся

Пушкинский кабинет ИРЛИ

желтенькие утята под надзором глупой утки, как балованные дети при французской мадаме.

Я пошел по большой дороге—справа тощий озимь, слева кустарник и болото. Кругом плоское пространство. Навстречу одни полосатые версты. В небесах медленное солнце, кое-где облако. Какая скука! Иду назад, дошед до третьей версты и удостоверясь, что до следующей станции оставалось еще 22.

Возвратясь, я попытался было завести речь с моим ямщиком, но он как будто избегал порядочного разговора, на вопросы мои отвечал одним: не можем знать, ваше благородие, а бог знает, а не что...

Я сел опять под окном и спросил у толстой работницы, которая бегала поминутно мимо меня то в задние сени, то в чулан,—нет ли чего-нибудь почитать.

Она принесла мне [несколько книг]. Я обрадовался и кинулся с жадностию их разбирать. Но тотчас и успокоился, увидев затасканную Азбуку и арифметику, изданную для народных училищ. Сын смотрителя, буян лет девяти, обучаясь по ним, как говорила она, всем наукам царским, выдрал затверженные листы, за что выдрали его за волосы (естественное возмездие).

<1829—1830 г.>

<ПЛАН ПОВЕСТИ>

Смотритель.—Прогулка.—Фельдъегерь.

Дождик.—Коляска.—Gentilman [1].—Любовь.—Родина [2].

7

<УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА. Я ЖЕНЮСЬ...>

(С французского)

Участь моя решена. Я женюсь.

Та, которую любил я целые два года, которую

[1] <Джентльмен.>

[2] После слова «Родина» знак: #.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством,—боже мой,—она почти моя.

Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. [Ожидание последней заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком—всё это в сравнении с ним ничего не значит.]

Дело в том, что я боялся не одного отказа. Один из моих приятелей говаривал: не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь наверное, что не будет отказа.

Жениться! Легко сказать.—Большая часть людей видит в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок, другие—приданое, и степенную жизнь, третьи женятся так, потому что все женятся, потому что им под тридцать лет. Спросите их, что такое брак,—в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму.—

Я женюсь, т. е. я жертвую независимостию, моей беспечной, прихотливой независимостию, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Готов я удвоить жизнь и без того неполную; [я стану думать *мы*]. Я никогда не хлопотал о счастии: я мог обойтиться без него.—Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?

Пока я не женат, что значат мои обязанности?

Есть у меня больной дядя, которого почти никогда не вижу. Заеду к нему—он очень рад; нет—так он извиняет меня: «повеса мой молод, ему не до меня!»

Я ни с кем не в переписке, долги свои выплачиваю каждый месяц. Утром встаю, когда хочу, принимаю, кого хочу, вздумаю гулять—мне седлают мою умную, смирную Женни, еду переулками, смотрю в окна низеньких домиков: здесь сидит семейство за самоваром, там слуга метет комнаты, далее девочка учится за фортепьяно, подле нее ремесленник-музыкант. Она

Пушкинский кабинет ИРЛИ

поворачивает ко мне рассеянное лицо—учитель ее бранит—я шагом еду мимо. Одеваюсь небрежно, если еду в гости,—со всевозможной старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман, или журналы. Если же Вальтер-Скотт и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса, то требую бутылку шампанского во льду, смотрю как рюмка стынет от холода, пью медленно, радуясь, что обед стоит мне семнадцать рублей и что могу позволить себе эту шалость. Еду в театр, отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный убор, черные глаза; между нами начинается сношение— Я занят до самого разъезда. Вечер провожу или в мужском обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и всё и где никто меня не замечает, или в любезном избранном кругу, где говорю я про себя и где меня слушают. Возвращаюсь поздно, засыпаю, читая хорошую книгу. На другой день опять еду верхом—переулками, мимо дома, где девочка играла на фортепьяно. Она твердит на фортепьяно вчерашний урок. Она взглянула на меня, как на знакомого, и засмеялась.—Вот моя холостая жизнь...

Если мне откажут, думал я, поеду в чужие краи,— и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы.—Пироскаф тронулся; морской свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег. My native land, adieu! [1] Подле меня молодую женщину начинает тошнить—это придает ее бледному лицу выражение томной нежности. Она просит у меня воды. Слава богу, до Кронштадта есть для меня занятие!

В эту минуту подали мне записку; ответ на мое письмо. Отец невесты моей ласково звал меня к себе...

[1] <Родная земля, прощай!>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Нет сомнения, предложение мое принято. Надинька, мой ангел—она моя!.. Все печальные сомнения исчезли перед этой райской мыслию. Бросаюсь в карету, скачу—вот их дом—вхожу в переднюю, уже по тороливому приему слуг вижу, что я жених. Я смутился: эти люди знают мое сердце, говорят о моей любви на своем холопском языке!

Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстыми объятиями, вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Надиньку, она явилась бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образа Николая чудотворца и Казанской богоматери. Нас благословили. Надинька подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне—и я жених.

Итак уж это не тайна двух сердец. Это сегодня новость домашняя, завтра—площадная.

Так поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи, при свете луны, [печатается в сальной типографии], продается потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками.

Все радуются моему счастию, все поздравляют, все полюбили меня. Всякой предлагает мне свои услуги—кто свой дом, кто денег взаймы, кто знакомого бухарца с шалями.

Иные беспокоятся о многочисленности будущего моего семейства и предлагают мне 12 дюжин перчаток с портретом m-lle Зонтаг.

Молодые люди начинают со мною чиниться—уважают во мне уже неприятеля. Дамы в глаза хвалят мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте.—«Бедная! она так молода, так невинна, а он такой ветреный, безнравственной!»

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Признаюсь, это начинает мне надоедать. Мне нравится обычай какого-то древнего народа: жених тайно похищал свою невесту—на другой день представлял уже он ее городским сплетницам, как свою супругу.—У нас приуготовляют к семейственному счастию печатными объявлениями, подарками, известными всему городу, форменными письмами, визитами, словом сказать, соблазном всякого рода.

<1830 г.>

8

ОТРЫВОК [1]

Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться, кроме права ставить винительный вместо родительного падежа после частицы *не* и кой-каких еще так называемых стихотворческих вольностей, мы никаких особенных преимуществ за стихотворцами не ведаем)—как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Не говорю о их обыкновенном гражданском ничтожестве и бедности, вошедшей в пословицу, о зависти и клевете братьи, коих они делаются жертвами, если они в славе, о презрении и насмешках, со всех сторон падающих на них, если произведения их не нравятся—но что, кажется, может сравниться с несчастием, для них неизбежимым: разумеем суждения глупцов? Однако же и сие горе, как оно ни велико, не есть крайним еще для них.—Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца—есть его звание, прозвище, коим он заклеймен и которое его никогда не покидает. Публика смотрит на него, как на свою собственность, считает себя в праве требо-

[1] Сей отрывок составлял, вероятно, предисловие к повести, ненаписанной или потерянной.—Мы не хотели его уничтожить...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вать от него отчета в малейшем шаге. По ее мнению, он рожден для ее удовольствия и дышит для того только, чтоб подбирать рифмы. Требуют ли обстоятельства присутствия его в деревне—при возвращении его первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь нового?—Явится ль он в армию, чтоб взглянуть на друзей и родственников—публика требует непременно от него поэмы на последнюю победу, и газетчики сердятся, почему долго заставляет он себя ждать. Задумается ли он о расстроенных своих делах, о предположении семейственном, о болезни милого ему человека—тотчас уже пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, изволите сочинять?—Влюбится ли он?—красавица его нарочно покупает себе альбом и ждет уже элегии. Приедет ли он к соседу поговорить о деле или просто для развлечения от трудов?—сосед кличет своего сынка и заставляет мальчишку читать стихи *такого-то*, и мальчишка самым жалостным голосом угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще называется торжеством! Каковы же должны быть невзгоды? Не знаю, но последние легче, кажется, переносить. По крайней мере один из моих приятелей, известный стихотворец, признавался, что сии обязательные приветствия, вопросы, альбомы и мальчишки до такой степени бесили его, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости и твердить себе, что эти добрые люди не имели, вероятно, намерения вывести его из терпения...

Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец. Когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), то он запирался в своей комнате и писал в постеле с утра до позднего вечера, одевался наскоро, чтоб пообедать в ресторации, выезжал часа на три, возвратившись, ложился опять в постелю и писал опять

Пушкинский кабинет ИРЛИ

до петухов. Это продолжалось у него недели две, три—много месяц, и случалось единожды в год, всегда осенью. Приятель мой уверял меня, что он только тогда и знал истинное счастие. Остальное время года он гулял, читая мало и не сочиняя ничего, и слыша поминутно неизбежимый вопрос: скоро ли вы нас подарите новым произведением пера вашего? Долго дожидалась бы почтеннейшая публика подарков от моего приятеля, если б книгопродавцы не платили ему довольно дорого за его стихи. Имея поминутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения и имел удовольствие потом читать о них печатные суждения (см. выше), что называл он в своем энергическом просторечии—подслушивать у кабака, что говорят об нем холопья.

Приятель мой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием... Он столько же дорожил тремя строчками летописца, в коих упомянуто было о предке его, как модный камер-юнкер тремя звездами двоюродного своего дяди. Будучи беден, как и почти всё наше старинное дворянство, он, подымая нос, уверял, что никогда не женится, или возьмет за себя княжну рюриковой крови, именно, одну из княжен Елецких, коих отцы и братья, как известно, ныне пашут сами и, встречаясь друг с другом на своих бороздах, отряхают сохи и говорят: «Бог помочь, князь Антип, сколько твое княжое здоровье сегодня напахало?»—Спасибо, князь Ерёма Авдеевич.—Кроме сей маленькой слабости, которую, впрочем, относим мы к желанию подражать лорду Байрону, продававшему также очень хорошо свои стихотворения, приятель мой был человек совершенно круглый, un homme tout rond[1], как говорят французы, homo quadratus, человек четвероугольный, по

[1] <Человек честный, прямодушный (дословно—круглый).>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

выражению латинскому—по нашему, очень хороший человек.

Он не любил общества своей братьи литераторов. Кроме весьма немногих, он находил в них слишком много притязаний—у одних на колкость ума, у других на пылкость воображения, у третьих на чувствительность, у четвертых на меланхолию, на разочарованность, на глубокомыслие, на филантропию, на мизантропию, иронию и проч. и проч. Иные казались ему скучными по своей глупости, другие несносными по своему тону, третьи гадкими по своей подлости, четвертые опасными по своему двойному ремеслу,—вообще слишком самолюбивыми и занятыми исключительно собою да своими сочинениями. Он предпочитал им общество женщин и светских людей, которые, видя его ежедневно, переставали с ним чиниться и избавляли его от разговоров об литературе и от известного вопроса: не написали ли чего-нибудь новенького?

Мы распространились о нашем приятеле по двум причинам: во-первых, потому что он есть единственный литератор, с которым удалось нам коротко познакомиться,—во-вторых—что повесть, предлагаемая ныне читателю, слышана от него [1].

<1830 г.>

---

[1] К этому «Отрывку» относится дальнейший черновой набросок, не включенный Пушкиным в беловой текст:

Но главною неприятностию почитал мой приятель приписывание множества чужих сочинений, как то: Эпитафия попу покойного [Нахимова] Курганова, четверостишие о женитьбе, в коем так остроумно сказано, что коли хочешь быть умен—учись, а коль хочешь быть в аду—женись, стихи на брачн<ую> перв<ую ночь>, достойные Ивана Семеновича Баркова, начитавшегося Ламартина...

Беспристрастные наши журналисты, которые обыкновенно не умеют отличить стихов Нахимова от стихов Б<аркова>, укоряли его в безнравственности, отдавая полную справедливость их поэтическому достоинству и остроте.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

9

<РОМАН НА КАВКАЗСКИХ ВОДАХ>

1

В одно из первых чисел апреля 181... года в доме Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха. Все двери были растворены настичь; зала и передняя загромождены сундуками и чемоданами; ящики всех комодов выдвинуты, слуги поминутно бегали по лестницам, служанки суетились и спорили; сама хозяйка, сорокапятилетняя дама, сидела в спальне, пересматривая счетные книги, принесенные ей толстым управителем, который стоял перед нею с руками за спиной и выдвинув правую ногу вперед. Катерина Петровна показывала вид, будто бы хозяйственные тайны были ей коротко знакомы, но ее вопросы и замечания обнаруживали ее барское неведение и возбуждали изредка едва заметную улыбку на величавом лице управителя, который однако ж с большою снисходительностию подробно входил во все требуемые объяснения. В это время слуга доложил, что Парасковья Ивановна Поводова приехала. Катерина Петровна обрадовалась случаю прервать свои совещания, велела просить и отпустила управителя.

— Помилуй, мать моя,—сказала вошедшая старая дама,—да ты собираешься в дорогу! куда тебя бог несет?

— На Кавказ, милая Парасковья Ивановна.

— На Кавказ! стало быть Москва впервой от роду правду сказала—а я не верила. На Кавказ! да ведь это ужесть как далеко. Охота тебе тащиться бог ведает куда, бог ведает зачем.

— Как быть? Доктора объявили, что моей Маше нужны железные воды, а для моего здоровья необходимы горячие ванны. Вот уж полтора года, как я всё страдаю—авось Кавказ поможет.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Дай-то бог! а скоро ли едешь?

— Дня через четыре, много-много промешкаю неделю—всё уж готово. Вчера привезли мне новую дорожную карету—что за карета! игрушка, загляденье—вся в ящиках, и чего тут нет!—постеля, туалет, погребок, аптечка, кухня, сервиз—хочешь ли посмотреть?

— Изволь мать моя,— <и> обе дамы вышли на крыльцо. Кучера выдвинули из сарая дорожную карету. Катерина Петровна велела открыть дверцы, вошла в карету, перерыла в ней все подушки, выдвинула все ящики, показала все ее тайны, все удобности, приподняла все ставни, все зеркала, выворотила все сумки, словом для больной женщины оказалась очень деятельной и проворной. Полюбовавшись экипажем, обе дамы возвратились в гостиную, где разговорились опять о предстоящем пути, о возвращении, о планах на будущую зиму.

— В октябре месяце,—сказала Катерина Петровна,—надеюсь непременно воротиться. У меня будут вечера два раза в неделю, и надеюсь, милая, что ты ко мне перенесешь свой бостон.

В эту минуту девушка лет осьмнадцати, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами, тихо вошла в комнату, присела Поводовой —и—подошла к руке Катерины Петровны,

— Хорошо ли ты спала, Маша?—спросила Катерина Петровна.

— Хорошо, маменька, сейчас только встала. Вы удивляетесь моей лени, Парасковья Ивановна? Что делать—больной простительно.

— Спи, мать моя, спи себе на здоровье,—отвечала Поводова,—да смотри: воротись у меня с Кавказа румяная, здоровая, а бог даст—и замужняя.

— Как замужняя?—возразила Катерина Петровна смеясь,—да за кого выдти ей на Кавказе? разве за черкесского князя?..

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— За черкеса! сохрани ее бог! да ведь они что гурки да бухарцы—нехристы. Они ее забреют да запрут.

— Пошли нам бог только здоровья,—сказала со вздохом Катерина Петровна,—а женихи не уйдут. Слава богу, Маша еще молода, приданое есть. А добрый человек полюбит, так и без приданого возьмет.

— А с приданым все таки лучше, мать моя,— сказала Парасковья Ивановна вставая.—Ну,. простимся ж, Катерина Петровна, уж я тебя до сентября не увижу; далеко мне до тебя тащиться, с Басманной на Арбат—и тебя не прошу, знаю, что тебе теперь некогда; прощай и ты, красавица, не забудь же моего совета.

Дамы распростились, и Парасковья Ивановна уехала.

<1831 г.>

<ПЛАНЫ>

<1-й вариант>

[Кавказские воды—семья русская] — Якубович приезжает—Якубович impatronisé—arrivé du [frère] véritable amant—[tout le monde] les femmes enchantées de lui—soirées [dans][1] в калмыцкой кибитке—[jeux] [2] встреча изъяснение — поединок—Якубович [ранен] не дерется—условие—он скрывается—толки, забавы, гуляния—[кунак—enlèvement][3] нападение черкесов—enlèvement [3]—[Москва—приезд Якубовича в Москву]—Якубович хочет жениться—

<Заметки к 1-му варианту>

Якубович enlève Marie, qui a fait avec lui la coquette.

[1] <становится своим человеком—приезд [брата] настоящего любовника—[все] женщины в восхищении от него—вечера [в]>

[2] <игры>

[3] <похищение>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

[Son amant l'enlève du milieu des tcherkes].

Kounak—un jeune garçon [amoureux d'elle] attaché à elle l'enlève et la [donne] rend à sa famille [1].

<2-й вариант>

Les eaux—une saison [2]; весна, кто живет на Кавказе—один расслабленный [конвойный] маиор Курисов—генерал-баба—генеральша Мерлина—два лекаря.

Семейства съезжаются—отец и [две] доч[ери]—отец составляет вист: расслабленный, лекарь и Курисов—дочь дружится с воспитанницей генеральши—воспитанница чувствительная сводня—[приезд Якубовича] [приезд брата и <?> любовника <?>]———————

Поэт, брат, любовник, Якубович, зрелые <?> невесты, банкометы (сотр<удники>) Якубовича.

На другой день банка—все дамы на гуляньи ждут Якубовича. Он является—с братом, который представляет его—его ловят—он влюбляется в Марью—cavalcade [3], Бешту—Якубович сватается через брата Pelham <?>—отказ—*дуэль*—у Якубовича секундант поэт, у брата (Курисов отказывается) *любовник*, раненный на Кавказе офицер, бывший влюблен <ным?>[еще в], знавший Якубовича в горах и некогда им ограбленный—Якубович ночью едет в аул <к> узденю—во время переезда из Горячих на Холодные, Якубович enlève [4]—тот спасает ее с одним кунаком.

---

[1] <похищает Марию, которая кокетничала с ним. [Ее любовник похищает ее у черкесов]—Кунак—юноша [влюбленный в нее] привязанный к ней, похищает ее и [отдает] возвращает в семью.>

[2] <Воды—сезон>

[3] <прогулка верхом>

[4] <похищает>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

<Заметки ко 2-му варианту>

1

[Корсакова] [Александра] Алина увезена Кубов<ичем?> в аул и спасена [ее женихом] [влюбленным офицером]—Гранев—

2

Раз. <?> брат едет из Петербурга—il laisse son escorte au [pauvre] paralytique—est attaqué par les tcherkes—il[s] en tue un—les autres fuient, [est blessé] [Якубович] Якубович n'y est pas [1]—спрашивает у сестры [в кого она влюблена] влюблена <ли> она в Якубовича. Смеется над ним.

Якубович fait des frais pour lui—et lui demande sa soeur en mariage—*Duel*[2].

<3-й вариант>

Приезд на станцию старухи Корсаковой и старика Кубовича. Корсакова едет далее, а он плетется назад. [Они атакованы].

Гранев, Курилов и Хохленко сидят у кислосерного источника—Курилов рассказывает черкесский набег—едет карета—Шмидт предупреждает Хохленка. [Хохленко ходит]—приезжает в параличе разбитый старик—Хохленко ходит за ним.

Алина кокетничает с офицером, который в нее влюбляется—вечера кавказские—приезд Кубовича—смерть его отца—театральное погребение—Алина начинает с ним кокетничать—Кубович введен в круг Корсаковых—им все восхищаются—Гранев его на-

---

[1] <он оставляет свой конвой [бедному] паралличному—на него нападают черкесы—он [и] убивает одного из них—остальные бегут [ранен]... Якубовича между ними нет.>

[2] <*Якубович* платит за него—и просит у него руки его сестры—*Дуэль*.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чинает ненавидеть—Якубович предлагает свою руку, она не соглашается[1], влюбленная в Гранева—он предает его черкесам—он освобожден (казачкою-черкешенкою) и является на воды—дуэль—Якубобович убит.

<Наброски разработки 3-го варианта>

1

Кунак, друг Якубовича, пленитель офицера, брат казачки.

2

Последняя станция—парал<ичный>—разговор Ник.<?> и Корсаковой.
Приезд параличного, смерть его в Константиногорске.
Приезд сына с каз<аками?>.
Похороны; все—кокетство.

3

Приезд Корсаковой и т. д.
Общество на водах— — —
Кавказский пленник; дочь с ними кокетничает—она влюбляется
[Он ей друг]
Приезд параличного.

Встреча пленника с Якубовичем [у Корсаковых]—объяснение.

4

Теперешнее состояние Кавказа и прежнее—
Кто были [посетители и] жители?

[1] Далее зачеркнуто: он ее увозит с бала—[она] Гранев едет освобождать ее и на дуэли убивает Кубова.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Жители: генерал Мер<лини> с женой, майор Кур<илов>, начальник отряда, казачий отряд, больной [обл. <?>] офицер, два лекаря (враги по ремеслу)—кто скорей рекомендуется.

5

Москва, сцена отъезда или об отъезде[1].

Общество на водах: два лекаря, Курилов, больной и офицер, приехавший заранее.

6

Хлапенко, малоросс, лекарь; поэт, игрок, воин, musard[2], любопытный—гуляет с казачьим офицером (или с больным откупщиком о<десским?>), который ему рассказывает— — —едет коляска с дамой московской—Хлапенко опаздывает, немец берет его место—«Куда вы, Адам Адамович?..

<1831>

10

Часто думал я об этом ужасном семейственном романе, воображая беременность молодой жены, ее ужасное положение и спокойное доверчивое ожидание мужа[3].

Наконец час родов наступает. Муж присутствует при муках милой изменницы. Он слышит первые крики новорожденного; в упоении восторга бросается к своему младенцу— —и остается неподвижен— — —

<Начало 1830-х годов>

---

[1] <Приведенная выше глава повести и является выполнением этого пункта плана.>

[2] <праздношатающийся>

[3] *Незачеркнутый вариант*: замирание молодой изменницы, спокойное ожидание мужа.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

11

<РУССКИЙ ПЕЛАМ>

Глава I

Я начинаю помнить себя с самого нежного младенчества, и вот сцена, которая [живо сохранилась в моем воображении.]

Нянька приносит меня в большую комнату, слабо освещенную. На постели, под зелеными занавесками, лежит женщина вся в белом. Отец мой берет меня на руки. Она цалует меня и плачет. Отец мой рыдает громко [Я пугаюсь—и кричу]—Няня меня выносит, говоря: «Миша хочет бай, бай».

Помню также большую суматоху, множество гостей; люди бегают из комнаты в комнату. Солнце светит во все окошки, и мне очень весело. Монах с золотым крестом на груди благословляет меня; в двери выносят длинный красный гроб. Вот всё,что похороны матери оставили у меня в сознании. Она была женщина необыкновенного ума и сердца, как узнал я после, по расскáзам людей, не знавших ей цены.

Тут воспоминания мои становятся сбивчивы. Я могу дать ясный отчет о себе не прежде, как уж с осьмилетнего моего возраста. Но прежде должен я поговорить о моем семействе.

Отец мой был пожалован сержантом, когда еще бабушка была им брюхата. Он воспитывался дома до 18 лет. Учитель его, М. Дерори, был простой и добрый старичек, очень хорошо знавший французскую орфографию. Неизвестно, были ли у отца другие наставники; но отец, кроме французской орфографии, кажется, ничего основательно не знал. Он женился, против воли своих родителей, на девушке, которая была старее его несколькими годами; в тот же год он вышел в отставку и уехал в Москву. Старый Савельич, его камердинер, сказывал мне, что первые годы супружества были счастливы. Мать моя успела при-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мирить мужа с его семейством, в котором ее полюбили. Но легкомысленный и непостоянный характер отца моего не позволил ей насладиться спокойствием и счастием. Он вошел в связь с женщиной, известной в свете своей красотою и любовными похождениями. Она для него развелась с своим мужем, который уступил ее отцу моему за десять тысяч и потом обедывал у нас довольно часто. Мать моя знала всё, и молчала. Душевные страдания расстроили ее здоровие. Она слегла и уже не встала.

Отец имел пять тысяч душ. Следственно был из тех дворян, которых покойный граф Ш<ереметев>называл мелко-поместными, удивляясь от чистого сердца, каким образом они могут жить! Дело в том, что отец мой жил не хуже графа Ш<ереметева>, хотя был ровно в 20 раз беднее. Москвичи помнят еще его обеды, домашний театр и роговую музыку. Года два после смерти матери моей, Анна Петровна Вирлацкая, виновница этой смерти, поселилась в его доме. Она была, как говорится, видная баба, впрочем, уже не в первом цвете молодости. Мне подвели мальчика в красной курточке с манжетами и сказали, что он мне братец. Я смотрел на его во все глаза. Мишенька шаркнул направо, шаркнул налево — и хотел поиграть моим ружьецом; я вырвал игрушку из его рук.— Мишенька заплакал, и отец поставил меня в угол, подарив братцу мое ружье.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. И в самом деле пребывание мое под отеческою кровлею не оставило ничего приятного в моем воображении. Отец, конечно, меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернер оказался пьяницей; второй, человек неглупой и не без сведений, имел такой бешеный нрав, что однажды чуть не убил меня поленом за то, что пролил я чернила на его жилет; тре-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тий, проживший у нас целый год, был сумасшедший, и в доме только тогда догадались о том, когда пришел он жаловаться Анне Петровне на меня и на Мишеньку за то, что мы подговорили клопов со всего дому не давать ему покою, и что сверх того чертенок повадился вить гнезда в его колпаке. Прочие французы не могли ужиться с Анной Петровной, которая не давала им вина за обедом, или лошадей по воскресеньям. Сверх того, им платили очень неисправно. Виноватым остался я: Анна Петровна решила, что ни один из моих гувернеров не мог сладить с таким несносным мальчишкою.

Впрочем, и то правда, что не было из них ни одного, которого бы в две недели по его вступлению в должность не обратил я в домашнего шута: с особенным удовольствием воспоминаю о [мосье Гроже, пятидесятилетнем пиэтисте] женевце, которого уверил я, что Анна Петровна была в него влюблена.

Надобно было увидеть целомудренный ужас с некоторой примесью лукавого кокетства, когда Анна Петровна косо поглядывала на него за столом, говоря вполголоса: «Экой обжора!»

Я был резв, ленив и вспыльчив, но чувствителен и честолюбив, и ласкою от меня можно было добиться всего; к несчастию, всякой вмешивался в мое воспитание, и никто не умел за меня взяться.

Над учителями я смеялся и проказил; с Анной Петровной бранился зуб за зуб; с Мишенькой имел беспрестанные ссоры и драки; с отцом доходило часто дело до бурных объяснений, которые с обеих сторон оканчивались слезами. Наконец, Анна Петровна уговорила его отослать меня в один из немецких университетов. Мне тогда было пятнадцать лет.

Университетская жизнь моя оставила мне приятные воспоминания, которые, если их разобрать, относятся к происшествиям ничтожным, иногда и неприятным; но молодость—великий чародей: дорого

Пушкинский кабинет ИРЛИ

бы я дал, чтоб сидеть за кружкою пива, в облаках табачного дыма, с дубиною в руках и с засаленной бархатной фуражкой на голове. Дорого бы я дал за мою комнату, вечно полную народу, и бог знает какого народу; за наши латинские песни, студенческие поединки и ссоры с филистерами!

Вольное университетское учение принесло мне больше пользы, чем домашние уроки. Но вообще выучился я порядочно только фехтованию и деланию пунша. Из дому получал я деньги в разные не положенные сроки. Это приучило меня к долгам и к беспечности. Прошло три года, и я получил от отца из Петербурга приказание оставить университет и ехать в Россию служить. Несколько слов о расстроенном состоянии, о лишних расходах, о перемене жизни показались мне странными, но я не обратил на них большого внимания.

При отъезде моем дал я прощальный пир, на котором поклялся я быть вечно верным дружбе и человечеству, и никогда не принимать должности цензора,—а на другой день, с головной болью и с изжогою, отправился в дорогу.

<1835>

<ПЛАНЫ>

I. Воспитание. Смерть матери. Явление кн. Хов. с Наградским; мои ошибки с ним, его сплетни. Гувернеры.—Жизнь отца. Il reçoit bonne compagnie en fait d'homme et mauvaise en fait de femme [1]. Я выхожу в службу и в свет.

II. Светская жизнь П. Б-ая (получаю часть своей матери), балы, скука большого света, происходящая от бранчивости женщин; по примеру молодежи удаляется в холостую компанию, дружится с Zav. (Ф. Орлов).

[1] <Он попадает в хорошую мужскую компанию и в дурную женскую.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

III. Общество Zavadovsky—les parasites, les actrices—sa mauvaise réputation; il devient amoureux. Пелымов est son confident.

IV. Enlèvement. P. devient aux yeux du monde un mauvais sujet. C'est alors qu'il est en correspondance avec N<atalie Чоколей>. Il reçoit sa premièr lettre au sortir de chez la Istomine qu'il console du mariage de Zavadovsky.

V. La porte de Чок<олей> lui est refusée, il ne la voit qu'au théâtre. Il apprend que son frere est secrétaire de Чок<олей>.

VI. Vie splendide de Zavadovsky. Il donne des dîners et des bals. Embarras domestiques. Créanciers, jeu.

VII. Норовой et son duel.

VIII. Scène chez le père.

IX. Explication avec Zavadovsky.

X. P<elymof> rompt avec Zavadovsky.

I. Continuation des amours de P<elymof>.

II. [Zavad. brigand] La femme de Zavadovsky. [misère] Le mari devenu Ф. Орлов. Ses nouveaux compagnons, leurs exploits. Ils arrêtent dans la rue P<elymof>. Ф. Орлов le reconnaît et tourne la chose en plaisanterie[1].

III. Maladie, délaissement et mort du père de P<elymof>.

IV. Situation du frère.

V. Assassinat[2].

VI.

---

[1] На полях этого варианта главы второй приписано: «ce chapitre après la catastrophe» [эта глава после катастрофы].

[2] <III. Общество Завадовского—паразиты, актрисы, его дурная слава; он влюбляется. Пелымов его поверенный.

IV. Похищение. П. приобретает в глазах света репутацию повесы. В это время он вступает в переписку с Н<атальей Чоколей>. Он получает первое письмо от нее, уходя от Истоминой, которую он утешает по поводу женитьбы Завадовского.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

<I>

Русский Пелам—сын барина, воспитан французами. Отец его frivole [1] в русск<ом> роде.—Пелам.—Двоюродный брат его [2] Пелам в свете—театр, литераторы, картежники. Он свидетель бесчестия одного молодого человека. Его дружба с Ф. Орловым.

Он помогает ему увезти любовницу,—отказывается от *игры фальшивой*. Брат его в игре получает пощечину, дуэль—брат его струсил.

Орлов увозит девушку—ее несчастное положение—бедность—разврат мужа—она влюблена в Пелама—связь ее с им—подозрения мужа. Смерть Ф. Орлова.

Пелам влюбляется в женщину высшего общества. Пелам в б<ольшом> обществе, любовь в большом свете. [Пелам едет в]. Отец его умирает. Пелам в деревне (эпизод жены Ф. Орлова). Соседи—Жизнь русских помещиков.—Слышит о свадьбе двоюродного брата, едет в П. Б. Брат его делается ему врагом, чернит его в глазах правительства.—Он выслан из

V. Двери дома Чок<олей> для него закрыты, он видит ее только в театре. Узнает, что его брат служит секретарем у Чок<олей>.

VI. Блестящая жизнь Завадовского. Он дает обеды и балы. Домашние неприятности. Кредиторы, игра.

VII. Норовой и его дуэль.

VIII. Сцена у отца.

IX. Объяснение с Завадовским.

X. П<елымов> порывает с Завадовским.

I. Продолжение любовных похождений П<елымова>.

II. [Завадовский разбойник] Жена Завадовского. [нищета] Муж превращается в Ф. Орлова. Его новые приятели, их подвиги. Они останавливают на улице П<елымова>. Ф. Орлов узнает его и обращает всё в шутку.

III. Болезнь, печальное одиночество и смерть отца П<елымова>.

IV. Положение брата.

V. Убийство.>

[1] <легкомысленный>

[2] <После этих строк неразобранная французская фраза>.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

города (Ф. Орлов доходит до разбойничества—Пелам son confident). Он свидетель нападения.—Он оправдан самим Ф. Орловым.

II

Пелам выходит в большой свет, [влюбляется] и, наскуча им, отдается в дурное общество.

В обществе актрис и литераторов встречает Ф. Орлова и с ним дружится, отказывается от игры на-верно, помогает ему увезти девушку.

Продолжает свою беспутную жизнь. Связь его с танцоркой, на счет гр<афа> Зав<адовского>.

Дуэль Фед. Орлова с двоюродным братом Пел<ама>. Несчастная жизнь жены Ф. Ор<лова>, Орлов доходит до нищеты и до разбойничества>. Пелам узнает обо всем—укрывает его у себя—

Пелам влюбляется.—Отец у него умирает—Перемена его, он ссорится—танц<оркой.>

Он сватается—Ему отказывают.—Он едет в деревню.—

Разбой.—Донос—Суд—Тайный неприятель—Письмо к брату, ответ Тартюфа.—Узнает о свадьбе брата—Отчаяние—Он [оправдан] освобожден по покровительству Алексея Орлова и выслан из города.

Болезнь душевная—Сплетни света—Уединенная жизнь—Ф. Орлов пойман в разбое, Пел<ам> оправдан, получает позволение ехать в Петербург.—

Заключение.

Характеры.

Всеволожский и О<вошникова>.—Отец и его любовница—[Дв<оюродный> брат] выблядок—Фед. Орлов—Алексей Орлов—Кочубей, дочь его.—Кн. Шаховской, Ежова—Истомина, Грибоедов, Завадовский. — Дом Всеволожских — Котляревский—Мордвинов, его общество.—Хрущов —Общество *умных И* (И<лья>Долгоруков, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев etc).

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Служба. Юнкер гвардии, офицер гвардии, немец начальник, *отставка*, долги, Неелов, Шишкин.

Похороны отца etc. Привычка к роскоши. Обеды, литераторы.—Иван Козлов.

Большое общество. Семья Пашковых etc.

Игроки.

Орл. Павлов.

История Фед. Орлова—un mauvais sujet, un elegant un Zav., des maîtresses, des dettes[1]. Он влюбляется в бедную светскую девушку, увозит ее; первые года роскошь, впадает в бедность, cherche des distractions chez ses premières maîtresses, devient escroc et dueliste[2], доходит до разбойничества, зарезывает Щепочкина, застреливается (или исчезает).

История Пелымова. Он знакомится с Ф. Орловым dans la mauvaise société[3], помогает ему увезти девушку, отказывается от фальшивой игры, на дуэли секундантом у него—узнает от него о убийстве Щ<епочкина>, devient l'exécuteur testamentaire de[4] Фед. Орлов, попадает в подозрение (он [носит часы Щеп.] дает ломбардный билет Ще<почкина>. Обращается к Алексею Орлову из крепости.

Эпизоды.

[Уезжает в деревню. Смерть отца его. Эпизод крепостной любви.]

История брата его. Он зарывается в канцелярии, отрекается от своей матери, [является в дурном обществе, по страсти к деньгам—получает пощечину] делается врагом Пелымову, выходит в люди, в сек-

---

[1] <повеса, франт Завадовский, любовницы, долги.>

[2] <ищет утешения у своих прежних любовниц, становится мошенником и дуэлистом>

[3] <в дурном обществе>

[4] <делается душеприказчиком>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ретари Чуколея, преследует тайно своего брата, сватается за его невесту и женится на ней.

Мать его (княг. Хованская) расточает деньги Всеволожского—для Норовова, которого обыгрывает шайка Фед. Орлова и который получает пощечину, etc.

Нат. К<очубей>—вступает с Пелымовым в переписку, предостерегает его etc.

Une danseuse[1]. Пелымов с нею знакомится, находит у нее Фед. Орлова.

Пелымов воспитан у отца 7-ю французами, немц., швед., англич. Отец им не занимается, но любит. Ссорится с ним за Норового. Отец назначает ему 1000 в год и выгоняет его. Умирает в нищете—сын его хоронит.

[Пелымов] Бат<урин?> pour vivre traduit des vaudevilles[2]—Шаховской, Ежова etc. etc.

<1834—1835?>

12

<В 179* ГОДУ ВОЗВРАЩАЛСЯ Я В ЛИФЛЯНДИЮ...>

В 179* году возвращался я в Лифляндию, с веселою мыслию обнять мою старушку-мать после четырехлетней разлуки. Чем более приближался я к нашей мызе, тем сильнее волновало меня нетерпение. Я погонял почтаря, хладнокровного моего единоземца, и душевно жалел о русских ямщиках и об удалой русской езде.

К умножению досады, бричка моя сломалась. Я принужден был остановиться. К счастию, станция была недалеко.

Я пошел пешком в деревню, чтоб выслать людей к бедной моей бричке. Это было в конце лета. Солнце

---

[1] <Танцовщица>

[2] <чтобы заработать на жизнь, переводит водевили.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

садилось. С одной стороны дороги простирались распаханные поля, с другой—луга, поросшие мелким кустарником. Издали слышалась печальная песнь молодой эстонки. Вдруг в общей тишине раздался явственно пушечный выстрел... и замер без отзыва. Я удивился. В соседстве не находилось ни одной крепости; каким же образом пушечный выстрел мог быть слышен в этой мирной стороне? Я решил, что, вероятно, где-нибудь по близости находился лагерь, и воображение перенесло меня на минуту к занятиям военной жизни, мною только что покинутой.

Подходя к деревне, увидел я в стороне господский домик. На балконе сидели две дамы. Проходя мимо их, я поклонился—и отправился на почтовый двор.

Едва успел я справиться с ленивыми кузнецами, как явился ко мне старичек, отставной русский солдат, и от имени барыни позвал меня откушать чаю. Я согласился охотно и отправился на господский двор.

Дорогой узнал я от солдата, что старую барыню зовут Каролиной Ивановной, что она вдова, что дочь ее Екатерина Ивановна—уже в невестах, что обе такие добрые, и проч....

В 179* мне было ровно 23 года, и мысль о *молодой барыне* была достаточна, чтоб возбудить во мне живое любопытство.

Старушка приняла меня ласково и радушно. Узнав мою фамилию, Каролина Ивановна сочлась со мною свойством, и я узнал в ней вдову фон В., дальнего нам родственника, храброго генерала, убитого в 1772 году.

Между тем как я повидимому со вниманием вслушивался в генеалогические воспоминания доброй Каролины Ивановны, я украдкою посматривал на ее милую дочь, которая разливала чай и мазала свежее, янтарное масло на ломтики домашнего хлеба.

18 лет, круглое румяное лицо, темные, узенькие

Пушкинский кабинет ИРЛИ

брови, свежий ротик и голубые глазки—вполне оправдывали мои ожидания. Мы скоро познакомились, и на третьей чашке чаю уже обходился я с нею, как с кузиною. Между тем, бричку мою привезли; Иван пришел мне доложить, что она не прежде готова будет, как на другой день утром. Это известие меня вовсе не огорчило, и по приглашению Каролины Ивановны я остался ночевать.

<1835 г.>

13

<МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ У КНЯГИНИ Д.>.

Мы проводили вечер на даче у княгини Д.

Разговор коснулся как-то Madame de Stael. Барон** на дурном французском языке очень дурно рассказал известный анекдот: вопрос ее Бонапарту—кого почитает он первою женщиною на свете—и забавный его ответ: ту, которая народила более детей—celle qui a fait le plus d'enfants.

— Какая славная эпиграмма!—заметил один из гостей.

— И поделом ей!—сказала одна дама,—как можно так неловко напрашиваться на комплименты?

— А мне так кажется, сказал Сорохтин, дремавший в гамсовых креслах,—мне так кажется, что ни Madame de Stael не думала о мадригале, ни Наполеон об эпиграмме. Одна сделала свой вопрос из единого любопытства, очень понятного, а Наполеон буквально выразил настоящее свое мнение. Но вы не верите простодушию гениев.

Гости начали спорить, а Сорохтин задремал опять.

— Однако, в самом деле, сказала хозяйка, кого почитаете вы первою женщиною в свете?

— Берегитесь: вы напрашиваетесь на комплименты...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Нет, шутки в сторону...

Тут пошли толки: иные называли Madame de Stael, другие Орлеанскую Деву, третьи Елисавету, английскую королеву, Madame de Maintenon, Madame Roland и проч...

Молодой человек, стоявший у камина (потому что в Петербурге камин никогда не лишнее), в первый раз вмешался в разговор.

— Для меня,—сказал он,—женщина самая удивительная—Клеопатра.

— Клеопатра?—сказали гости,—да, конечно... однако, почему ж?

— Есть черта в ее жизни, которая так врезалась в мое воображение, что не могу взглянуть почти ни на одну женщину, чтоб тотчас не подумать о Клеопатре.

— Что ж это за черта?—спросила хозяйка,—расскажите.

— Не могу; мудрено рассказать.

— А что? Разве неблагопристойно?

— Да, как почти всё, что живо рисует ужасные нравы древности.

— Ах! расскажите, расскажите.

— Ах, нет, не рассказывайте,—перервала Вольская, вдова по разводу, опустив чопорно огненные свои глаза.

— Полноте,—вскричала хозяйка с нетерпением.— Qui est-ce donc que l'on trompe ici[1]. Вчера мы смотрели Anthony, а вон там у меня на камине валяется La physiologie du mariage[2]. Неблагопристойно! Нашли чем нас пугать! Перестаньте нас морочить, Алексей Иваныч! Вы не журналист. Расскажите просто, что знаете про Клеопатру—однако, будьте благопристойны, если можно.—

---

[1] <Кого здесь обманывают?>

[2] <Физиология брака.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Все засмеялись.

— Ей-богу,—сказал молодой человек,—я робею: я стал стыдлив, как цензура. Ну, так и быть...

Надобно знать, что в числе латинских историков есть некто Аврелий Виктор, о котором, вероятно, вы никогда не слыхивали.

— Aurelius Victor?—прервал Вершнев, который учился некогда у езуитов,—Аврелий Виктор, писатель IV столетия. Сочинения его приписываются Корнелию Непоту и даже Светонию; он написал книгу De viris illustribus—о знаменитых мужах города Рима, знаю...

— Точно так,—продолжал Алексей Иваныч,—книжонка его довольно ничтожна, но в ней находится то сказание о Клеопатре, которое так меня поразило. И—что замечательно—в этом месте сухой и скучный Аврелий Виктор силою выражения равняется Тациту: Haec tantae libidinis fuit, ut saepe prostituerit; tantae pulchritudinis, ut multi noctem illius morte emeruerint...[1]

— Прекрасно!—воскликнул Вершнев.—Это напоминает мне Саллюстия—помните? Tantae...[2]

— Что ж это, господа?—сказала хозяйка,—уж вы изволите разговаривать по латыни! Как это для нас весело!—скажите, что значит ваша латинская фраза?

— Дело в том, что Клеопатра торговала своею красотою, и что многие купили ее ночи ценою своей жизни...

— Какой ужас!—сказали дамы,—что же вы тут нашли удивительного?

— Как что? Кажется мне, Клеопатра была не пошлая кокетка и ценила себя не дешево. Я предлагал** сделать из этого поэму; он было и начал ее, да бросил.

---

[1] <Она отличалась такой похотливостью, что часто торговала собой, такой красотой, что многие покупали ее ночь ценою жизни.>

[2] <Такой...>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— И хорошо сделал.

— Что ж из этого хотел он извлечь? Какая тут главная идея—не помните ли?

— Он начинает описанием пиршества в садах царицы египетской.

Темная знойная ночь объемлет африканское небо; Александрия заснула; ее стогны утихли, дома померкли. Дальний Фарос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовьи спящей красавицы.

Светлы и шумны чертоги Птоломеевы: Клеопатра угощает своих друзей. Стол обставлен костяными ложами. Гости увенчаны венками. Триста юношей служат гостям, триста дев разносят им амфоры, полные греческих вин; триста черных евнухов надзирают над ними безмолвно.

Порфирная колонада, открытая с юга и с севера, ожидает дуновения Эвра; но воздух недвижим, огненные языки светильников горят недвижно, дым курильниц возносится прямо недвижною струею, недвижное море как зеркало лежит недвижно у розовых ступеней полукруглого крыльца. Сторожевые сфинксы в нем отразили свои золоченые когти и гранитные хвосты... только звуки кифары <и> флейты потрясают огни, воздух и море...

Вдруг царица задумалась и грустно поникла дивною головою; светлый пир омрачился ее грустию, как солнце омрачается облаком.

О чем она грустит?

Какая грусть ее гнетет.
Чего, чего не достает
Царице гордой <и> прекрасной?
В ее столице сладострастной
Веселье, блеск и тишина.
Судьбою властвует она.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Покорны ей земные боги,
Полны чудес ее чертоги.
Все земли, волны всех морей
Смиренно дань приносят ей.
Всечасно пред ее глазами
Пиры сменяются пирами—
Постиг ли кто в душе своей
[Все] таинства ее ночей?..
Вотще! В ней сердце глухо страждет—
[Она] утех безвестных жаждет—
Утомлена, пресыщена
Больна бесчувствием она...

. . . . . .

— Этот предмет должно бы доставить маркизе Жорж Занд, такой же бесстыднице, как ваша Клеопатра. Она ваш египетский анекдот переделала бы на нынешние нравы—

— Невозможно. Не было бы никакого правдоподобия. Этот анекдот совершенно древний; таковой торг нынче несбыточен, как сооружение пирамид.

— Отчего ж несбыточен? Неужто между нынешними женщинами не найдется ни одной, которая захотела бы испытать на самом деле справедливость того, что твердят ей поминутно—что любовь ее была бы дороже им жизни.

— Положим, это и любопытно было бы узнать,— но каким образом можно сделать это ученое испытание? Клеопатра имела всевозможные способы заставить должников своих расплатиться.—А мы?

— Конечно: ведь нельзя же такие условия написать на гербовой бумаге и засвидетельствовать в Гражданской Палате.

— Можно в таком случае положиться *на честное слово*.

— Как это?

— Женщина может взять с любовника его честное слово, что на другой <день> он застрелится.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Да! а он на другой день уедет в чужие края,— а она останется в дурах.

— Да,—если он согласится остаться навек бесчестным в глазах той, которую любит.—Да и самое условие неужели так тяжело? Разве жизнь уж такое сокровище, что ее ценою жаль и счастие купить? Посудите сами: первый шалун, которого я презираю, скажет обо мне слово, которое не может мне повредить никаким образом, и я подставляю лоб под его пулю—я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, повесе, которому вздумается испытать мое хладнокровие. И я стану трусить, когда дело идет о моем блаженстве?—Что жизнь, если она отравлена унынием, пустыми желаниями! И что в ней, когда наслаждения ее истощены?

— Неужели вы в состоянии заключить такое условие?

В эту минуту Вольская, которая во все время сидела, молча опустив глаза, быстро устремила их на Алексея Иваныча.

— Я про себя не говорю—истинно влюбленный человек, конечно, не усумнится ни на одну минуту...

— Как! Даже для такой женщины, которая бы вас не любила? (А та, которая согласилась бы на ваше предложение, уж верно б вас не любила). Одна мысль о таком зверстве должна уничтожить самую безумную страсть...

— Нет—я в ее согласии видел бы одну только пылкость воображения.—А что касается до взаимной любви... то я ее не требую—если я люблю, какое тебе дело?..

— Перестаньте—бог знает, что вы говорите.—Так вот чего вы не хотели рассказать...

Молодая графиня К., кругленькая дурнушка, постаралась придать важное выраженье своему носу, похожему на луковицу, воткнутую в репу, и сказала:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Есть и нынче женщины, которые ценят себя подороже.

...Муж ее, польский [граф], женившийся по расчету (говорят, ошибочному), потупил глаза и выпил свою чашку чаю.

— Что вы под этим разумеете, графиня?—спросил [молодой человек], с трудом удерживая улыбку.

— Я разумею,—отвечала графиня К.,—что женщина, которая уважает себя, которая уважает...

Тут она запуталась; Вершнев подоспел ей на помощь.

— Вы думате, что женщина, которая себя уважает, не хочет смерти грешнику—не так ли?

Разговор переменился.

Алексей Иваныч сел подле Вольской, наклонился, будто рассматривал ее работу, и сказал ей вполголоса

— Что вы думаете об условии Клеопатры?

Вольская молчала.—Алексей Иваныч повторил свой вопрос.

— Что вам сказать? И нынче иная женщина дорого себя ценит, но мужчины 19-го столетия слишком хладнокровны, благоразумны, чтоб заключить такие условия.

— Вы думаете,—сказал Алексей Иваныч голосом, вдруг изменившимся,—вы думаете, что в наше время, в Петербурге, здесь—найдется женщина, которая будет иметь довольно гордости, довольно силы душевной... чтоб предписать любовнику условия Клеопатры?..

— Думаю—даже уверена.

— Вы не обманываете меня? Подумайте—это было бы слишком жестоко—более жестоко, нежели самое условие...

Вольская взглянула на него огненными пронзительными глазами и произнесла твердым голосом:—*нет.*

Алексей Иваныч встал—и тотчас же исчез.

<1835 г.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

14

<ЦЕЗАРЬ ПУТЕШЕСТВОВАЛ...>

Цезарь путешествовал, мы с Титом Петронием следовали за ним издали, не торопясь.

По захождении солнца [слуги разбивали] шатер, расставляли постели, мы ложились пировать и весело беседовали. На заре мы снова пускались в дорогу, и сладко засыпали каждый в лектике своей, утомленные жаром и ночными наслаждениями.

Мы достигли Кум и уже думали пуститься далее, как явился к нам посланный от Нерона. Он принес Петронию повеление Цезаря возвратиться в Рим и там ожидать решения своей участи—вследствие ненавистного обвинения.

Мы были поражены ужасом. Один Петроний равнодушно выслушал свой приговор, отпустил гонца с подарками и объявил нам свое намерение остановиться в Кумах. Он послал своего любимого раба выбрать и нанять ему дом и стал ожидать его возвращения в кипарисной роще, посвященной Эвменидам.

Мы окружили его с беспокойством. Флавий Аврелий спросил, долго ли думает он оставаться в Кумах, и не страшится ли раздражить Нерона ослушанием?

Я не только не думаю ослушаться его, отвечал Петроний с улыбкою, но даже намерен предупредить его желания. Но вам, друзья мои, советую возвратиться. Путник в ясный день отдыхает под тенью дуба, но во время грозы от него благоразумно удаляется, страшась удара молнии.

Мы все изъявили желание с ним остаться и Петроний ласково нас поблагодарил—Слуга возвратился—и повел нас в дом им уже выбранный.—Он находился в предместьи города.—Им управлял в отсутствии хозяина, уже давно покинувшего Италию, старый отпущенник. Несколько рабов под его надзором заботились о чистоте комнат и садов. В широких сенях

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нашли мы кумиры девяти муз. У дверей стояли два кентавра.

Петроний остановился у мраморного порога и прочел начертанное на нем приветствие: *здравствуй*! Печальная улыбка изобразилась на лице его. Старый управитель повел его в библиотеку, где осмотрели мы несколько свитков—и вошли потом в спальню хозяина. Она убрана была просто. В ней находились только две семейные статуи. Одна изображала матрону, сидящую в креслах, другая девочку, играющую мячем. На столике подле постели стояла маленькая лампада. Здесь Петроний остался <на> отдых и всех отпустил, пригласив вечером к нему собраться.

Я не мог уснуть; печаль наполняла мою душу. Я видел в Петронии не только щедрого благодетеля, но и друга, искренно ко мне привязанного. Я уважал его обширный ум и любил его прекрасную душу. В разговорах с ним почерпал я знание света и людей, известных мне более по умозрениям божественного Платона, нежели по собственному опыту. Его суждения обыкновенно были быстры и верны Равнодушие во всему избавляло его от пристрастия. Искренность в отношении к самому себе делала его проницательным. Жизнь не могла представить ему ничего нового; он изведал все наслаждения; чувства его дремали, притупленные привычкою. Но ум его хранил удивительную свежесть.—Он любил игру мыслей, как и гармонию слов.—Охотно слушал философические рассуждения и сам писал стихи не хуже Катулла.

Я сошел в сад и долго ходил по извилистым его тропинкам, осененным старыми деревьями. Я сел на скамейку, под тень широкого тополя, у которого стояла статуя молодого сатира, прорезывающего тростник. Желая развлечь как-нибудь печальные мысли, я вынул записные дощечки и перевел одну из од Анакреона, которую и сберег в память этого печального дня:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Поредели, побелели
Кудри, честь главы моей,
Зубы в деснах ослабели
И потух огонь очей.
Сладкой жизни мне немного
Проводить осталось дней,
Парка счет ведет им строго
Тартар тени ждет моей—
Страшен хлад подземна свода,
Вход в него для всех открыт,
Из него же нет исхода...
Всяк сойдет и там забыт.

Солнце клонилось к западу; я пошел к Петронию [и нашел] [его] в библиотеке. Он расхаживал—с ним был его домашний лекарь Септимий.—Петроний, увидя меня, остановился и произнес шутливо:

Узнают коней ретивых
По их выжженным таврам,
Узнают парфян кичливых
По высоким клобукам.
И любовников счастливых
Узнают по их глазам.

Ты угадал, отвечал я Петронию и подал ему свои дощечки. Он прочитал мои стихи. Облако задумчивости прошло по его лицу и тотчас рассеялось.

Когда читаю подобные стихотворения, сказал он, мне всегда любопытно знать, как умерли те, которые так сильно были поражены мыслию о смерти.—Анакреон уверяет, что Тартар его ужасает, но не верю ему—так же как не верю трусости Горация. Вы знаете оду его?

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал,
И кудри, плющем увитые,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Сирийским миром умащал?
Ты помнишь час ужасной битвы.
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно бросая щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! Как бежал!
Но Эрмий сам внезапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.
. . . . . .

Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мецената своею трусостию, чтоб не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута. [Воля ваша, нахожу более искренности в его восклицании:

Красно и сладостно паденье за отчизну!

<1835>

<НАБРОСКИ ПЛАНА>

Описание дома.—Первый вечер, как было это и кто.—Греч<еский> Фил<ософ> исчез—Петроний улыбается и сказывает *оду* (отрывок).

(Мы находим Петрония с своим лекарем—Он продолжает рассуждение о роде смерти—избирает теплые ванны и кровь).—Описание приготовлений—Он перевязывает рану и начинаются рассказы.

1) О Клеопатре—Наши рассуждения о том.

2) вечер. Петроний приказывает разбить драгоценную чашу—диктует Satyricon—рассуждения о падении человека—о падении богов—о общем безверии—о предрассудках Нерона—Раб-христианин...

15

<МАРИЯ ШОНИНГ>

АННА ГАРЛИН К МАРЬЕ ШОНИНГ

Милая Марья!

Что с тобою делается? Уж более четырех месяцев не получала я от тебя ни строчки. Здорова ли ты?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Кабы не всегдашние хлопоты, я бы уж побывала у тебя в гостях; но ты знаешь: 12 миль не шутка. Без меня хозяйство станет; Фриц в нем ничего не смыслит—настоящий ребенок. Уж не вышла ли ты замуж? Нет, верно ты б обо мне вспомнила и порадовала свою подругу вестию о своем счастии. В последнем письме ты писала что твой бедный отец всё еще хворает; надеюсь, что весна ему помогла и что теперь ему легче.—О себе скажу, что я, слава богу, здорова и счастлива. Работа идет помаленьку, но я всё еще не умею ни запрашивать, ни торговаться. А надобно будет выучиться. Фриц также довольно здоров, но с некоторых пор деревянная нога начинает его беспокоить; он мало ходит, а в ненастное время кряхтит да охает. Впрочем, он по-прежнему весел, по-прежнему любит выпить стакан вина и всё еще не досказал мне историю о своих походах. Дети растут и хорошеют. Франк становится молодцом. Вообрази, милая Марья, что уж он бегает за девочками,—каков?— а ему нет еще и трех лет. А какой забияка! Фриц не может им налюбоваться и ужасно его балует; вместо того, чтоб ребенка унимать, он еще его подстрекает, и радуется всем его проказам. Мина гораздо степеннее; правда, она годом старше.—Я начала уж учить ее азбуке. Она очень понятлива и, кажется, будет хороша собою. Но что в красоте? Была бы добра и разумна, тогда верно будет и счастлива.

P. S. Посылаю тебе в гостинец косынку; обнови ее, милая Марья, в будущее воскресение, когда пойдешь в церковь. Это подарок Фрица; но красный цвет идет более к твоим черным волосам, нежели к моим светлорусым. Мужчины этого не понимают. Им всё равно, что голубое, что красное. Прости, милая Марья, я с тобою заболталась. Отвечай же мне поскорее. Батюшке засвидетельствуй мое искреннее почтение. Напиши мне, каково его здоровье. Мать нашего пастора советует ему употреблять, вместо чаю, красный *бед-*

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ринец, цветок очень обыкновенный; я отыскала и латинское его название; всякий аптекарь тебе укажет его. Век не забуду, что я провела три года под его кровлею и что он обходился со мною, бедной сироткою, не как с наемной служанкою, а как с дочерью.

МАРИЯ ШОНИНГ К АННЕ ГАРЛИН

Я получила твое письмо в прошлую пятницу, [но] прочла [его] только сегодня. Бедный отец мой скончался в тот самый день, в шесть часов по утру—вчера были похороны.

Я никак не воображала, чтоб смерть была так близка. Во всё последнее время ему было гораздо легче, и г. Кельц имел надежду на совершенное его выздоровление. В понедельник он даже гулял по нашему садику и дошел до колодезя не задохнувшись. Возвратясь в комнату, он почувствовал легкий озноб, я уложила его и побежала к г. Кельцу—его не было дома. Возвратясь к отцу, я нашла его в усыплении—я подумала, что сон успокоит его совершенно.—Г. Кельц пришел вечером; он осмотрел больного, и был недоволен его состоянием. Он прописал ему новое лекарство. Ночью отец проснулся и просил есть—я дала ему супу; он хлебнул одну ложку и более не захотел. Он опять впал в усыпление.—На другой день с ним сделались спазмы. Г. Кельц от него не отходил. К вечеру боль унялась—но им овладело такое беспокойство, что он пяти минут сряду не мог лежать в одном положении—я должна была поворачивать его с боку на бок... Перед утром он утих и часа два лежал в усыплении. Г. Кельц вышел, сказав мне, что воротится часа через два. Вдруг отец мой приподнялся и позвал меня. Я к нему подошла и спросила: что ему надобно. Он сказал мне: «Марья, что так темно? Открой ставни». Я испугалась и сказала ему: «Батюшка! разве вы не видите... ставни

Пушкинский кабинет ИРЛИ

открыты». Он стал искать около себя, схватив меня за руку, и сказал: «Марья, Марья, мне очень дурно— я умираю... Дай, благословлю тебя поскорее». Я бросилась на колени и положила его руку себе на голову—рука вдруг отяжелела. Он сказал: «Господь, награди ее; господь! тебе ее поручаю».—Он замолк. Я подумала, что он опять заснул, и несколько минут не смела шевельнуться. Вдруг вошел г. Кельц, снял с моей головы руку его и сказал мне: «Теперь оставьте его, подите в свою комнату». Я взглянула: отец лежал бледный и недвижимый. Всё было кончено.

Добрый г. Кельц целые два дня не выходил из нашего дома и всё распорядил, потому что я была не в силах.—В последние дни я ходила за больным, некому было меня сменить. Часто я вспоминала о тебе и горько сожалела, что тебя с нами не было.

Вчера я встала с постели и пошла было за гробом, но мне стало дурно. Я стала на колени, чтоб издали с ним проститься. Фрау Ротберх сказала: какая комедиантка! Вообрази, милая Анна, что слова эти возвратили мне силу. Я пошла за гробом удивительно легко. В церкви, мне казалось, было чрезвычайно светло, и всё кругом меня шаталось. Я не плакала. Мне было душно, и мне всё хотелось смеяться.

Его снесли на кладбище, что за церковью св. Якова, и при мне опустили в могилу. Мне вдруг захотелось тогда ее разрыть, потому что я с ним не совсем простилась. Но многие еще гуляли по кладбищу, и я боялась, чтоб фрау Ротберх не сказала опять: какая комедиантка!

Какая жестокость не позволять дочери проститься с мертвым отцом, как ей вздумается...

Возвратясь домой, я нашла чужих людей, которые сказали мне, что надобно запечатать всё имение и бумаги покойного отца. Они оставили мне мою комнату, только вынесли из нее всё, кроме кровати и одного стула. Завтра воскресение. Я не обновлю

Пушкинский кабинет ИРЛИ

твою косынку, но очень тебя за нее благодарю. Кланяюсь твоему мужу, Франка и Мини целую. Прощай.

P. S. Пишу стоя у окошка, а чернильницу заняла у соседей.

МАРИЯ ШОНИНГ К АННЕ ГАРЛИН

Милая Анна!

Вчера пришел ко мне чиновник и объявил, что всё имение покойного отца моего должно продаваться с публичного торгу, в пользу городовой казны, за то, что он был обложен не по состоянию, и что по описи имения оказался он гораздо богаче, нежели думали. Я тут ничего не понимаю. В последнее время мы очень много тратили на лекарство. У меня всего на расход осталось 23 талера,—я показала их чиновникам, которые однакож сказали, чтоб я деньги эти взяла себе, потому что закон их не требует.

Дом наш будет продаваться на будущей неделе, и я не знаю, куда мне деться. Я ходила к г. бургмейстеру,—он принял меня хорошо, но на мои просьбы отвечал, что он ничего не может для меня сделать. Не знаю, куда мне определиться. Если нужна тебе служанка, то напиши мне; ты знаешь, что я могу тебе помогать в хозяйстве и в рукоделии, а сверх того буду смотреть за детьми и за Францем, если он занеможет. За больными ходить я научилась. Пожалуйста, напиши, нужна ли я тебе. И не совестись. Я уверена, что отношения наши от того ни мало не переменятся и что ты будешь для меня всё та же добрая и снисходительная подруга.

*
* *

Домик старого Шонинга полон был народу. Толпа теснилась около стола, за которым председательствовал оценщик. Он кричал: «Байковый камзол с мед-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ными пуговицами— — <столько-то>. Раз, два... Никто более—Байковый камзол—три». Камзол перешел в руки нового своего владельца.

Покупщики осматривали с хулой и любопытством вещи, выставленные на торг. Фрау Ротберх рассматривала черное белье, не вымытое после смерти Шонинга; она теребила его, отряхивала и повторяла: «Дрянь ветошь, лохмотья»,—и надбавляла по грошам. Трактирщик Гирц купил две серебряных ложки, полдюжину салфеток и две фарфоровые чашки. Кровать, на которой умер Шонинг, куплена была Каролиной Шмидт, девушкой сильно нарумяненной, вида скромного и смиренного.

Марья, бледная как тень, стояла тут же, безмолвно смотря на расхищение бедного своего имущества. Она держала в руке ** талеров, готовясь купить что-нибудь, и не имела духа перебивать добычу у покупщиков.

Народ уходил, унося приобретенное. Оставались непроданными два портрета в рамах, некогда вызолоченных, засиженных мухами. На одном изображен был Шонинг молодым человеком в красном кафтане. На другом Христина, жена его, с собачкою на руках. Оба портрета были нарисованы резко и ярко. Гирц хотел купить их, чтобы повесить в угольной комнате своего трактира, потому что стены были слишком голы. Портреты оценены были в ** <талеров>. Гирц вынул кошелек.

В это время Марья превозмогла свою робость и дрожащим голосом надбавила цену. Гирц бросил на нее презрительный взгляд и начал торговаться. Мало по-малу цена возросла до ***. Марья дала наконец ***, Гирц отступился, и портреты остались за нею. Она отдала деньги, остальные спрятала в карман, взяла портреты и вышла из дому, не дождавшись конца аукциону.

Когда Марья вышла на улицу с портретом в каж-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дой руке, она остановилась в недоумении: куда ей было итти?..

Молодой человек в золотых очках, [одетый с некоторой] странностию, подошел к ней и очень вежливо вызвался отнести портреты, куда ей будет угодно.

— Я очень вам благодарна... я, право, не знаю... И Марья думала, куда бы ей отнести портреты, покаместь она сама без места.

Молодой человек подождал несколько секунд и пошел своею дорогою, а Марья решилась нести портреты к лекарю Кельцу.

<1835—1836?>

<МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОВЕСТИ>

Marie Schoning et Anna Harlin jugées en 1787 à Nurenberg.

Marie Schoning, fille d'un ouvrier de Nurenberg, perdit son père à 17 ans. Elle le soignait seule, la pauvreté l'ayant forcée de renvoyer leur unique servante Anna Harlin.

En revenant de l'enterrement de son père, elle trouva deux officiers du revenu public, qui lui demandèrent à visiter les papiers du défunt, pour s'assurer s'il avait payé les taxes en proportion de sa propriété. Ils trouvèrent après l'examen que le vieux Schoning n'avait pas imposé en proportion de ses moyens: ils mirent les scelles. La jeune fille se retira dans une chambre sans meubles jusqu'à ce que les directeurs du trésor public eussent décidé sur sette affaire.

Les officiers du fisc revinrent apporter la décision de leur chef, muni d'un ordre que enjoignait Marie Eléonora Schoning de quitter la maison, confisquée au profit du trésor.

Mr. Schoning était pauvre, mais économe. Une ma-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ladie de trois ans épuisa tout ce qu'fl avait amassé. Marie alla chez les commissaires. Elle pleura, et le bureau fut inflexible.

La nuit elle alla au cimetière de St. Jacques. Elle en sortit le matin, mourant de faim, elle se retrouva au cimetière.

La police de Nurenberg assigne un demi-couronne aux gardes de nuit pour chaque femme arrêtée la nuit après 10 heures. Marie Schoning fut conduite au corps de garde. Le lendemain elle fut emmenée devant le magistrat qui la renvoya, en la menaçant de l'envoyer dans la maison de correction en cas de récidive.

Marie voulait se jeter dans la Pegnitz... On l'appelle: elle vit Anna Harlin, ancienne servante de son père, qui avait épousé un invalide. Anna la consola: «la vie est courte, lui dit-elle, et le ciel c'est pour toujours, mon enfant».

Marie fut recueillie chez les Harlins pendant une année. Elle y mena une vie assez misérable. Au bout de ce temps elle tomba malade. L'hiver vint, l'ouvrage manqua; le prix des denrées s'accrut. Les meubles furent vendus pièce à pièce, excepté le grabat de l'invalide qui mourut au printems.

Un pauvre médecin traitait gratis le mari et la femme. Il apportait quelquefois une bouteille de vin, mais il n'avait pas d'argent. Anne se rétablit; mais elle devint apathique: le travail manqua tout à fait.

Au commencement de Mars, un soir, Marie sortit tout à coup...

Elle fut arrêtée par la patrouille de nuit. Le caporal la plaça au milieu des soldats et lui dit que le lendemain elle sera fouettée. Marie s'écria qu'elle était coupable d'un enfanticide...

Amenée devant le juge, elle déclara avoir été accouchée par la femme Harlin et que celle-ci avait enterré son enfant dans un bois elle ne sait plus où.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Anne Harlin fut tout de suite arrêtée, et sur sa dénégation confrontée avec Marie; elle nia tout.

On apporta les instruments de torture. Marie s'épouvanta—elle saisit les mains liées de sa prétendue complice et lui dit: «Anne, fais l'aveu qu'on te demande! Ma bonne Anne, tout sera fini pour nous, et Frank et Nany seront mis dans la maison des orphelins».

Anne la comprit, l'embrassa, et dit que l'enfant a fut jeté dans la Pegnitz.

Le procès fut rapidement instruit. Elles furent condamnées à mort.—Le matin du four fixé, elles furent amenées à l'église, où elles se préparèrent à la mort par la prière. Sur la charrette Anne fut ferme, Marie fut agitée. Harlin monta sur l'échafaud et lui dit: «encore un instant, et nous serons là(au ciel)! Courage, une minute, et nous serons devant Dieu!»

Marie s'écria: «elle est innocente, je suis un faux témoin...» elle se jeta aux pieds du bourreau et du prêtre... elle dit tout. L'exécuteur, étonné, s'arrête. Le peuple pousse des cris... Anne Harlin interrogée par le prêtre et le bourreau dit avec répugnance (simplicité): «assurément elle a dit la vérité. Je suis coupable pour avoir menti et manqué de foi en la Providence».

Un rapport est envoyé au magistrat. Le messager revient dans une heure avec l'ordre de procéder à l'exécution.

L'exécuteur s'évanouit après avoir décapité Anne Harlin.—Marie était déjà morte[1].

---

[1] <Мария Шонинг и Анна Гарлин, осужденные в 1787 г. в Нюрнберге.

Мария Шонинг, дочь нюрнбергского рабочего, потеряла отца, когда ей было 17 лет. Она ухаживала за ним одна, так как бедность заставила ее отпустить единственную их служанку, Анну Гарлин.

Возвратившись с похорон отца, она застала у себя двух чиновников податного ведомства, которые велели показать им бумаги покойного, чтобы удостовериться, платил ли он

Пушкинский кабинет ИРЛИ

налоги соразмерно своему имуществу. Они нашли после проверки, что старый Шонинг платил несоответственно своим средствам, и наложили печати. Молодая девушка перебралась в пустую комнату, пока начальник податного ведомства решит это дело.

Податные чиновники возвратились с решением своего начальства и с приказом, чтобы Мария Элеонора Шонинг оставила дом, отбираемый в казну.

Г. Шонинг был беден, но бережлив. Трехлетняя болезнь истощила все, что он скопил. Мария пошла к чиновникам, плакала, но начальство было неумолимо.

Вечером она отправилась на кладбище св. Иакова. Она ушла оттуда утром; затем, умирая от голода, снова вернулась на кладбище.

Нюрнбергская полиция выплачивает полкроны ночным сторожам за арест каждой женщины после 10 часов вечера. Марию отвели в полицейское управление. На другой день ее привели к судье, который отпустил ее, пригрозив отправить в исправительный дом, если она попадется вторично.

Мария хотела броситься в Пегниц... Кто-то ее окликает,— она видит Анну Гарлин, бывшую служанку своего отца, вышедшую замуж за инвалида. Анна утешила ее: «Жизнь коротка,—сказала она ей,—а небо вечно, дитя мое».

Мария нашла приют у Гарлинов и прожила у них год. Она вела там очень убогую жизнь. Под конец она заболела. Наступила зима, работы не было; цена на продукты поднялась. Всю мебель продали вещь за вещью, кроме кровати инвалида, который к весне умер.

Один бедный врач бесплатно лечил мужа и жену. Иногда он приносил им бутылку вина, но денег у него не было. Анна выздоровела, но сделалась ко всему равнодушной; работы не было совсем.

Однажды вечером, в начале марта, Мария вдруг ушла из дому...

Она была захвачена ночным обходом. Капрал велел солдатам окружить ее и сказал ей, что на утро ее высекут. Мария вскричала, что она виновна в детоубийстве.

Когда ее привели к судье, она объявила, что родила, причем повитухой была Анна Гарлин, которая и похоронила ее ребенка в лесу, где—она сама не знает. Анна Гарлин была тотчас же арестована, и, после отпирательства, приведена на очную ставку с Марией; она ни в чем не созналась.

Принесли орудия пытки. Мария испугалась, схватила связанные руки своей мнимой сообщницы и сказала ей: «Анна, сознайся в том, чего от тебя требуют! Милая моя

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Анна, для нас все кончится, а Франк и Нани будут помещены в сиротский дом».

Анна поняла ее, обняла и сказала, что ребенок был брошен в Пегниц.

Дело было решено быстро. Обеих приговорили к смертной казни.—Утром, в назначенный день, их повели в церковь, где они молитвою приготовились к смерти. На повозке Анна была спокойна, Мария волновалась. Гарлин взошла на эшафот и сказала ей: «Еще минута, и мы будем там (на небе) Мужайся, еще одна минута—и мы предстанем пред богом!»

Мария воскликнула: «Она невинна, я лжесвидетельница...» Она бросилась в ноги к палачу и священнику и рассказала все... Палач в изумлении останавливается. В народе слышатся крики... Анна Гарлин, на вопросы священника и палача, говорит с отвращением (простотою): «Разумеется, она сказала правду. Я виновна в том, что солгала и усомнилась в благости провидения».

Судье посылают донесение. Посланный возвращается через час с приказанием исполнить приговор. Палач, отрубив голову Анне Гарлин, лишился чувств. Мария была уже мертва.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПЛАНЫ

I. <КАРТЫ; ПРОДАН...>

... Карты; продан; женат—дядька.
... Солдатство—(делается офицером).

<1820?>

II. <ВЛЮБЛЕННЫЙ БЕС>

Москва в 1811 году.—Старуха, две дочери, одна невинная, другая романическая.—Два приятеля к ним ходят.—Один развратный, другой В<люблен-ный>б<ес>.

В. б<ес>любит меньшую и хочет погубить молодого человека.—Он достает ему деньги, водит его повсюду—[*Бордель*] *Наст<асьи?>*—Вдова г<*ертовка?*>.

Ночь. Извозчик. Молод<ой>челов<ек>ссорится с ним.—Старшая дочь сходит с ума от любви к В. б.

<1826—1828>

III.<РОМАН ИЗ ВЕЛИКОСВЕТСКОГО БЫТА>

L'homme du monde [marie en provice à une aristocrate] fait la cour à une femme à la mode (Nom). Il la séduit et il épouse une autre [по расчету]. Sa femme lui fait des scènes. L'autre avoue tout à son mari—la console—la visite. L'homme du monde malheureux—ambitieux.

L'entrée d'une jeune personne dans le monde.—

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Zèlie aime un egoiste vaniteux; entourée da la froide malveillance du monde; un mari raisonnable. Un amant qui se moque d'elle. Une amie qui s'en éloigne devient lègére, fait un esclandre. Aime un homme qu'elle n'aime pas.—Son mari la réfugie.—Elle est tout à fait malheureuse.—Son amant, son ami.—

---

1) Une scène du grand monde на даче у гр. L. Комната полна, около чая приезд Зелии.—Она отыскала глазами l'homme du monde и с ним проводит целый вечер.

2) Исторический рассказ de la séduction. La liaison. Son amant l'affiche.

3) L'entrée dans le monde d'une jeune provinciale.—Scène de jalousie.—Ressentiments du grand monde.

4) Bruit du mariage.—Zélie avoue[1] tout à son mari.—Un mari raisonable.—Visite de nôce.—Zélie tombe malade—reparaît dans le monde; on lui fait la cour etc[2].

<1828>

---

[1] Между словами «Zèlie» и «avoue» вписано позднее: désespoir de, но остальные части фразы остались невыправленными.

[2] [Светский человек [женившийся в провинции на аристократке] ухаживает за модной дамой (имя). Он ее соблазняет, но женится на другой [по расчету]. Жена делает ему сцены. Та признается во всем мужу—утешает ее—заходит к ней. Светский человек несчастен—самолюбив.

Появление молодой особы в свете.

Зелия любит тщеславного эгоиста; она окружена холодным недоброжелательством света; благоразумный муж. Любовник, который смеется над ней.—Подруга, отдалившаяся от нее, становится легкомысленной, ведет себя скандально. Любит человека, который не любит ее.—Муж оказывает ей приют.—Она совсем несчастна.—Ее любовник, ее друг.

---

1) Сцена из великосветской жизни... светского человека...
2) ...О соблазне. Связь. Любовник афиширует ее.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

IV. <Н. ИЗБИРАЕТ СЕБЕ В НАПЕРСНИКИ...>

Н. избирает себе в наперсники Н<евский> Проспект—он доверяет ему все свои домашние беспокойства, все семейственные огорчения.—Об нем жалеют—Он доволен.

<Нач. 1830-х гг.?>

V. <ПЛАНЫ И НАБРОСКИ ПОВЕСТИ О СТРЕЛЬЦЕ И БОЯРСКОЙ ДОЧЕРИ>

<1>

Стре<лец>, влюбленный в боярскую дочь—Отказ—Приходит к другу-заговорщику—Вступает в заговор.

<2>

Софья во дворце—Нищие, скоморох. Скоморох и ст<арый> раскольник.—Молодой стрелец. Заговор.

— — —

Стрелец влюбляется в Ржевскую; сватается, получает отказ.—Он становится уныл—Товарищ открывает ему заговор. Он объявляет обо всем правительнице; Софья принимает его как заговорщика, объяснение.—Софья сваха, Комедия у боярина.

Бунт стрелецкий, боярин спасен им, обещает выдать за него дочь [1]. [Мать торопится и выдает ее за боярина]. Ржевская замужем.

<3>

1) Стрелец, сын ст<арого> раск<ольника>, видит Ржевскую в окошко, переодетую горничной де-

---

3) Появление в свете молодой провинциалки.—Сцена ревности.—Неодобрение света.

4) Слух о женитьбе.—Зелия во всем признается мужу.—Благоразумный муж.—Свадебный визит.—Зелия заболевает—возвращается в свет, за нею ухаживают и т. д.

[1] Зачеркнуто: Обед у гостя, бедная родственница. Комедия у боярина.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вушкой.—Сватает через мамушку-раскольницу— получает отказ.

Полковник стрелецкий имеет большое влияние на своих; Софья хочет его к себе переманить.—Он рассказывает ей каким образом узнал он о заговоре.

Со<фья>. О чем же ты был печален?—Об отказе
— Я сваха—Но будь же etc.

<1830—1834?>

VI. <КРИСПИН ПРИЕЗЖАЕТ В ГУБЕРНИЮ...>

Криспин приезжает в губернию на ярмонку.— Его принимают за Ambas<sadeur>[1]. Губернатор честной дурак. Губ<ернаторша> с ним кокетнич<ает>.<Криспин сватается за дочь.

<1833—1835>

VII. <LES DEUX DANSEUSES>

Les deux danseuses—Un ballet de Didlot en 1819—Zavadovky.—Un amant au paradis.—Scène aux coulisses—duel—Jstomine est à la mode—elle est entretenue, elle se marie.—Sa soeur est dans la détresse.—Elle épouse le souffleur.—Istomine dans le monde—On ne l'reçoit pas,—Elle reçoit chez elle.—Dégouts.—Elle reçoit sa compagne[2].

<1834—1835>

---

[1] <посланника.>

[2] <Две танцовщицы>. Две танцовщицы—Балет Дидло в 1819 году—Завадовский—Любовник из райка—Сцена за кулисами—дуэль—Истомина становится модной—она делается содержанкой, выходит замуж. Ее сестра в отчаянии—Она выходит замуж за суфлера—Истомина в свете—Ее там не принимают—Она устраивает приемы у себя—Неприятности—К ней заходит подруга по ремеслу.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

VIII. <СЫН КАЗНЕННОГО СТРЕЛЬЦА...>

Сын казненного стрельца воспитан вдовою вместе с ее сыном и дочерью; он идет в службу вместо ее сына. При Пруте ему Петр поручает свое письмо. *Прикащик*[1] вдовы доносит на своего молодого барина, который лишен имения своего, и отдан в солдаты.

Стрел<ецкий сын>посещает его семейство—и у Петра выпрашивает прощение молод<ому>.

<1834—1835>

---

[1] Над словом «прикащик» позднейшая приписка (со знаком вопроса): сосед?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА.

Предисловие

Недавно попалась мне в руки книга, напечатанная в Париже в прошлом 1834 году под названием: Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement François [1]. Автор, по своему описывая поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения следующими словами:

Un poëte distingué par son imagination a trouvé dans tout de hauts faits dont il a été témoin, non le sujet d'un poëme, mais celui d'une satyre [2].

Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и об А. Н. Муравьеве. Оба находились в армии граф Дибича. Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений, второй обдумывал свое путешествие к святым местам, произведшее столь сильное впечатление. Но я не читал никакой сатиры на Арзрумский поход.

Никак бы я не мог подумать, что дело здесь идет

[1] <Путешествия на Восток, предпринятые по поручению французского правительства.>

[2] <Один поэт, одаренный богатым воображением, нашел во всех славных деяниях, которые ему пришлось наблюдать, сюжет не для поэмы, а для сатиры.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

обо мне, если бы в той самой книге не нашел я своего имени между именами генералов отдельного Кавказского корпуса. Parmi les chefs qui la commandoient (l'armée du *Prince* Paskewitch) on distinguoit le Général Mouravief... le Prince Georgien Tsitsevaze... le *Prince Armënein Beboutof*... le *Prince* Potemkine, le Général Raiewsky, et enfin—M. Pouchkine... qui avoit quitté la capitale pour chanter les exploits de ses compatriotes [1].

Признаюсь: эти строки французского путешественника, несмотря на лестные эпитеты, были мне гораздо досаднее, нежели брань русских журналов. *Искать вдохновения* всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтоб воспевать будущие подвиги, было бы для меня с одной стороны слишком самолюбиво, а с другой слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-Лу, движение, коим граф Паскевич отрезал сераскира от Осман-Паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Арзруму, всё это, увенчанное полным успехом, может быть, и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фонтанье, автор путешествия на Восток): но я устыдился бы писать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание. Человек, не имеющий нужды в покровительстве силь-

[1] <Среди начальников, ею командовавших (армией князя Паскевича) выделялись генерал Муравьев... грузинский князь Чичевадзе... армянский князь Бебутов... князь Потемкин, генерал Раевский, и наконец, г. Пушкин... покинувший столицу, чтобы воспеть подвиги своих соотечественников.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ных, дорожит их радушием и гостеприимством, ибо иного от них не может и требовать. Обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика или литературная брань. Вот почему решился я напечатать это предисловие и выдать свои путевые записки, как *всё*, что мною было написано о походе 1829 года.

А. Пушкин.

Глава первая.

Степи. Калмыцкая кибитка. Кавказские воды. Военная Грузинская дорога. Владикавказ. Осетинские похороны. Терек. Дариальское ущелие. Переезд чрез снеговые горы. Первый взгляд на Грузию. Водопроводы. Хозрев-Мирза. Душетский городничий.

...Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом двести верст лишних, зато увидел *** [Ермолова].

[Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

памятники его владычества на Кавказе. Он повидимому нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно. Говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл гр. Эриванского графом Ерихонским. Пускай нападет он, говорил Ермолов, на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу, начальствовавшего в Шумле— и Паскевич пропал. Я передал Ермолову слова гр. Толстова, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. Можно было бы сберечь людей и издержки, сказал он. Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу. О записках кн. Курбского говорил он con amore[1]. Немцам досталось. Лет через 50, сказал он, подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами.—Я пробыл у него часа 2. Ему было досадно, что не помнил моего полного имени. Он извинился комплиментами. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова.]

Мне предстоял путь через Курск и Харьков: но я своротил на прямую Тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в Курском трактире (что не безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить*** [харьковский университет, который не стоит курской ресторации]. До Ельца дороги ужасны. Несколько

[1] <с увлечением.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В Новочеркасске нашел я графа П[ушкина], ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе.

Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет бо́льшую силу растительности; показываются птицы неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественника. Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся их уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.

На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. Как тебя зовут?—***.—Сколько тебе лет?—Десять и восемь.—Что ты шьешь?—Портка.—Кому? —Себя.—Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараниим жиром и солью. Она предложила мне и свой ковшик. Я не хотел отказаться, и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня: я поскорее выбрался из кибитки—и поехал от степной Цирцеи.

В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры тому ровно девять лет. Они

Пушкинский кабинет ИРЛИ

были всё те же, всё на том же месте. Это снежные вершины Кавказской цепи.

Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел большую перемену: в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красные следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость...

Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего, дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь бывало сиживал со мною А. Р<аевский>, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...

На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший некогда наместническим городом.

С Екатериноградa начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

это называется *оказией*. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро в 9 часов мы были готовы отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состоявший из 500 человек или около. Пробили в барабан. Мы тронулись. Вперед поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую; за нами заскрыпел обоз двуколесных ароб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали нагайские проводники в бурках и с арканами. Всё это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только 15 верст), несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец беспрерывный скрып нагайских ароб выводили меня из терпения. Татаре тщеславятся этим скрыпом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почтенном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина; по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы встарину не разбегаясь, с заржавевшими пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока.

Первое замечательное место есть крепость *Минарет*. Приближаясь к ней, наш караван ехал по прелестной долине, между курганами, обросшими липой и чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы, порожденные зараженным

Пушкинский кабинет ИРЛИ

пеплом. Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость: кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося *Гатартубом* и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий, одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивыми путешественниками.

Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может, русского, некогда взятого в плен и состаревшегося в неволе. Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два, три надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская надпись, изображение шашки, танга, иссеченные на камне, оставлены хищным внукам в память хищного предка.

Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба *мирных* черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. За то никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения

Пушкинский кабинет ИРЛИ

крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде нежели лепетать. У них убийство—простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые, за одно слово, вправе их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Должно однако ж надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов *Корана*, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец, схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты.

Мы достигли Владикавказа, прежнего Кап-кая, преддверия гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с горьким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

...Like a warrior taking his rest
With his martial cloak around him [1];

положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов.

Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот крепости встретил я двух, жену и дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы; однако ж, при моем приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными *чадрами*. В крепости видел я черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. [Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие, и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе.]

Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели Терек, разливающийся по разным направлениям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колеса низеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны через утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается

[1] <Он лежал, завернувшийся в свой боевой плащ, как отдыхающий воин;>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин. Граф П<ушкин> и Ш<ернваль>, смотря на Терек, воспоминали Иматру и отдавали преимущество *реке на Севере гремящей*. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища.

Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича мне издали: *не останавливайтесь, В<аше> Б<лагородие>, убьют*! Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода, они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы. На скале видны развалины какого-то замка: они облеплены саклями мирных осетинцев, как будто гнездами ласточек.

В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы путешественника француза, который напугал нас предстоящею дорогой. Он советовал нам бросить экипажи в Коби и ехать верхом. С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего *бурдюка*, воспоминая пирования Илиады:

<И в козиих мехах вино, отраду нашу!>

Здесь нашел я измаранный список *Кавказского Пленника* и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Всё это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно.

На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разработывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это

Пушкинский кабинет ИРЛИ

напоминало мне слова моего приятеля Ш., по возвращении его из Парижа. «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!»

В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но кажется чувствуешь тесноту. Клочок неба, как лента, синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембранда. К тому-же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит как колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелие замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен; etc. Смотрите путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы.

Из Дариала отправились мы к Казбеку. Мы увидели *Троицкие ворота* (арка, образованная в скале взрывом пороха)—под ними шла некогда дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое русло.

Недалеко от *селения* Казбек переехали мы через *Бешеную Балку*, овраг, во время сильных дождей

Пушкинский кабинет ИРЛИ

превращающийся в яростный поток. В это время он был совершенно сух, и громок одним своим именем.

Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек, и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями.

Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, *подпирающую небосклон*.

Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта, и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с помощию переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! «Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и проч.» Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской

Пушкинский кабинет ИРЛИ

насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей *папахе*[1] и по крашеным ногтям.

Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами? На всякий случай, я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу к Г. Ч*** <Чиляеву>, начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать в ожидании подвод.

На другой день около 12-ти часов услышали мы шум, крики, и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую, венскую коляску приятеля моего О**. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно в Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса. Граф П<ушкин> не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет. Мы расстались и я поехал с полковником Ог<аревым>, осматривающим здешние дороги.

Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как через два часа. То-то был он ужасен!

Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши

[1] Так называются персидские шапки

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах.

В это время услышал я глухой рокот. «Это обвал», сказал мне г. Ог<арев>. Я оглянулся и увидел в стороне груду снега, которая осыпалась и медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь нередки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе. Обвал оборвался; страшная глыба свалилась на его повозку; поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу и покатилась в пропасть со своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым.

Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул: он так был слаб, что велел завязать себе глаза; его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда он стал на колени, благодарил бога и проч., что очень изумило проводников.

Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты Гутгоры открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента,—и всё это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога.

Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме Г. Ч<иляева>. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее.

Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов я увидел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопро-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

воды доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх.

В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей. Тут я встретил русского офицера, провожающего персидского принца. Вскоре услышал я звук колокольчиков, и целый ряд катаров (мулов), привязанных один к другому, и навьюченных по азиатски, потянулся по дороге. Я пошел пешком, не дождавшись лошадей; в полуверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Несколько часов после нашей встречи, на принца напали горцы. Услыша свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости. Дело в том, что молодой азиатец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее западню, нежели убежище.

Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета оставалось не более как десять верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять верст стоили добрых двадцати.—

Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь всё выше и выше. С дороги сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я слышал вой и лай собак и радовался, воображая, что город не далеко. Но ошибался: лаяли собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне обыкновенные. Я проклинал свое нетерпение, но делать было нечего. Наконец увидел я огни и около полуночи очутился я у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался прове-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

сти меня к городничему и требовал за то с меня *абаз*.

Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело большое действие. Я требовал во-первых комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых стакан вина, в-третьих абаза для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и посматривал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения de la liberté grande[1]. К счастию, нашел я в кармане подорожную, доказывавшую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас своей действие: комната была мне отведена, стакан вина принесен и абаз выдан моему проводнику, с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном: не тут-то было! блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. По утру явился ко мне мой человек и объявил, что граф П<ушкин> благополучно переправился на волах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться! Граф П<ушкин> и Ш<ернваль> посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душет с приятной мыслию, что ночую в Тифлисе.

Дорога была так же приятна и живописна, хотя редко видели мы следы народонаселения. В нескольких верстах от Гарцискала мы переправились через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов, и крупной рысью, а иногда и вскачь, поехали к Тифлису, в котором неприметным образом и очутились часу в одиннадцатом вечера.

---

[1] <за такую большую вольность.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Глава вторая

Тифлис. Народные бани. Безносый Гассан. Нравы грузинские. Песни. Кахетинское вино. Причина жаров. Дороговизна. Описание города. Отъезд из Тифлиса. Грузинская ночь. Вид Армении. Двойной переход. Армянская деревня Гергеры. Грибоедов. Безобдал. Минеральный ключ. Буря в горах. Ночлег в Гумрах. Арарат. Граница. Турецкое гостеприимство. Карс. Армянская семья. Выезд из Карса. Лагерь графа Паскевича.

Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные тифлисские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишенев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах. При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату, и что же увидел? Более пятидесяти женщин молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. Пойдем, пойдем, сказал мне хозяин, сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда. Конечно не беда, отвечал я ему, напротив. Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею *чадрою;* ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали воображение Т. Мура:

a lovely Georgian maid,
With all the bloom, the freshened glow

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Of her own country maiden's looks,
When warm they rise from Teflis brooks.

Lalla Rookh.[1]

За то не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.

Персиянин ввел меня в бани: горячий железосерный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань. Опишу их подробно.

Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего начал он ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине в присядку, *e sempre bene*[2]). После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей, и сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас, как воздух! NB: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение.

После пузыря Гассан отпустил меня в ванну, тем и кончилась церемония.

В Тифлисе я надеялся найти Р<аевского>, но

[1] <Прелестная грузинская дева с красками и прохладным жаром на ланитах, какой бывает у дев ее страны, когда они выходят, разгоряченные, из Тифлисских источников. *Лалла-Рук.*>

[2] <и преотлично.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

узнав, что полк его уже выступил в поход, я решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию.

В Тифлисе пробыл я около двух недель и познакомился с тамошним обществом. С<анковский>, издатель Тифлисских Ведомостей, рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о к<нязе> Цицианове, об А. П. Ермолове и проч. С<анковский> любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность.

Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 г., что не помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20 000 жителей увести в плен (1795 г.). Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802. Грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчики поют, прыгают и кувыркаются; женщины пляшут лезгинку.

Голос песен грузинских приятен; мне перевели одну из них слово и слово; она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она:

Душа, недавно рожденная в раю! Душа, созданная для моего счастия! От тебя, бессмертная, ожидаю жизни.

От тебя, весна цветущая, от тебя, луна двунедельная, от тебя, ангел мой хранитель, от тебя ожидаю жизни.

Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать миром; хочу твоего взора. От тебя ожидаю жизни.

Горная роза, освеженная росою! Избранная лю-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

бимица природы! Тихое, потаенное сокровище! от тебя ожидаю жизни.

Грузины пьют не по нашему и удивительно крепки. Вина их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских. Вино держат в *маранах*, огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун, тайно отрыв таковой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс в бочке малаги.

Тифлис находится на берегах Куры, в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе, несмотря на то, что город находится только еще под 41 градусом широты. Самое его название (Тбилискалар) значит Жаркий Город.

Большая часть города выстроена по азиатски: дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образовываться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов; лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в рассуждение всеобщую дороговизну. Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Граф С<амойлов> и В., прослывшие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая на двое барана или отсекая голову быку.

В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне: в 1825 году было их здесь до 2500 семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до 1500. Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинуясь долгу, живут в Грузии, потому что

Пушкинский кабинет ИРЛИ

так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином ассесорским, толико вожделенным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание.

Климат тифлисский, сказывают, нездоров. Здешние горячки ужасны; их лечат меркурием, коего употребление безвредно по причине жаров. Лекаря кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал С<ипягин>, говорят, умер оттого, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал оного больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские и лечатся одинаково.

Жители пьют Курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодзах вода сильно отзывается серой. Впрочем, вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы не заметен.

В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через полчаса, я должен был заплатить два рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего; но мне сказали, что цена точно такова. Все прочее дорого в соразмерности.

Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкусу очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моем трактире кормили меня также дорого и дурно. Генерал С<трекалов>, известный гастроном, позвал однажды меня отобедать; по несчастию, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал изо стола голодный. Чорт побери Тифлисского гастронома!

Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил я записку от Р<аевского>. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через

Пушкинский кабинет ИРЛИ

несколько дней войско должно было итти далее. Я выехал на другой же день.

Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но подъезжая к ним видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце село, но воздух все еще был душен:

Ночи знойные!
Звезды чуждые!..

Луна сияла; всё было тихо; топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды, сперва по русски, а потом по татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! В тридцати верстах от Тифлиса, и на дороге в Персию и Турцию, он не знал ни слова ни по русски, ни по татарски.

Переночевав на казачьем посту, на рассвете отправился я далее. Дорога шла горами и лесом. Я встретил путешествующих татар; между ними было несколько женщин. Они сидели верьхами, окутанные в чадры; видны были у них только глаза да каблуки.

Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелие, называемое, кажется, Волчьими Воротами, и очутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстилались злачные, зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был уже другой.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более шести часов и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле, я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали арбу. Откуда вы, спросил я их.—Из Тегерана.—Что вы везете?—*Грибоеда.*— Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: *Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez, qu'il faudra jouer des coutaux*[1]. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею.

---

[1] <Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества,—всё в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием равным его дарованиями долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую несносную улыбку,—когда случалось им говорить о нем, как о человеке необыкновенном. Люди верят только Славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в Московском Телеграфе. Впрочем, уважение наше к Славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда с своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия: *Горе от Ума* произвела неописанное действие и вдруг поставила его на ряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего

Пушкинский кабинет ИРЛИ

завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...

В Гергерах встретил я Б<утурлина>, который, как и я, ехал в армию. Б<утурлин> путешествовал со всевозможными прихотями. Я отобедал у него как бы в Петербурге. Мы положили путешествовать вместе; но демон нетерпения опять мною овладел. Человек мой просил у меня позволения отдохнуть. Я отправился один даже без проводника. Дорога всё была одна и совершенно безопасна.

Переехав невысокую гору и спустясь в долину, осененную деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперек дороги. Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани. Что нового в Эривани?—спросил я его.—В Эривани чума, отвечал он; а что слыхать об Ахалцыке?—В Ахалцыке чума,—отвечал я ему. Обменявшись сими приятными известиями, мы расстались.

Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородие вошло на востоке в пословицу. К вечеру прибыл я в Пернике. Здесь был казачий пост. Урядник предсказывал мне бурю и советовал остаться ночевать, но я хотел непременно в тот же день достигнуть Гумров.

Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пашалыка. Небо покрыто было тучами; я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать и шел всё крупнее и чаще. От Пернике

Пушкинский кабинет ИРЛИ

до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя провидению.

Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, напитанного дождем. Наконец, холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь промочил меня до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы. Между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец, я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый.

Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслию было: не лежу ли в лихорадке. Но почувствовал, что слава богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. Что за гора? спросил я потягиваясь и услышал в ответ: это Арарат. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни—и врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения...

Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасно. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были перепра-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

виться. Вот и Арпачай, сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё еще находился в России.

До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги, в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый *чюрек*, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дариальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он во всю дорогу болтал по турецки, не заботясь о том, понимал ли я его или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось он побранивал русских и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью принимал меня за иноземца. Навстречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря и объявил мне, что армия выступила уже из под Карса. Не могу описать моего отчаяния; мысль, что мне должно будет возвратиться в Тифлис, измучась понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону; турок начал опять свой монолог; но уже мне было не до него. Я переменил иноходь на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в 20 верстах от Карса.

Соскочив с лошади, я хотел войти в первую сак-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

лю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на его приветствие нагайкою. Турок раскричался; народ собрался. Проводник мой кажется за меня заступился. Мне указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: *вербана ат* (дай мне лошадь). Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги (с чего надлежало бы мне начать). Лошадь тотчас была приведена и мне дали проводника.

Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре увидел я Карс, белеющийся на одной из них. Турок мой указывал мне на него, повторяя: *Карс, Карс!* и пускал вскачь свою лошадь; я следовал за ним, мучась беспокойством: участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли еще мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами и дождь пошел опять; но я об нем уже не заботился.

Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зорю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около полу-часа. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани. Мы поехали по кривым и крутым улицам; лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома, довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливмя лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и переговоря с моим турком позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими

Пушкинский кабинет ИРЛИ

диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцаловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нем по нескольку месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне, и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верьхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича.

Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепления и цитадель, выстроенный на неприступной скале, я не понимал каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мною в армию. Он с охотою согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах, и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу: это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце, с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и о сражениях.

Я ехал по земле, везде засеянной хлебом; кругом

Пушкинский кабинет ИРЛИ

видны были деревни, но они были пусты: жители разбежались. Дорога была прекрасна, и в топких местах вымощена—через ручьи выстроены были каменные мосты. Земля приметно возвышалась—передовые холмы хребта Саган-лу, древнего Тавра, начинали появляться. Прошло около двух часов; я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-чая; через несколько минут я был уже в палатке Р<аевского>.

Глава третия

Переход через Саган-лу. Перестрелка. Лагерная жизнь. Язиды. Сражение с сераскиром Арзрумским. Взорванная сакля.

Я приехал во время. В тот же день (13 июня) войско получило повеление итти вперед. Обедая у Р<аевского>, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении им предписанном. Генерал Бурцов отряжен был влево по большой Арзрумской дороге прямо противу турецкого лагеря, между тем как всё прочее войско должно было итти правою стороною в обход неприятелю.

В пятом часу—войско выступило. Я ехал с Нижегородским Драгунским полком, разговаривая с Р<аевским>, с которым уже несколько лет не видался. Настала ночь; мы остановились в долине, где всё войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу.

Я нашел графа дома перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый военному искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего В<альховского>, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною как старый товарищ. Здесь увидел я и М<ихаила>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

П<ущина>, раненого в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! как быстро уходит время!

Heu! fugaces, Posthume, Posthume,
Labuntur anni... [1]

Я воротился к Р<аевскому> и ночевал в его палатке. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было подумать, что неприятель сделал нечаянное нападение. Р<аевский> послал узнать причину тревоги: несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по лагерю и мусульмане (так зовутся татаре, служащие в нашем войске) их ловили.

На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали в ущелие. Драгуны говорили между собою: Смотри, брат, держись: как раз картечью хватит. В самом деле, местоположение благоприятствовало засадам; но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцова, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелие и стали на высотах Саган-лу, в 10 верстах от неприятельского лагеря.

Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

Usque nec Armeniis in oris,
Amice Valgi, stat glacies iners
Menses per omnes... [2]

Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Р<аевский> по-

[1] <Увы, о Постум, Постум, мчатся быстротечные годы.>
[2] <И берега Армении, мой друг Вальгий, не круглый год закованы в неподвижный лед.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

слал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с С<емичевым> посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь, на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. Много ли турков—спросил С<емичев>. Свиньем валит, ваше благородие,—отвечал один из них. Проехав ущелие, вдруг увидели мы на склонении противуположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, и над ними около 500 турков. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большею дерзостию, прицеливались шагах в 20 и выстрелив скакали назад. Их высокие чалмы, красивые долиманы и блестящая сбруя коней составляли резкую противоположность с синими мундирами и простою сбруей казаков. Человек 15 наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались. Но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатлевают на своих знаменах. Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялися над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров: граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которою скрылись турки. Они были подкреплены 4000 конницы, скрытой в лощине и в оврагах. С высоты горы открылся нам турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем я видел наших раненых, из коих человек 5 умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остен-Сакена, раненого в тот же день в другом сражении.

Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка по-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

дымала нас на заре. Сон в палатках удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков; и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, и жители земель недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слывущих на Востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина, в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая басня; что они веруют в единого бога, что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются, и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее.

Человек мой явился в лагерь три дня после меня. Он приехал вместе с вагенбургом, который в виду неприятеля благополучно соединился с армией. NB: во всё время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен.

17 июня утром услышали вновь мы перестрелку и через два часа увидели карабахский полк возвращающимся с осмью турецкими знаменами; полковник Фридерикс имел дело с неприятелем, засевшим за ка-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

менными завалами, вытеснил его и прогнал; Осман-Паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись.

18-го июня лагерь передвинулся на другое место. 19-го, едва пушка разбудила нас, всё в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам. Полки строились; офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю божию. Я встретил генерала Бурцова, который звал меня на левый фланг. Что такое левый фланг? подумал я, и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставлявшего пушки. Вскоре показались дели-баши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал П<ущина> осмотреть овраг. П<ущин> поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татаре наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании; они были выручены полковником Симоничем.

Сражение утихло: турки у нас в глазах начали копать землю и таскать каменья, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать чем бог послал. В это время

Пушкинский кабинет ИРЛИ

к графу привели нескольких пленников. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около 6-го часу войска опять получили приказ итти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами, и вскоре начали отступать. Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда *** <сводный> уланский полк переехал бы через меня. Однако бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повода, от них не отставала; я насилу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшими поперек дороги. Ему, казалось, было лет 18; бледное девическое лицо не было обезображено. Чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом; вскоре нагнал меня Р<аевский>. Он написал карандашем на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали; настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследования и сам им управлял. Меня обгоняли конные наши отряды. Я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравшей в тот день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Мы нашли графа на кровле подземной сакли, перед огнем. К нему приводили пленных. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора-Розы, речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всею своею свитою. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось, как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами тому четверть часа, взорвана была на воздух: в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили несколько казаков.

Вот все, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в сем сражении разбит сераскир арзрумский, шедший на присоединение к Гаки-Паше с 30 000 войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Саган-лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-Паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться.

Глава четвертая

Сражение с Гаки-Пашею. Смерть татарского бека. Гермафродит. Пленный паша. Аракс. Мост пастуха. Гассан Кале. Горячий источник. Поход к Арзруму. Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие пленники. Дервиш.

На другой день в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. Etes vous fatigué de la journée d'hier?—Mais un peu, Mr. le Comte.—J'en suis fâché pour vous, car nous allons faire encore une marche

Пушкинский кабинет ИРЛИ

pour joindre le Pacha, et puis il faudra poursuivre l'ennemi encore une trentaine de verstes[1].

Мы тронулись—и к осьми часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гаки-Паши виден был как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опутал поводья около руки и сладко заснул в ожидании приказа итти вперед. Через четверть часа меня разбудили. Всё было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь; с другой—конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала. Я отстал. Мимо меня пронесся уланский полк. Потом В<ольховский> проскакал с тремя пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался на встречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала М<уравьева> с пехотным полком. Он отрядил одну роту в лес, дабы его очистить. Подъезжая к лощине, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненый смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лощине собрано было человек 500 пленных. Несколько раненых турков подзывали меня знаками, вероятно принимая меня за лекаря, и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленною тряпкою. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть, может быть, из человеко-

[1] <Вы не устали после вчерашнего дня?—Немножко, г. граф.—Весьма огорчен за вас, потому что нам предстоит еще один переход, чтобы нагнать пашу, а после этого придется еще верст тридцать преследовать неприятеля.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

любия. Но это слишком меня возмутило; я заступился за бедного турку и насилу привел его изнеможенного и истекающего кровию к кучке его товарищей. При них был полковник А<нреп>. Он курил дружелюбно из их трубок, не смотря на то, что были слухи о чуме будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели, спокойно разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. Верстах в 15 нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и наконец мог я выспаться в волю, проскакав в эти два дня более восьмидесяти верст.

На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находился гермафродит. Р<аевский>, по просьбе моей, велел его привести. Я увидел высокого, довольно толстого мужика, с лицом старой курносой чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. Erat vir, mammosus, ut femina, habebat t<esticulos> non evolutos, p<enem>que parvum et puerilem. Quaerebamus, sit ne exsectus?— Deus, respondit, castravit me. Сия болезнь, известная Ипократу, по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и у турков. *Хосс* есть турецкое название сим мнимым гермафродитам.

Войско наше стояло в турецком лагере, взятом накануне. Палатка графа Паскевича стояла близ зеленого шатра Гаки-Паши, взятого в плен нашими казаками. Я пошел к нему и нашел его окруженного нашими офицерами. Он сидел, поджав под себя ноги и куря трубку. Он казался лет сорока. Важность и глубокое спокойствие изображались на прекрасном лице его. Отдавшись в плен, он просил, чтоб ему дали чашку кофию и чтоб его избавили от вопросов.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Мы стояли в долине. Снежные и лесистые горы Саган-лу были уже за нами. Мы пошли вперед, не встречая уже нигде неприятеля. Селения были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидели Аракс, быстро текущий в каменистых берегах своих. В 15 верстах от Гассан-Кале находится мост, прекрасно и смело выстроенный на семи неравных сводах. Предание приписывает его построение разбогатевшему пастуху, умершему пустынником на высоте холма, где доныне показывают его могилу, осененную двумя пустынными соснами. Соседние поселяне стекаются к ней на поклонение. Мост называется *Чабан-Кэпри* (мост пастуха). Дорога в Тебриз лежит через него.

В нескольких шагах от моста посетил я темные развалины караван-сарая. Я не нашел в нем никого, кроме больного осла, вероятно, брошенного здесь бегущими поселянами.

24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в 15 верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть; но вышло иначе.

Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые три дня тому назад отогнали их скот. Полковник А<нреп>, хорошо не разобрав чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находился в горах, и с одним эскадроном уланского полка поскакал в сторону, дав знать Р<аевскому>, что 3000 турков находятся в горах. Р<аевский> отправился в след за ним, дабы подкрепить его в случае опасности. Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку и с великою досадою поскакал на освобождение армян. Проехав верст 20, въехали мы в деревню, и увидели несколько отставших уланов, которые спешась, с обнаженными саблями преследовали несколько кур. Здесь один из поселян растол-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ковал Р<аевскому>, что дело шло о 3000 волах, три дня назад отогнанных турками и которых весьма легко будет догнать дни через два. Р<аевский> приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику А<нрепу> повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбравшись из гор, прибыли под Гассан-Кале. Но таким образом дали мы 40 верст крюку, дабы спасти жизнь нескольким армянским курицам, что вовсе не казалось мне забавным.

Гассан-Кале почитается ключем Арзрума. Город выстроен у подошвы скалы, увенчанной крепостью. В нем находилось до ста армянских семейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, расстилающейся перед крепостию. Тут посетил я круглое, каменное строение, в коем находится горячий железо-серный источник.

Круглый басейн имеет сажени три в диаметре. Я переплыл его два раза и вдруг почувствовал головокружение и тошноту и едва имел силу вытти на каменный край источника. Эти воды славятся на Востоке, но не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум и вероятно без большого успеха.

Под стенами Гассан-Кале течет речка Мургу<л>, берега ее покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают в реку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский Нарзан, и отзываются медью.

25 июня, в день имянин государя императора, в лагере нашем под стенами крепости полки отслушали молебен. За обедом у графа Паскевича, когда пили здоровье государя, граф объявил поход к Арзруму. В пять часов вечера войско уже выступило.

26 июня мы стали в горах в пяти верстах от Арзрума. Горы эти называются *Ак-Даг* (белые горы); они меловые. Белая язвительная пыль ела нам глаза;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас.

Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз погрозил им нагайкою, не переставая рассуждать с генералом М<уравьевым>. На их выстрелы не отвечали.

Между тем, в Арзруме происходило большое смятение. Сераскир, прибежавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. Вслед за ним, отпущенные пленники доставили жителям воззвание графа Паскевича. Беглецы уличили сераскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько Франков были убиты озлобленной чернию.

В лагерь наш (26-го утром) явились депутаты от народа и сераскира. День прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум, и с ними генерал князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи.

На другой день утром войско наше двинулось вперед. С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ-Дага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали и Топ-Даг был занят. Я приехал туда с поэтом Ю<зефовичем>. На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верьхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было волнение. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Топ-Дагу. Несколько их пронеслись над головою графа Паскевича; Voyez les turcs,—сказал он мне,—on ne peut jamais se fier à eux[1]. В сию минуту прискакал на Топ-Даг князь Бекович, со вчерашнего дня находившийся в Арзруме на переговорах. Он объявил, что сераскир и народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов, под предводительством Топчи-Паши, овладели городскими батареями и бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил; наконец дал повеление, сказав: Полно им дурачиться.—Тотчас подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская пальба мало-по-малу утихла. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня, в годовщину Полтавского сражения, в 6 часов вечера русское знамя развилось над арзрумской цитаделию.

Р<аевский> поехал в город—я отправился с ним; мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: Християн! Християн!.. Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия; с крайним изумлением встретил я тут моего Артемия, уже разъезжающего по городу, не смотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения.

Улицы города тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество—лавки были заперты. Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь: сераскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужас-

[1] <Вот они, турки. Никогда нельзя на них полагаться.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ный хлопотун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. П<ущин> дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит на ровне с властелинами земли и ему поклоняются.

Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на сераскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика лет четырнадцати, в богатой арнаутской одежде. Сераскир, седой старик, наружности самой обыкновенной, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали.

Глава пятая

Арзрум. Азиатская роскошь. Климат. Кладбища. Сатирические стихи. Сераскирский дворец. Харем турецкого паши. Чума. Смерть Бурцова. Выезд из Арзрума. Обратный путь. Русский журнал.

Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году, во время Феодосия Второго и назван Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем. Я знал о нем только то, что здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы, поднесены были персидскому послу, в удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши вместо человечьих.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до 100000 жителей, но кажется число сие слишком увеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты.

Главная сухопутная торговля между Европою и востоком производится чрез Арзрум. Но товаров в нем продается мало, их здесь не выкладывают, что заметил и Турнфор, пишущий, что в Арзруме больной может умереть за невозможностию достать ложку ревеня, между тем как целые мешки оного находятся в городе.

Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка вероятно родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первой раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство, etc, но роскошь есть конечно принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии.

Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отвсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся. Лес доставляется из Саган-лу.

В арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия, шлемов, лат, сабель, ржавеющих вероятно еще со времен Годфреда.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Мечети низки и темны. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются бо́льшей затейливостию, но в них нет ничего изящного: никакого вкусу, никакой мысли... Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов, в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены.

Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный, восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу.

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованной пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут—и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.
Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего востока
Лукавый запад омрачил.
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.
В нем веры чистый жар потух.
В нем жены по кладбищам ходят.
На перекрестки шлют старух.
А те мущин в харемы вводят
И спит подкупленный евнух.
Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум;
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят:
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят.
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны
И смирно жены там сидят.

Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным; сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты.—Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого Франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным С<ухоруковым>; сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с такою ревностию и удачей. Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены.

Дворец сераскира представлял картину вечно оживленную: там где угрюмый паша молчаливо курил посреди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах. Мушский паша приезжал к графу Паскевичу просить у него места своего племянника. Ходя по дворцу, важный турок остановился в одной из комнат, с живостию проговорил несколько слов, и впал потом в задумчивость: в этой самой комнате обезглавен был его отец по повелению сераскира. Вот впечатления настоящие восточные! Славный

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Бей-Булат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей-Булат, мужчина лет 35, малорослый и широкоплечий. Он по русски не говорит, или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду.

Осман-Паша, взятый в плен под Арзрумом и отправленный в Тифлис вместе с сераскиром, просил графа Паскевича за безопасность харема, им оставляемого в Арзруме. В первые дни об нем было забыли. Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого 10 000 войска, и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа-Паши и приказал г. А<брамовичу>съездить в дом паши и спросить у его жен, довольны ли они и не было ли им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать г. А<брамовича>. Мы отправились. Г. А<брамович> взял с собою в переводчики русского офицера, коего история любопытна. 18-ти лет попался он в плен к персиянам. Его скопили и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он рассказывал о своем несчастии, о пребывании в Персии с трогательным простодушием, физиологическом отношении показания его были драгоценны.

Мы пришли в дом Османа-Паши; нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом,—на цветных окнах начертаны были надписи,—взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловата для мусульманского гарема: *тебе подобает связывать и развязывать*. Нам поднесли кофию в чашечках, оправленных в серебре. Старик с белой почтенной бородою, отец Османа-Паши, пришел от имени жен благодарить графа Паскевича, но А<бра-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

мович > сказал наотрез, что он послан к женам Османа-Паши, и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны. Едва персидский пленник успел все это перевести, как старик в знак негодования защелкал языком и объявил, что никак не может согласиться на наше требование, и что если паша, по своем возвращении, проведает, что чужие мужчины видели его жен, то и ему старику и всем служителям харема велит отрубить голову.—Прислужники, между коими не было ни одного евнуха, подтвердили слова старика, но г. А<брамович > был неколебим. Вы боитесь своего паши, сказал он им, а я—своего сераскира и не смею ослушаться его приказаний.—Делать было нечего. Нас повели через сад, где били два тощие фонтана. Мы приближились к маленькому каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки, и мы увидели женщину, с головы до желтых туфель покрытую белой чадрою. Наш переводчик повторил ей вопрос: мы услышали шамкание семидесятилетней старухи; г. А<брамович > прервал ее: Это мать паши, сказал он, а я прислан к женам, приведите одну из них; все изумились догадке гяуров, старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она,—из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание—к бедным вдовам, и хвалила обхождение русских. Г. А<брамович> имел искусство вступить с нею в дальнейший разговор. Я между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко, и в этом круглом окошке 5 или 6 круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии г. А<брамовичу>, но головки закивали, замигали, несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. Я повиновался и не поделился моею находкою.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Все они были приятны лицом, но не было ни одной красавицы; та которая разговаривала у дверей с г. А<брамовичем>, была, вероятно, розою-повелительницею харема, сокровищницею сердец—Розою любви—по крайней мере, я так воображал.

Наконец г. А<брамович> прекратил свои расспросы. Дверь затворилась. Лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад, дом, и возвратились, очень довольные своим посольством.

Таким образом видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа.

Война казалась кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошел я в народную баню и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту простынь, дурную прислугу и проч. Как можно сравнить бани арзрумские с тифлисскими!— —

Возвращаясь во дворец узнал я от К<оновницына>, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого, и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство, однако ж, превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался как пьяный. Другой больной лежал без памяти.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Осмотрев чумного, и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была ничто иное как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия, и поскорее возвратился в город.

19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но это происшествие могло быть гибельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась! Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзрум.

Я ехал обратно в Тифлис, по дороге, уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15000 войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-лу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я Безобдал и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских. Я отправился далее. Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близ Коби ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось плавал в воздухе, несомый облаками. Бешеная Балка также явилась мне во всем своем величии: овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны; огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток. Множество осетинцев разработывали дорогу. Я переправился благополучно. Наконец я выехал из тесного ущелия на раздолие широких равнин Большой Кабарды. Во Владикавказе нашел я Д<орохова> и П<ущина>. Оба ехали на воды, лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У П<ущина> на столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. П<ущин> остановил меня, требуя чтоб я читал с бо́льшим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, Здравомыслом этой маленькой комедии. Требование П<ущина> показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца.

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве.

<1836>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

<Эпиграфы, заготовленные для первых глав>

<1>

Я тебе жену добуду
Иль я мельником не буду.

Аблесимов, в опере Мельник.

<2>

Уж стол покрыт, уж он рядами
Несчетных блюд отягощен.

<Баратынский.>

<3>

Железной волею Петра
Преображенная Россия.

<Языков.>

<4>

Как облака на небе
Так мысли в нас меняют легкий образ.
Что любим днесь, то завтра ненавидим.

<Кюхельбекер.>

<5>

Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен...
Желанием честей размучен,
Зовет, я слышу, славы шум!

Державин.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА

<Наброски плана>

Уважение мое к званию писателя, поэтов в особенности.
Встреча с Булгариным и Милоновым.
Любовь.
Попытки мои в разных родах.
В повестях.
В истории: всеобщей, России, губернского города. Уездный город имеет истории.
Приезд мой в деревню.
Родословная моя, мысль писать историю.
Календари. Изустные предания. Летопись попа. Ревижские сказки с описанием мужиков.
Географическое описание деревни.
Баснословные времена.
Правление старосты.
Приказчик.
Приезд моего прадеда тирана.
Дед мой управляет. Пожар.
Соседи. Повальная болезнь. Церковная история.
Отец мой. Стар. приказчик. Бунт.

Была богатая вольная деревня.
Обеднела от тиранства.
Поправилась от строгости.
Пришла в упадок от нерадения.

<ДУБРОВСКИЙ[1]>

<Вариант к XVII главе. Сцена порки>

— Ага;—заметил Кирила Петрович,—слуги в барина, каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах.

---

[1] <Автограф представляет собою черновик первых двух томов повести, писанный, за исключением нескольких листов, карандашом, с большим количеством поправок, перестановок, вставок. Некоторые места представлены лишь в зачеркнутых Пушкиным вариантах и не согласованы с остальным текстом (напр. стр. 398, фразы о Дашковой). В тексте имеются даты написания отдельных глав; в собственных именах наблюдаются колебания на протяжении всего романа (Дубровский—Зубровский; Деформ—Русла;

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Всяко случается,—отвечал мальчик насмешливо.

— И, конечно, случается, что вашу братию секут розгами в задаток кнута — слыхал ли ты это.

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо,—сказал Саша.

— Молчи, Александр,—отвечал Кирила Петрович,— не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты—косой—ты мне кажешься малый не промах— если ты мне скажешь, кто тебя подослал за кольцом, так я тебя не высеку, а дам еще пятак на орехи—не то, велю Степану отодрать тебя на обе корки—понимаешь.

— Очень понимаю.

— Отвечай же, где твой барин, зачем он тебя подослал.

Мальчик не отвечал ничего—

— Добро, гей, люди, спустите-ка с него портки, разложите его—розог.

Розги явились—мальчишку схватили, раздели и растянули на полу сарая. Мальчик молчал.

— Хочешь ли говорить,—спросил Кирила Петрович—

Мальчик не отвечал ни слова—

— Не хочешь? —секите ж его.—Розги хлестнули.—Мальчик молчал с терпением, достойным маленького спартанца.

— Полно,—сказал Кирила Петрович,—теперь отдай кольцо—и ступай себе к барину.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Добро—сказал Кирила Петрович—отвести его на голубятню — и запереть.

Степан отвел мальчишку.

<Планы, программы, оглавления>

I

Островский воспитываясь в П. Б. по смерти отца возвращается в деревню, о которой идет тяжба. Находит одну усадьбу

Покровское—Покровшино; Марья Кириловна—Марья Петровна—Марья Гавриловна—Наталья Гавриловна; Егоровна—Аксинья Троцкая—Петровна и др.). В настоящем издании все собственные имена приведены к единству. Места, исключенные Пушкиным, повидимому, по цензурным соображениям, введены в квадратных скобках. Вместо фраз «Славный 1762 год» и след. (стр. 398) Пушкин дал цензурный вариант: «Обстоятельства разлучили их надолго».>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

с дворовыми людьми без крестьян и без земли. Люди его питают его и себя как-нибудь. Едет заседатель, люди Островского его убивают из мести. Следствие начинается. Суд приезжает к Остр. Островский заступается за своих людей—вяжет суд и делается разбойником.

Остр., негодуя на свое состояние, решается убить помещика, виновника его несчастия. Он бродит около его деревни, встречает его дочь, влюбляется в нее. Он ищет случая с нею познакомиться. Встречает учителя француза, едущего к помещику, он отымает у него бумаги и паспорт, представляется к помещику.

У помещика праздник. Сосед ограбленный... Шкатулка. Учитель убегает с барышней.

[Островский распускает свою шайку].—Жена его рожает, она больна, он везет ее лечиться в Москву—избрав из шайки надежных людей и распустив остальных. Остр. в Москве живет уединенно, форейтор его попадается в буйстве и доносит на Остр. (с одним из шайки Островского). Обер-полицмейстер.

II

Дубровский—1-ая глава, 2-ая, болезнь [записка] письмо няни [письмо няни]—[приезд] [решение] попытки к примирению [пись] смерть похороны; приезд молодого барина, [введение во владение]—во время пирушки похорон<?> (пожар). Он занимается делами—разбирает бумаги. Жажда мщения, встреча его с дочерью. Дубр.—прогулка его на кладбище. Приезд суда—*ночной пожар* (от людей без участия Дубровского). Архип убивает суд<ей>—Дубровский и его виновные люди скрываются.

III

Ссора
Суд
Смерть
Пожар
Учитель
Праздник
Объяснение

IV

[Кн. Вер<ейский> visite[1]
[2 visite]
Сватовство—
Свидание
Письмо перехва<ченное>
Свадьба, отъезд
Команда, сраж.
Расп. шайка

[1] <визит>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

V

Жизнь М<арьи> К<ириловны>
Смерть К. Верей<ского>
Вдова
Англичанин—
Свидание
Игроки
Полицмейстер
Развязка.

VI

[Разлука, объяснение, обручение]
[Капит<ан> Испр<авник>]
Жених. К. Же<них>
Свадьба [похищение]
[Карета в лесу]. Команда, сражение
[рана]
[Сумасшествие]
Распущенная шайка
Москва, лекарь, уединение
Кабак, извет
Подозрение, полицмейстер

VII

Пока приказные пьют, в людской люди сговариваются, и повар Архип решается убить их.

VIII

Садовник ловит мальчика. Саша отымает у него кольцо и снова кладет в дупло.—Приказчик запирает мальчика на голубятню покаместь будет ему время—перед светом мальчик убегает—

IX

Илья Петрович Нарумов долго был дворянским предводителем одной из северных наших губерний—Его звание и богатство давали ему большой вес во мнении помещиков, соседей—

Он был избалован их обращением слишком уже снисходительным—И привык давать полную волю порывам нрава, пылкого и сурового, и затеям довольно ограниченного ума—

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

<Проект начала повести>

Любезный внук мой, Петруша!

Часто рассказывал я тебе некоторые происшествия моей жизни и замечал, что ты всегда слушал меня со вниманием,

Пушкинский кабинет ИРЛИ

не смотря на то, что случалось мне может в сотый раз пересказывать одно. На некоторые вопросы я никогда тебе не отвечал, обещая со временем удовлетворить твоему любопытству.—Ныне решился я исполнить мое обещание.—Начинаю для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь с полным уверением, что признания мои послужат к пользе твоей. Ты знаешь, что не смотря на твои проказы, я всё полагаю, что в тебе прок будет, и главным тому доказательством почитаю сходство твоей молодости с моею. Конечно, твой батюшка никогда не причинял мне таких огорчений, какие терпели от тебя твои родители—он всегда вел себя порядочно и добронравно; и всего бы лучше было если б ты на него походил—ты уродился не в него, а в дедушку, и по-моему это еще не беда. Ты увидишь, что завлеченный пылкостию моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл, наконец, и слава богу, дожил до старости, заслужив и почтение моих ближних и добрых знакомых.—То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоем два прекрасные качества, мною в тебе замеченные—доброту и благородство.

5 августа 1833 г.

Пропущенная глава[1]

Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревню ** и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром.

Нетерпение овладело мной [и не давало мне покою]. Деревня отца моего находилась в 30 верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы; лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении.

— Берегись, сказал он мне. Одному ехать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые, и приведем в гости к твоим родителям 50 чел<овек> гусаров на всякий случай.

---

[1] <Глава эта, изъятая из окончательной редакции «Капитанской дочки» по цензурным соображениям и сохранившаяся только в черновой рукописи, самим Пушкиным озаглавлена была «Пропущенной главой». В тексте этой главы остались невыправленными измененные впоследствии фамилии некоторых персонажей: Гринев называется здесь *Буланиным*, а Зурин—*Гриневым*.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами.—Они отчалили и ударили в весла.

Небо было ясно. Луна сияла.—Погода была тихая—Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по [поверхности] темных волн.—Я погрузился в мечты воображения: (спокойствие природы и ужасы политические), любовь etc.—

Прошло около получаса.—Мы достигли средины реки... вдруг гребцы начали шептаться между собою.

— Что такое? спросил я, очнувшись.

— Не знаем, бог весть, отвечали гребцы, смотря в одну сторону.

Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться, и дождаться его.

Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще темнее. Он был от меня уже близко, и я всё еще не мог н<ичего> различить.

— Что бы это было, говорили гребцы. Парус не парус, мачты не мачты...

Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту—3 тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною.—Я захотел взглянуть на лица висельников.

По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя толкнулась о плывучую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами.—Полная луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой [заводский] русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: *Воры и бунтовщики.* Гребцы [смотрели] равнодушно ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла—и лодка моя пристала к высокому и крутому берегу...

Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревни, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, принял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась

Пушкинский кабинет ИРЛИ

в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова. Я сел в тележку и велел себя везти в нашу деревню.

Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревень. Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противудействия правительства. На всякой случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня.—Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в **.

Барский дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посреди улицы — ямщик начал их удерживать.

— Что такое,—спросил я с нетерпением.

— Застава, барин, отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней.

В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне, <и> снял шляпу, спрашивая пашпорту.

— Что это значит? спросил я его, зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?

— Да мы, батюшка, бунтуем, ответил он, почесываясь.

— А где ваши господа? спросил я с сердечным замиранием.

— Господа-то наши где? повторил мужик. Господа наши в хлебном анбаре.

— Как в анбаре?

— Да Андрюха, земский, посадил, вишь их в колодки,— и хочет везти к батюшке-государю.

— Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. Что же ты зеваешь?

Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в ухо—и самотодвинул рогатку.—Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу [и] велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика тоже с дубинами.—Телега остановилась прямо перед ними.—Я выскочил и бросился прямо на них.

— Отворяйте двери! сказал я им.

Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере, оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок с двери, выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буянить.

— Где Андрюшка земский, закричал я ему.—Кликнуть его ко мне.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка, отвечал он мне, гордо подбочась. Чего надобно?

Вместо ответа я схватил его за шиворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но *отеческое* наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар.—Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенном узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны—на ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрели на меня с изумлением,—три года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать.

Вдруг услышал я милый, знакомый голос.

— Петр Андреич! Это вы!

Оглянулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, также связанную. Я остолбенел...

Матушка ахнула и залилась слезами.

Отец глядел на меня молча—не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его.

Я спешил саблею разрезать узлы их веревок.

— Здравствуй, здравствуй, Петруша, говорил отец мне, прижимая меня к сердцу, слава богу, дождались тебя...

— Петруша, друг мой, [говорила] матушка. Как тебя господь привел! Здоров ли ты?

Я спешил их вывести из заключения,—но, подошед к двери, я нашел ее снова запертою.

— Андрюшка, закричал я,отопри!

— Как не так, отвечал из-за двери земский. Сиди-ка сам здесь. Вот ужо научим тебя буянить, да за ворот таскать государевых чиновников!

Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

— Не трудись, сказал мне батюшка, не таковский я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мною была сабля и два пистолета—я мог еще выдержать осаду.—Гринев должен был подоспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил всё это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания.

— Ну, Петр, сказал мне отец, довольно ты напроказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего поминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился и перебесился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Утешил меня, старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее.

Я со слезами целовал его руку и глядел на Марью Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудни услышали мы необычайный шум и крики.

— Что это значит, сказал отец, уж не твой ли полковник подоспел?

— Не возможно; отвечал я. Он не будет прежде вечера.

Шум умножался. Били в набат. По двору скакали конные люди; в эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалостным голосом:

— Андрей Петрович! Авдотья Васильевна! Батюшка ты мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна! Беда, злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр Андреич, кто их привел? Швабрин, Алексей Иваныч, нелегкое его побери!

Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною.

— Послушай,—сказал я Савельичу, пошли кого-нибудь верхом к* перевозу, навстречу гусарскому полку; и вели дать знать полковнику об нашей опасности.

— Да кого же послать, сударь! Все мальчишки бунтуют— а лошади все захвачены! Ахти! Вот уж на дворе—до анбара добираются.

В это время за дверью раздалось несколько голосов. Я дал знак матушке и Марье Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у самой двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел курок, и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась и голова земского показалась.—Я ударил по ней саблею и он упал, заградив вход. В ту же минуту батюшка выстрелил в двери из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутренней петлею.

Двор был полон вооруженных людей.—Между ими узнал я Швабрина.

— Не бойтесь, сказал я женщинам,—есть надежда. А вы, батюшка, уж более не стреляйте. Побережем последний заряд.

Матушка молча молилась богу—Марья Ивановна стояла подле нее, с ангельским спокойствием ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени.

— Я здесь, чего ты хочешь?

— Сдайся, Буланин, противиться напрасно. Пожалей

Пушкинский кабинет ИРЛИ

своих стариков. Упрямством себя не спасешь.—Я до вас доберусь!

— Попробуй, изменник!

— Не стану ни сам соваться попустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбар и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кишот белогорский. Теперь время обедать. Покамест сиди, да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна, не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем.

Швабрин удалился, оставя караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей.—Я воображал себе всё, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился. Признаться ли? И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марьи Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодований. Тут пощада была вероятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек! Я не смел остановиться на этой ужасной мысли и готовился (прости господи!) умертвить ее скорее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга.

Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных. Караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертию.—Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина.

— Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добровольно в мои руки?

Никто ему не отвечал.

Подождав немного, Швабрин велел принести соломы.— Через несколько минут вспыхнул огонь, осветил темный анбар—и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала:

— Полно, Петр Андреич! Не губите за меня и себя и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает.

— Ни за что, закричал я с сердцем. Знаете ли вы, что вас ожидает.

— Бесчестия я не переживу, отвечала она спокойно. Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, <Авдотья Васильевна>. Вы

Пушкинский кабинет ИРЛИ

были для меня болёе, чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреич. Будьте уверены, что... что... тут она заплакала... и закрыла лицо руками... Я был, как сумасшедший. Матушка плакала.

— Полно врать, Марья Ивановна, сказал мой отец. Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди здесь, и молчи. Умирать, так умирать уж вместе.

— Слушай—что там еще говорят?

— Сдаетесь ли? кричал Швабрин. Видите? через пять минут вас изжарят.

— Не сдадимся, злодей! отвечал ему батюшка твердым голосом.

Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительною бодростию, глаза грозно сверкали из-под седых бровей.— И обратясь ко мне сказал: «Теперь пора!»

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав: «Все за мною».— <Я взял> за руку матушку и Марью Ивановну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлой рукою отца моего; толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увйдел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним всё наше семейство.

Меня поддерживали под руки.—Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен. Одной рукой прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом:

— Вешать его... и всех... кроме ее...

Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались: в ворота въехал Гринев,—и за ним целый эскадрон с саблями наголо.

Бунтовщики утекали во все стороны; гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожал мне руку.

— Кстати же я подоспел, сказал он нам. А! вот и твоя невеста.

Марья Ивановна покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его, с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом избавителем.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

— Милости просим к нам, сказал ему батюшка и повел его к нам в дом.

Проходя мимо Швабрина, Гринев остановился.

— Это кто? спросил он, глядя на раненого.

— Это сам предводитель, начальник шайки,—отвечал мой отец с некоторой гордостию, обличающей старого воина,— бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отмстить ему за кровь моего сына.

— Это Швабрин, сказал я Гриневу.

— Швабрин! Очень рад. Гусары! возьмите его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную Казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны.

Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще.

Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, всё было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия.

Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте, и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побежал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и, благодаря суматохе, незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдыхавший уже по сю сторону Волги. Гринев, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп—и, слава богу, прискакал во время.

Гринев настоял на том, чтобы голова земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака.

Гусары возвратились с погони, захватя в плен несколько человек.—Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду.

Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился на постель и крепко заснул. Гринев пошел делать свои распоряжения.

Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоми-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

нании. Я был счастлив, счастлив совершенно—а много ли таких минут в бедной жизни человеческой?

На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинною. Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

— Ну, что, дураки,—сказал он им,—зачем вы вздумали бунтовать?

— Виноваты, государь ты наш,—отвечали они в голос.

— То-то виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что бог привел меня свидеться с сыном Петром Андреичем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет.

— Виноваты!

— Конечно, виноваты. Бог дал вёдро, пора бы сено убрать: а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на сенокос; да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Иванову дню всё сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показать вид, что торжествую над несчастием и унижением недруга.

Гринев должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать. Несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ивановной. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ивановну, бледную и трепещущую.—Нас благословили...

Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет,—кто не бывал, о том я только могу пожалеть и советовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение.

На другой день полк собрался—Гринев распростился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены; через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцаловала меня при всех.—Я сел верхом. Савельич опять за мною последовал—и полк ушел.

Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастия для меня миновались. Сердце чу<я>ло новую бурю.

Не стану описывать нашего похода—и окончания Пуга-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

чевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам.—Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных.— —Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт—бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка—полушка, да и своя шейка копейка[1].

Планы

<1>

Кулачный бой—(На пиках<?>)—Шванвич—Перфильев.—Перфильев, купец—Шванвич за буйство сослан в деревню—встречает Перфильева.

<1832—1833?>

<2>

Шванвич за буйство сослан в гарнизон.

Степная крепость—подступает Пугачев—Шванвич предает ему крепость—взятие крепости—Шванвич делается сообщником Пугачева—Ведет свое отделение в Нижний—Спасает соседа отца своего.—Чика между тем чуть было не повесил стар<ого> Шванвича.—Шванвич привозит сына в Петербург.—Орлов выпрашивает его прощение.

31 янв. 1833

<3>

Крестьянский бунт.—Помещик пристань держит, сын его[2]

Мятель—Кабак—Разбойник вожатый—Шванвич ст<арый> Молодой человек едет к соседу, бывшему воеводой—Марья Ал<ександровна?> сосватана за племянника, которого не любит. М<олодой> Шванвич встречает разбойника вожатого.—

---

[1] <Далее следовали строки, имеющиеся и в окончательной редакции: «Пугачев бежал, преследуемый Ив. Ив. Михельсоном». См. выше стр. 640.>

[2] <Перед чертой цифры, определяющие, вероятно, хронологию повести: <17>74—1770.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Вступает к Пугачеву—Он предводительствует шайкой—Является к Марье Ал. [Вешает] Спасает семейство, и всех.

Последняя сцена. —Мужики отца его бунтуют, он идет на помощь.—Уезжает—Пугачев разбит.—Молодой Шванвич взят—Отец едет просить Екатерину.—Орлов—Дидерот—Казнь Пугачева.

<1833>

<4>

Башарин отцом своим привезен в Петербург и записан в гвардию.—За шалость послан в гарнизон[1].—Пощажен Пугачевым при взятии крепости, [произведен им в капитаны и отряжен] с отдельной партией в Симбирск под начальством одного из полковников Пугачева.—Он спасает отца своего, который его не узнает.—Является к Михельсону, который принимает его к себе; отличается против Пугачева—принят опять в гвардию.—Является к отцу в Москву—идет с ним к Пугачеву.

[Старый комендант отправляет свою дочь в ближнюю крепость;]

[Пугачев, взяв одну, подступает к другой—Башарин первый на приступе]. [Требует в награду].

<1833—1834>

<5>

Башарин дорогой во время бурана спасает башкирца (le mutilé)[2]. Башкирец спасает его по взятии крепости.—Пугачев щадит его, сказав башкирцу—*Ты своею головою отвечаешь за него.*—Башкирец убит—etc.

<1833—1834>

<Набросок предисловия>

Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю.

Читателю легко будет распознать нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романические, а для нас это было бы излишним трудом. Мы решились написать сие предисловие с совсем другим намерением.

[Несколько лет тому назад в одном из наших Альманахов напечатан был]

<1836>

---

[1] <К этому месту позднейшая вставка: Он <*неразб.*> из страха отд. <*неразбр.*>

[2] <изуродованный.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ПИКОВАЯ ДАМА

<Проект вставки в текст IV главы>[1]

Чекал<инский> глазами отыскал Нарумова.
— Как зовут вашего приятеля,—спросил Чек<алинский> у Нар<умова>

<Первоначальные наброски>

Гл<ава> I

А в ненастные дни
Собирались они
Часто,
Гнули— — —
От пятидесяти
На сто.
И выигрывали
И отписывали
Мелом.
Так в ненастные дни
Занимались они
Делом.

Рукописная баллада.

Года четыре тому назад собралось нас в Петербурге несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами. Мы вели жизнь довольно беспорядочную. [Обедали у [толстого] Андрие без апетита, пили без веселости, ездили к С<офье> А<стафьевне> [без нужды], чтобы побесить бедную старуху притворной разборчивостию]. День убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга [и всю ночь проводили за картами].

<II>

Теперь позвольте мне покороче познакомить вас с жизнью героини моей повести.

В одной из etc.

[Шарлота Миллер была четвертая дочь [обанкрутившегося] обрусевшего немца.] Отец ее был некогда купцом второй гильдии, потом аптекарем, потом директором пансиона, наконец корректором в типографии, и умер, оставив кой-какие

[1] <На обороте чернового наброска письма к Бенкендорфу от 26 февраля 1834 г.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

долги и довольно полное собрание бабочек и насекомых. Он был человек добрый и имел много основательных сведений, которые ни к чему хорошему его не привели. Герман жил на одном дворе с его вдовою, познакомился с Шарлотой и скоро они полюбили друг друга, как только немцы могут еще любить в наше в<ремя>.

Но в сей день или справедливее etc.

И когда милая немочка отдернула белую занавеску окна. Герман не явился у своего васисдаса и не приветствовал ее обычной улыбкою.

Отец его, обрусевший немец, оставил ему после себя [60 тысяч капиталу] маленький капитал; Герман оставил их в ломбарде, не касаясь и процентов, а жил одним жалованьем.

Герман был твердо etc.

<1832—1833 г.>

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ.

<Для первой импровизации итальянца Пушкин начал переделывать одно место из оставленной поэмы о Езерском (см. «Родословная моего героя»—приложения); сохранились отрывки этой переделки.>

[Поэт идет]: открыты вежды,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его:
Скажи, зачем без цели бродишь?
Едва достиг ты высоты,
И вот уж долу взор низводишь
И низойти стремишься ты.
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит;
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит.
Стремиться к небу должен гений,
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет...

<Дальше, повидимому, должна была итти переработка следующих строк «Езерского»:>

Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона—

<Конец стихотворения сохранился в черновых набросках:>

Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он,
Орлу подобно он слетает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона избирает
Кумир_для_сердца_своего.

<МЫ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ У КНЯГИНИ Д.>

<Текст повести сохранился в нескольких отрывочных черновиках. Мы дали сводку их.>
<Приводим черновую редакцию стихов о Клеопатре>:

Зачем печаль ее гнетет?
Чего еще недостает
Египта древнего царице?
В своей блистательной столице
Боготворима <*неразбр.*>
Спокойно властвует она.
Всечасно пред ее глазами
Пиры сменяются пирами;
Горит ли [африканский] день,
Свежеет ли ночная тень—
Всечасно роскошь и искусства
Ей тешат дремлющие чувства;
Покорны ей земные боги,
Полны чудес ее чертоги,
В златых кадилах вечно там
Сирийский дышит фимиам,
Звучат тимпаны, флейты, лиры,
[Блистают] дивные кумиры—
Все земли, волны всех морей
Как дань несут наряды ей—
Она беспечно их меняет:

Пушкинский кабинет ИРЛИ

То в тирском золоте сияет,
То избирает финских жен
Тяжелый пурпурный хитон,
[То звероловицей Дианой,
Как идол стройный <?> и румяный,
[Очам] является она
И с ног и с плеч обнажена]
. . . . . Нила[1]
Под сенью рдяного ветрила
Она в триреме золотой
Плывет Кипридою младой
. . . . . .
Она томясь тоскою бродит
В своих садах—она заходит
В покои тайные дворца,
Где ключ угрюмого скопца
Хранит [ей отроков] прекрасных
[И юношей] [стыдливо] страстных.

<1835>

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ

<Проект предисловия>

Сии записки, будучи занимательны только для немногих, никогда не были <бы> напечатаны, если бы к тому не побудила меня особая причина: прошу позволения объяснить ее, и для того войти в подробности очень неважные, ибо они касаются одного меня.

В 1829 году отправился я на Кавказские воды. В таком близком расстоянии от Тифлиса, мне захотелось туда съездить для свидания с братом и некоторыми из моих приятелей. Приехав в Тифлис, я уже никого из них не нашел. Армия выступила в поход. Желание видеть войну и сторону мало известную побудило меня просить у е. с. графа Паскевича-Эриванского позволения приехать в армию. Таким образом видел я блистательный поход, увенчанный взятием Арзрума.

Журналисты как-то о том проведали. В газете (политической) побранили меня не на шутку за то, что по возвращении моем напечатал я стихотворение, не относившееся ко взятию Арзрума. Мы надеялись, писал неизвестный рецензент, и проч. Один из московских журналов также пороптал на *Певунов*, не воспевших успехи нашего оружия.

---

[1] В беловой сокращенной редакции—
То по водам седого Нила.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Я, конечно, <не> был обязан писать по заказу гг. журналистов. К тому же частная жизнь писателя, как и всякого гражданина, не подлежит обнародованию. Нельзя было бы, например, напечатать в газетах: Мы надеялись, что г. прапорщик *такой-то* возвратится из похода с Георгиевским крестом, вместо того вывез он из Молдавии одну лихорадку. Явно, что ценсура этого не пропустила б.

Зная, что публика столь же мало заботится о моих путешествиях, как и о требованиях рецензентов, я не стал оправдываться. Но важнейшее обвинение заставляет меня прервать молчание.

Недавно попалась мне в руки книга, напечатанная в Париже в прошлом 1834 году под названием *Voyage en Orient entrepris par ordre du gouvernement Francais*[1]. Автор, по своему описывая поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения следующими словами:

Un poëte distingué par son imagination a trouvé dans tant de hauts faits dont il a été temoin, non le sujet d'un poëme, mais celui d'une satire[2].

Из русских поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и о А. Н. Муравьеве. Оба находились в армии графа Дибича. Первый написал в то время несколько прекрасных, лирических стихотворений; второй обдумывал свое путешествие к святым местам, произведшее столь сильное впечатление; но я не слыхал ни о какой сатире на Арзрумский поход. Никак не мог бы я подумать, что дело здесь идет обо мне, если бы в той же самой книге не нашел я своего имени, между именами генералов отдельного Кавказского корпуса: parmi les chefs qui la commandoient (l'armée du Prince Paskevitsh) on distinguoient le général Mouravief... le Prince Géorgien Tsitsevaze (Чавчевадзе)... le Prince Arménien Beboutof... le Prince Potemkine, le général Raïewsky, et enfin... Mr. Pouchkine, qui avoit quitté la capitale, pour chanter les exploits de ses compatriotes[3].

Признаюсь: эти строки французского путешественника, не смотря на лестные эпитеты, были гораздо мне досаднее, нежели журнальная брань, к которой, слава богу, мы приучены.

Искать вдохновений всегда казалось мне смешной и нелепою причудою. Вдохновения не сыщешь, оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем именно, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы и слишком самолюбиво для стихотворца и довольно неприлично для русского дворянина. Я не вмешиваюсь в военные суждения: это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-Лу, движение, коим граф Паске-

[1], [2], [3] <См. выше, примеч. к стр. 737—738.>

Пушкинский кабинет ИРЛИ

вич отрезки сераскира от Османа-Паши; поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Арзруму; углубление нашего пятнадцатитысячного войска в неприятельскую землю на расстоянии пятисот верст, оправданное полным успехом; всё это, может быть, в глазах военных людей, чрезвычайно забавно. Но я устыдился бы самого себя, если бы мог писать сатиры на полководца, принявшего меня ласково под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказать мне лестное внимание. Независимый человек, не имеющий нужды в покровительстве сильных и ничего от них не требующий, не должен ли дорожить их радушием и гостеприимством?—

Обвинение в неблагодарности касается до чести и не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика, или площадная литературная брань. Вот почему решился я написать это предисловие и выдать свои путевые записки, как *всё*, что мною было написано о походе 1829 года.

3 апреля 1835.

<Вариант к главе первой>

(Военная Грузинская дорога (извлеч. из путевых записок).

До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в целые сутки проехать не более 40 верст. Смотря на маневры ямщиков, я со скуки пародировал американца Купера в его описаниях морских эволюций. Наконец Воронежские степи оживили мое путешествие, и я свободно покатился по зеленой равнине.

Переход от Севера к Югу делается час от часу чувствительнее. Леса исчезают, холмы изглаживаются, трава густеет и являет большую силу прозябаемости. По широким пажитям

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны

<Петр Великий в Острогожске>

<Отрывок из путевых записок, не вошедший в «Путешествие в Арзрум»>

Мы ехали из Арзрума в Тифлис. 30 человек линейских казаков нас конвоировали—возвращающихся на свою родину. Перед нами показался линейский полк, идущий им на смену. Казаки узнали своих земляков и поскакали к ним навстречу, приветствуя их радостными выстрелами из ружей и пистоле-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

тов. Обе толпы съехались и обнялись на конях при свисте пуль и с новыми прощальными выстрелами в облаках дыма и пыли — быстро обменявшись известиями — они расстались и догнали нас.

— Какие вести, спросил я у прискакавшего ко мне урядника, всё ли дома благополучно?—Слава богу, ответил он, старики мои живы; жена здорова.—А давно ли ты с ними расстался?—Да вот уж три года, хоть по положению надлежало бы служить только год.—А скажи,—прервал его молодой арт<иллерийский> офицер, не родила ли у тебя жена во время отсутствия?—Ребята говорят, что нет, отвечал веселый урядник.—А не б---- ли без тебя?—Помаленьку, слышно,----.—Что ж, побьешь ты ее за это?—А зачем ее бить? Разве я безгрешен.—Справедливо; а у тебя, брат, спросил я у другого казака, так ли честна хозяйка, как у урядника?—Моя родила, отвечал он, стараясь скрыть свою досаду.—А кого бог дал?—Сына.—Что ж, брат, побьешь ее?—Да посмотрю, коли на зиму сена припасла, так и прощу, коли нет, так побью.—И дело, подхватил товарищ, побьешь да и будешь горевать, как старик Черкасов: смолоду был он дюж и горяч, случился с ним тот же грех, как и с тобой, поколотил он хозяйку, так что она после того 30 лет жила калекой. С сыном его случись та же беда, и тот было стал колотить молодицу, а старик-то ему: Слушай, Иван, оставь ее, и посмотри, как мать, и я смолоду поколотил ее за то же, да и жизни не рад.—Так и ты,продолжал урядник, жену-то прости, а выб---- посылай чаще по дождю.—Ладно, ладно, посмотрим, отвечал казак.—А в самом деле, спросил я, что ты сделаешь с выб--?—Да что с ним делать, корми да отвечай за него, как за родного.—Сердит, шепнул мне урядник,—теперь жена не смей и показаться ему, прибьет до смерти.—

Это заставило меня размышлять о простоте казачьих нравов.—Каких лет у вас женят?—спросил я.—Да лет 14-ти.—Слишком рано, муж не сладит с женою.—Свекор, если добр, так поможет—вот у нас старик Суслов женил сына да и сделал себе внука.

<Черновые варианты из путевых записок 1829 г.>

1. <Коляска графа Пушкина>

Он едет в огромной бричке. Это род укрепленного местечка, мы ее прозвали *Отрадною*. В северной ее части хранятся вина и съестные припасы; в южной—книги, мундиры, шляпы etc, etc. С западной и восточной стороны она защищена ружья-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ми,пистолетами, мушкетонами и проч. На каждой станции выгружается часть северных запасов и таким образом мы проводим время, как нельзя лучше.

2. <Калмычка>

На днях, покаместь запрягали мне лошадей, пошел я к калмыцкой кибитке (т. е. круглому плетню, крытому шестами, обтянутыми белым войлоком, и с отверстием вверху). У кибитки паслись уродливые и косматые кони, знакомые нам по верному карандашу Орловского. В кибитке я нашел целое калмыцкое семейство; котел варился посредине и дым выходил в верхнее отверстие.—Молодая калмычка, собой очень недурная, шила, куря табак. Лицо смуглое, темнорумяное—багровые губки, зубы жемчужные. Замечу, что порода калмыков начинает изменяться—и первобытные черты их лица мало-помалу исчезают. Я сел подле нее.—Как тебя зовут?— ----- Сколько тебе лет?—Десять и восемь.—Что ты шьешь?—Портка.—Кому?—Себя.—Поцалуй меня.—Неможна, стыдно.—Голос ее был чрезвычайно приятен. Она подала мне свою трубку и стала завтракать [со] всем своим семейством. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. (Не думаю, чтобы кухня какого бы то ни было народу могла произвести что-нибудь гаже.) Она предложила мне свой ковшик—и я не имел силы отказаться—я хлебнул, стараясь не перевести духа. Я просил заесть чем-нибудь, мне подали кусочек сушеной кобылятины. И я с большим удовольствием проглотил его. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя гордая красавица ударила меня балалайкой по голове, мусикийским орудием, подобным нашей бал[алайке]. Калмыцкая любезность мне надоела, я выбрался из кибитки и поехал далее.—Вот к ней послание, которое, вероятно, никогда до нее не дойдет.— — —

3. <Минарет и Татартубе>

Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался на то место, где уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах проезжими офицерами. Суета сует! Гр. П[ушкин] последовал за многo. Он начертал на кирпиче имя ему любезное, имя своей жены—счастливец—а я свое.

Любите самого себя,
Любезный, милый мой читатель.

4. <Черкесы.>

Можно попробовать влияние роскоши—новые потребности мало-по-малу сблизят с нами черкесов—самовар был бы

Пушкинский кабинет ИРЛИ

важным нововведением. Должно надеяться, что с приобретением части восточного берега Черного моря черкесы, [отрезанные] от Турции, [лишенные торговли с Турцией]... Есть, наконец, средство самое сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века. Терпимость сама по себе вещь очень хорошая, но разве апостольство с нею несовместно?

Легче для лености выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты.

Лицемеры! Так ли исполняете долг христианства? Христиане ли вы? С сокрушением и раскаянием должны вы потупить голову и безмолвствовать — — — Кто из вас, муж Веры и Смирения, уподобился старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и Америки, в рубищах, часто без крова, без пищи, но оживленны<м> теплым усердием и смиренномудрием. Какая награда их ожидает? Обращение рыбака или странствующего мальчика, или семейства диких, или бедного умирающего старца, нужда, голод, иногда мученическая смерть. Мы умеем в великолепных храмах спокойно блистать велеречием, упиваться похвалами слушателей. Мы читаем [светские] книги и важно находим в суетных произведениях выражения предосудительные.—

Предвижу улыбку на многих устах. Многие, сближая мои калмыцкие нежности с черкесским негодованием, подумают, что не всякой <и> не везде имеет право говорить языком высшей истины. Я не такого мнения. Истина, как добро Мольера, где попадается, там и берется— —

Пушкинский кабинет ИРЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

От редакции 5

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Евгений Онегин. Роман в стихах. (Ред. *Б. В. Томашевский*) 7
Приложение к «Евгению Онегину» 197

ПОВЕСТИ

От редакции 247
Арап Петра Великого. (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 249

Повести покойного Ивана Петровича Белкина. (Ред. *Ю. Г. Оксман*).

От издателя 287
Выстрел 292
Метель 306
Гробовщик 320
Станционный смотритель 329
Барышня-крестьянка 343
История села Горюхина (Ред. *Б. В. Томашевский*) . 365
«Рославлев». Отрывок из неизданных записок дамы. (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 384
Дубровский. (Ред. *Б. В. Томашевский* и *Д. П. Якубович*) 397
Пиковая дама. (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 434
Кирджали (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 514
Египетские ночи. (Ред. *С. М. Бонди*) 522
Капитанская дочка. (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 537

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Отрывки и наброски Стр.
1. Надинька. (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 654
2. <Гости съезжались на дачу...> (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 655
3. <На углу маленькой площади...> (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 663
4. <Роман в письмах> (Ред. *Ю. Г. Оксман*) . . 667
5. <В начале 1812 года...> (Ред. *С. М. Бонди*) . 683
6. <Повесть о прапорщике Черниговского полка> (Ред. *Г. Ю. Оксман*) . . . . . —
7. <Участь моя решена. Я женюсь...> (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 686
8. Отрывок. (Ред. *С. М. Бонди*) 690
9. <Роман на кавказских водах> (Ред. *С. М. Бонди*) 694
10. <Часто думал я об этом ужасном семейственном романе> (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 700
11. <Русский Пелам> (Ред. *Ю. Г. Оксман*) . . . 701
12. <В 179* году возвращался я...> (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 709
13. <Мы проводили вечер на даче...> (Ред. *С. М. Бонди*) 711
14. <Цезарь путешествовал...> (Ред. *Ю. Г. Оксман*) 718
15. <Мария Шонинг.> (Ред. *Ю. Г. Оксман*) . . . 721

Планы (Ред. *Ю. Г. Оксман*)

I. <...Карты; продан...> 732
II. <Влюбленный бес> . . . . . —
III. <Роман из великосветского быта> . . . . . —
IV. <Н. избирает себе в наперсники...> 734
V. <Планы и наброски повести о стрельце и боярской дочери . . . . . —
VI. <Криспин приезжает в губернию...> 735
VII. <Les deux danseuses> . . . . . —
VIII. <Сын казненного стрельца...> 736

Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года (Ред. *Ю. Н. Тынянов*) 737

Приложение

Арап Петра Великого 789
История села Горюхина 790
Дубровский 791
Капитанская дочка 794
Пиковая дама 805
Египетские ночи 806
<Мы проводили вечер...> 807
Путешествие в Арзрум 808

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Ответственный редактор С. И. Кавтарадзе
Технический редактор Н. И. Гарвей
Корректор Е. Н. Семяновская

Переплет работы А. П. Радищева
Барельеф работы П. И. Таежного

☆

Заказ изд-ва № 79. Тираж 25000
Уполномоч. Главл. № Б-35541
Сдана в набор 28 марта 1934
Подп. к печ. 2 окт. 1934
Форм. бум 72×94 в 1/32
Зак. тип. № 359
25 1/4 печ. л.
12 3/4 б. л.

☆

16-я типография треста «Полиграфкнига», Трехпрудный, 9.

Пушкинский кабинет ИРЛИ